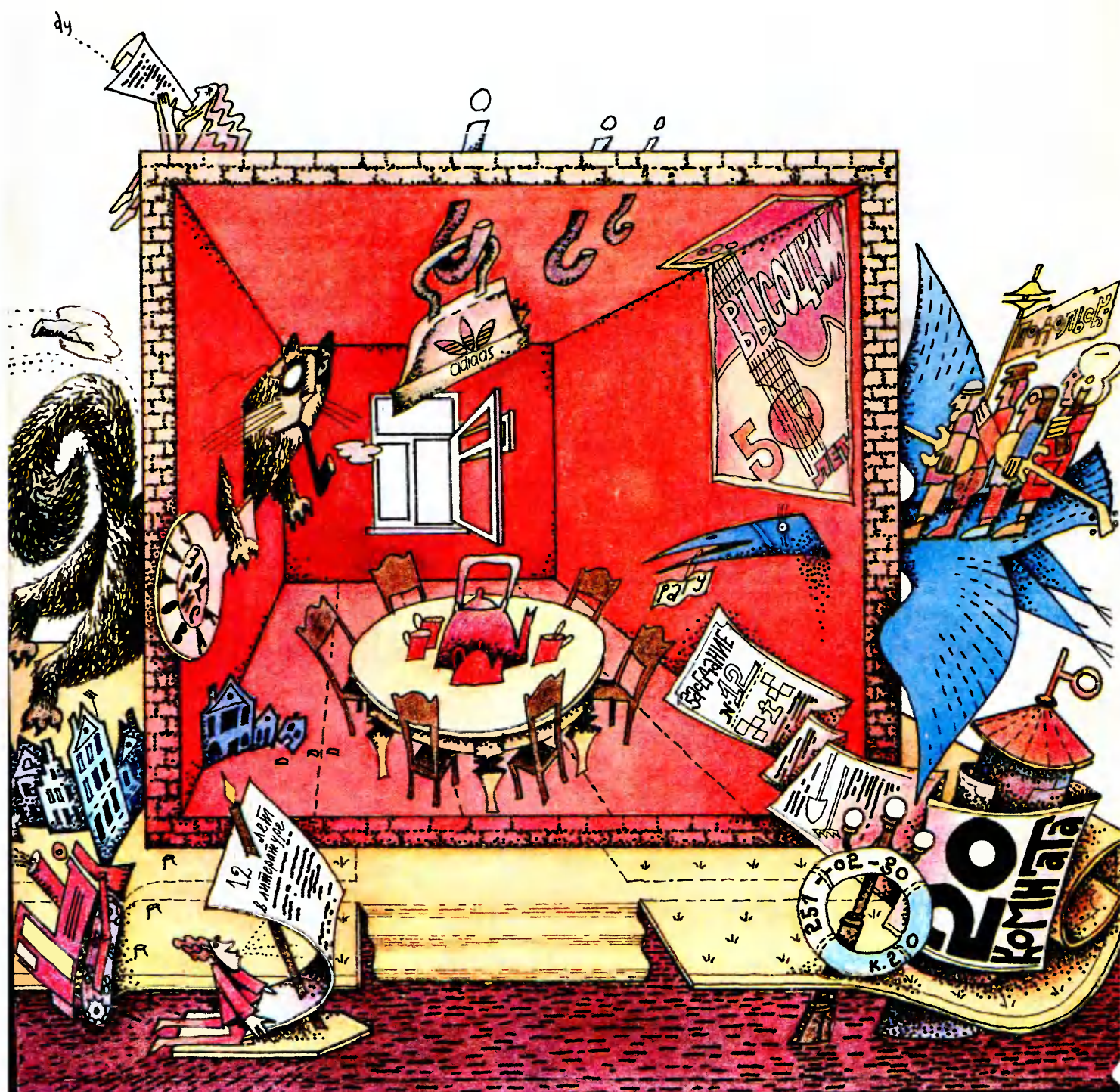


ЮНОСТЬ

1 '88



ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ ИМЕНИ БОРИСА ПОЛЕВОГО

Жюри конкурса на соискание премий им. Бориса Полевого
в области прозы, поэзии, публицистики
и художественного оформления
рассмотрело произведения, опубликованные в 1987 году.

ПРЕМИИ ПРИСУЖДЕНЫ:

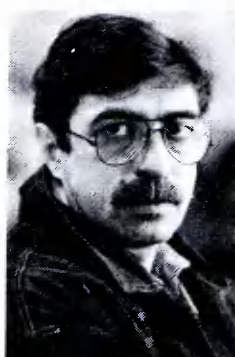
**СЕРГЕЮ
АНТОНОВУ**
за повесть
«Васька»
№№ 3—4, 1987 г.



**ОЛЕГУ
ЧУХОНЦЕВУ**
за цикл стихов
№ 7, 1987 г.



**ТАТЬЯНЕ
НАБАТНИКОВОЙ**
за рассказы № 2, 1987 г.



**МИХАИЛУ
ЗЛАТКОВСКОМУ**
за иллюстрации
«20-й комнаты».



**ЮРИЮ
ЩЕРБАКУ**
за документальную
повесть
«Чернобыль»
№№ 6, 7, 1987 г.

Лауреаты награждаются памятными
медалями и почетными дипломами.
«Юность» сердечно поздравляет своих лауреатов
и желает новых творческих успехов.

ЮНОСТЬ

1 (392)

'88

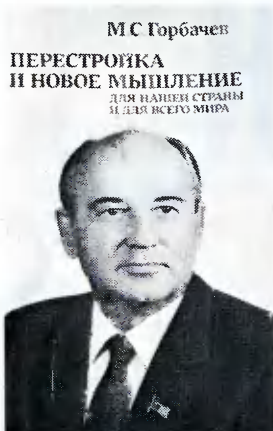


ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

ЖУРНАЛ
ОСНОВАН
В 1955 ГОДУ

Главный редактор
Андрей ДЕМЕНТЬЕВ

Редакционная коллегия:
Анатолий АЛЕКСИН
Владимир АМЛИНСКИЙ
Борис ВАСИЛЬЕВ
Юрий ЗЕРЧАНИНОВ
Натан ЗЛОТНИКОВ
Фазиль ИСКАНДЕР
Римма КАЗАКОВА
Кирилл КОВАЛЬДЖИ
Виктор ЛИПАТОВ
(заместитель главного редактора)
Игорь ОБРОСОВ
Мария ОЗЕРОВА
Виктор РОЗОВ
Юрий САДОВНИКОВ
(ответственный секретарь)
Александр СЕРЕБРОВ
Евгений СИДОРОВ
Игорь ШКЛЯРЕВСКИЙ



НАСТАЛО ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН

Только что я распрощался с Кэрол Ландри, корреспонденткой влиятельной канадской буржуазной газеты «Лё Друа». Она пришла в редакцию «Известий», чтобы познакомиться с работой советских коллег в условиях перестройки. Я рассказывал, как изменилась тематика нашей газеты, сами наши подходы к освещению событий. Исчезают зоны, запретные для критики. Мы стремимся искренно и честно говорить обо всех проблемах, волнующих людей. И это, естественно, отражение важнейших процессов, происходящих в реальной жизни, и прежде всего ее демократизации и гласности.

Ну, а как в достаточной степени квалифицированно и достоверно оценить сами эти процессы? Как ответить на самые острые вопросы, которые возникли — или могут возникнуть — у человека, впервые приехавшего в Советский Союз? Или почему на 71-м году Советской власти собираются длинные очереди у дверей наших продовольственных магазинов?

Да и не в канадской журналистике здесь, конечно, дело. Ясные, исчерпывающие ответы на все острые вопросы, которыми так богато наше сложное и противоречивое время, должен получить каждый советский человек. Он должен понимать истоки наших трудностей и неурядиц. Понимать сущность происходящих в стране явлений. И, меряя их, естественно, на собственный аршин (жизненный опыт плюс личные наблюдения плюс накопленный запас знаний), сверять все же этот аршин с объективными фактами, истинами и критериями. Изменились времена, и никто сейчас не претендует на истину в последней инстанции. Но ведь есть факты — от них никуда не деться. Есть — и были — события, которые никак не списать со счетов. Есть опыт общественный — и навсегда останется с нами. В личностном осмыслении этого общественного опыта, в выработке непредвзятого, честного взгляда на нынешние перемены и заложен, наверное, самый надежный путь к объективному анализу действительности, к ответу на любые вопросы, возникающие в нашей жизни.

Очень своевременно написана и издана новая книга М. С. Горбачева.

По определению самого автора, это не научный трактат и не пропагандистская публицистика. Скорее всего это рассуждения и размышления о перестройке, о проблемах, которые перед нами встали, о масштабах перемен, о сложности, ответственности и неповторимости нашего времени.

Да, в этой книге нет назиданий и нет нравоучений. Ее особенность — доверительный и уважительный разговор с читателями, предполагающий свободный и откровенный обмен мнениями. Ее цель — без посредников поделиться мыслями с гражданами всего мира по вопросам, касающимся всех без исключения.

Естественно, на первое место здесь поставлен вопрос о сути и назначении перестройки в нашей стране. Что она отвергает и что создает? — спрашивает автор. Как она идет и каковы могут быть последствия для Советского Союза и мирового сообщества?

Отвечая на эти отнюдь не риторические вопросы посвящены многие страницы книги. Из всех возможных синонимов слова «перестройка» автор выбирает ключевой, более всего, по его мнению, выражающий саму его суть: «революция». Решительное ускорение социально-экономического и духовного развития советского общества предполагает радикальные перемены на пути к качественно новому состоянию. И это, разумеется, революционная задача. Исторический опыт показал, что и социалистическое общество не застраховано от появления и накопления застойных тенденций и даже от серьезных социально-политических кризисов. А для выхода из кризисной или предкризисной ситуации как раз и бывают необходимы меры революционного характера.

Своеобразие и сила перестройки, подчеркивается в книге, в том, что это одновременно революция «сверху» и «снизу». Она не приобрела бы нынешнего размаха, не имела бы прочных шансов на успех, если бы в ней не слились воедино, не сомкнулись инициатива верхов и широкое массовое движение снизу. Если бы в ней не были выражены коренные перспективные интересы всех трудящихся. Если бы массы не увидели в ней свою программу, ответ на собственные раздумья, признание собственных назревших требований, наболевших выводов. Если бы народ не поддерживал ее столь горячо и действительно.

И действительно, развернутая характеристика всех слагаемых перестройки, приведенная в книге, убеждает в том, что затронула она уже все без исключения стороны нашей жизни. Решительное преодоление застойных процессов. Развитие демократии, поощрение инициативы. Расширение гласности, критики и самокритики. Внедрение экономических методов управления народным хозяйством. Соединение достижений научно-технической революции с плановой экономикой. Приоритетное развитие социальной сферы. Энергичное избавление общества от искажений социалистической морали. Возвышение честного, высококачественного труда, преодоление уравнилельных тенденций в его оплате, потребительства...

И основа основ всех преобразований — глубокие качественные перемены в экономике. Происходят резкое расширение границ самостоятельности предприятий и объединений, переход их на полный хозяйственный расчет и самофинансирование. В связи с этим вносятся и существенные коррективы в деятельность ведомств и министерств. Начинается радикальная реформа планирования, ценообразования, финансово-кредитного механизма, системы материально-технического снабжения, управления научно-техническим развитием, трудом и социальными вопросами...

Автор отнюдь не хочет затуманивать те трудности, с которыми столкнулась перестройка. «...Дело перестройки оказалось более трудным, чем представлялось поначалу. Многое нам приходится переосмысливать заново. Но с каждым новым шагом у нас все больше уверенности в правильности того, что мы начали и что делаем».

Отступая от книги, должен добавить, что уверенность эта подкрепляется и вполне осязаемыми результатами нашей повседневной работы, достигнутыми за последние два с половиной года. В том числе и в той сфере, которая вызывает наибольшую обеспокоенность людей, — социальной. Вот только некоторые факты. За последние два года (в среднегодовом исчислении) производство мяса увеличилось почти на 2 мил-

лиона тонн, молока — на 8,5 миллиона тонн, яиц — более чем на 7 миллиардов штук. Много это или мало? Нужно со всей откровенностью сказать, что по потреблению мяса и мясопродуктов на душу населения (62 килограмма в год в 1986 году) Советский Союз значительно уступает как многим социалистическим странам (Болгария — 77 килограммов, Венгрия — 102, ГДР — 103 килограмма), так и развитым капиталистическим, за исключением Японии (США — 120 килограммов в 1985 году, Франция — 106, Италия — 84 килограмма). Но ведь разрыв сокращается, и это внушает определенный оптимизм... Как и то обстоятельство, что по потреблению яиц, молока и молочных продуктов, овощей и бахчевых культур мы приближаемся к среднемировому уровню.

И еще факты. В 1984 году (извините за столь мрачную статистику!) число умерших от причин, непосредственно связанных с алкоголизмом, составило 47,3 тысячи человек. В 1986 году — 23,3 тысячи — в два с лишним раза меньше!

И еще вопросы. Почему же все-таки произошло то, что сделало перестройку необходимой? Почему так долго удерживались методы работы, отслужившие свой век? Почему произошла догматизация общественного сознания и теории?

Ответы на эти вопросы мы также находим в книге. Автор отмечает, что на каком-то этапе развития страны, особенно стало заметно во второй половине 70-х годов, произошло на первый взгляд труднообъяснимое. Страна начала терять темпы движения, нарастали сбои в работе хозяйства, одна за другой стали накапливаться и обостряться трудности, множиться нерешенные проблемы. В общественной жизни появились, как мы их называем, застойные и другие чуждые социализму явления. Образовался своего рода механизм торможения социально-экономического развития.

И люди, обладавшие практическим опытом, чувством справедливости, большевистской принципиальностью, критиковали укоровившуюся практику ведения дел, с беспокойством отмечали симптомы нравственной деградации, эрозии революционных, социалистических ценностей.

«Непредвзятый, честный подход привел нас к неумолимому выводу: страна оказалась в предкризисном состоянии. Такой вывод был сделан на состоявшемся в апреле 1985 года Пленуме ЦК, который обозначил поворот к новому стратегическому курсу, к перестройке, дал основы ее концепции».

И снова вопросы. Предкризисные явления в экономике, в обществе... Куда же смотрели люди, которые уже в то время стояли у руля управления? М. С. Горбачев отвечает на этот вопрос так:

«...Многие из нас задолго до апрельского Пленума понимали, что все надо еще раз обдумать применительно ко всем сферам жизни: экономике, культуре, демократии, внешней политике. А главное — перевести на практический язык жизни.(...) Проблематика концепции перестройки также вызревала постепенно. Еще до апрельского Пленума группа партийных и государственных деятелей занялась комплексным анализом состояния экономики. Этот анализ и был затем положен в основу документов перестройки. Мы использовали рекомендации ученых, специалистов, имевшийся потенциал, все то лучшее, что создала общественная мысль, и подготовили основные идеи и выход на политику, которую потом начали реализовывать».

За рубежом оживленно обсуждается связь перестройки с социализмом как системой. Одни с затаенной надеждой, другие с опасением задаются вопросом: не означает ли перестройка отход от социализма или по крайней мере размывание его основ?

«Мы будем идти к лучшему социализму, а не в сторону от него. Мы говорим это честно, не лукавим ни перед своим народом, ни перед границей. Ожидать, что мы начнем создавать какое-то другое, несоциалистическое общество, перейдем в другой лагерь — дело бесперспективное и нереалистичное».

Все эти проблемы рассматриваются в книге во взаимосвязи со всем многообразием, сложностью современной политической ситуации в мире.

«Все мы пассажиры одного корабля — Земли, и

нельзя допустить, чтобы он потерпел крушение. Второго Ноева ковчега не будет».

И потому особое место в книге занимает анализ наших взаимоотношений с США. Забота о реальном улучшении советско-американских отношений, подчеркивает автор, требует честной оценки их состояния. Перемены к лучшему, если они и есть, происходят крайне медленно, прежние несостоятельные подходы то и дело берут верх над жизненной потребностью обновления советско-американских отношений.

Нам не хватает общения, понимания друг друга, даже — уважительности. Очень много накопилось таких представлений, которые мешают сотрудничеству, стоят на пути его развития.

Внешняя политика Соединенных Штатов основана по крайней мере на двух заблуждениях. Первое — вера в то, что экономическая система Советского Союза вот-вот затрещит и что с перестройкой у него ничего не получится. Второе — расчет на превосходство Запада в технике и технологии и в конечном счете в военной области. Эти иллюзии питают линию на изматывание социализма путем гонки вооружений, чтобы затем диктовать свои условия.

«Я знаю», — отмечает автор, — строятся всякие домыслы относительно отношения советского руководства к президенту Р. Рейгану. У меня есть личные впечатления о президенте. Как-никак мы уже встречались дважды, беседовали по многу часов. У нас с президентом, я считаю, при всех трудностях идет серьезный диалог. Иногда мы говорим друг другу неприятные вещи, и даже публично об этом говорим, и остро говорим. С своей стороны скажу: мы будем продолжать наши усилия. Будем искать сотрудничества, выхода на результативные переговоры с любым президентом, с любой администрацией, которую избирает американский народ... Есть реальность, а с реальностями надо считаться, иначе политика превратится в импровизацию, в шарашанье, в непредсказуемость...

Впереди и Советский Союз, и Соединенные Штаты ждет большая работа исторической важности. Порознь эту работу ни одна из наших стран осуществить не сможет. Я имею в виду проблему проблем наших дней — устранение угрозы гибели человечества в ядерной войне. Если эта работа будет вестись успешно, то можно предвидеть расцвет советско-американских отношений, можно сказать, «золотой век», который станет благом для СССР и США, для других стран, всего мирового сообщества».

И еще одну фразу автора мне хочется привести. Фразу, которая, в сущности, выражает его позицию в разговоре с читателями из разных стран мира.

«Мы далеки от того, чтобы только свой подход считать истинным. У нас нет универсальных рецептов, но мы готовы искренне и честно совместно с США и другими странами искать ответы на все вопросы, в том числе и на самые трудные».

Книга М. С. Горбачева одновременно выпущена в свет Политиздатом в Советском Союзе и издательством «Харпер энд Роу» в США. Право на ее публикацию приобрели уже более двадцати крупнейших издательств Западной Европы, Америки, Азии. Она публикуется также во многих газетах и журналах. Все это означает, что диалогу советского руководителя с народами мира положено хорошее начало. Надеюсь, что и моя недавняя собеседница — канадская журналистка Кэрол Ландри — найдет возможность познакомиться с нею. Это позволило бы получить ей более полное представление о нашей перестройке, о наших проблемах, о нашей политике, обо всей нашей жизни.

Юрий РЫТОВ

Историкографъ.



ЧТО БЫЛО У НЕГО В ГЛАЗАХ?..

Откликаясь на возрастающий
в нашем обществе интерес к истории,
на пожелания читателей,
«Юность» открывает новую рубрику —
«ИСТОРИЯ И ТЫ».

Это начинание поддерживают
и напутствуют нас:
ректор Московского государственного
историко-архивного института
профессор Ю. Н. Афанасьев,
зав. кафедрой всеобщей истории
историко-архивного института
доцент Н. И. Басовская,
доктор филологических наук
М. О. Чудакова,
доктор философских наук
Ю. А. Левада,
доктор исторических наук
А. Я. Гуревич.

Фрагмент картинки из букваря (буква я),
который составлен Карионом Истоминым,
гравирован Леонтием Буниным
и отпечатан в 1694 году
в Москве.

Знать правду, всю правду о том, что было, — это не праздное любопытство, а потребность независимой личности. Кто ты сегодня, если нет у тебя своего мнения?

АФАНАСЬЕВ. В сущности, обостренный сегодня интерес к истории, к прошлому объясняется тем, что люди думают о сегодняшнем дне, о будущем. Наконец-то, после XXVII съезда партии, предоставилась такая возможность — посмотреть на себя и задуматься: кто мы есть? Люди хотят познать себя, и совершенно естественно, что они всматриваются в свое прошлое. Стремясь к преобразованию общества, к новой жизни, как не задуматься: а от чего мы должны уйти, что оставить во вчерашнем дне?

БАСОВСКАЯ. Еще на стадии родового строя, когда люди научились аналитически мыслить, они первым делом спросили себя: кто мы и откуда мы? И, как могли, ответили: мы — от медведя, мы — от звезды, мы — от горы. Избрали себе тотемы. И с тех пор человечество всегда искало ответ на этот вопрос. И только в моменты сужения социального мышления этот вопрос считался решенным. На самом деле он не был решен никогда, даже когда директивно его приказывали считать решенным. В этих случаях сознание замыкалось, и даже казалось — так проще, так лучше. А когда сознание размыкается, вновь встает этот вечный вопрос.

АФАНАСЬЕВ. Рубрика «Юности» будет обращена к молодым, и важно осознать — человек активно и с пользой для общего дела может участвовать в перестройке только тогда, когда он в полной мере свободен. А мера и степень его свободы определяются тем, насколько полно и всесторонне он пережил, перечувствовал и переосмыслил прошлое — наше и всего мира. Усвоение истории у нас до сих пор было излишне запрограммированным. Бралась лишь одна из частей исторического богатства, одна-единственная. Это и приводило к тому, что человек был не в полной мере свободен.

Но как узнать о том, что было до твоего рождения? Что было не в Древнем Риме — это проще, — а тридцать, сорок лет назад в твоей стране, в твоём городе?

ЧУДАКОВА. Многие из читателей журнала, как и предыдущие поколения, даже не сознают, к чему ведет отсутствие печатных документов. Это такой вакуум! Одно из последствий этого — полное искажение взаимоотношений читателя с художественной литературой. За историческими фактами у нас тянут руку... к прозе. А надо бы за художеством — к художнику, а за фактами — к сборнику документов. Не как сейчас — смотрите, что ему удалось протащить в своем романе...

АФАНАСЬЕВ. Это очень хорошо, что литераторы во весь голос говорят на историческую тему. Прекрасно. Но это ненормальная ситуация, что высказываться о нашем далеком и недалеком прошлом имеет возможность лишь литератор, а историку фактически нигде высказаться. Газеты нас охотно печатают, но в газете не тот простор... Личность Сталина, например, пока что удел лишь художественной литературы. И на молодого человека обрушивается поток литературных произведений — нужных, правдивых, — но он не дополняется таким же мощным потоком исторических публикаций. Все-таки художественная литература не может заменить исторических публикаций.

ЧУДАКОВА. И оценка этой литературы в такой ситуации сдвинута. Я верю, что по мере сил мы стремимся сохранить свой вкус, но все мы люди своего времени и благодарны писателям за ту правду, которую они нам предложили, и все мы, уверена, слегка занижаем критерий художественности в оценке этих произведений — чувство благодарности побуждает и наш вкус.

ЛЕБАДА. «Юность» должна печатать тексты и документы. Они сейчас производят фурор. Вот Маризтта Омаровна опубликовала в «Новом мире» тексты Булгакова. Или публикация материалов об Отечественной войне 12-го года в «Знамени» — там есть некоторые оттенки, которых не найдешь ни у Толстого, ни в учебниках. О народности той войны, например...

ЧУДАКОВА. Еще один пример того, к чему ведет то, что мы живем в условиях отсутствия документов. Я участвовала в перевыборной конференции общества охраны памятников истории и культуры, где говорилось много дельного. Я сама говорила, что уже непонятно, где происходит действие «Войны и мира» — в нашем ли городе? Какая Поварская, какая Мясницкая?.. Классику надо читать, понимая, что это происходит в твоём городе. С каким же ощущением приходилось жить нам, коренным москвичам, все эти годы?! Все рушилось и — без нашего спроса, без нашего ведома. И до последнего времени сделать было ничего нельзя — отойдите в сторону, не мешайте... Так вот, на этой перевыборной конференции было выдвинуто предложение — привлечь к судебной ответственности Кагановича, пока он жив, за разрушение храма Христа Спасителя. Я сказала, что прошу присутствующих поверить мне на слово, что симпатий к Кагановичу я не испытываю, но неужели, вы думаете, разрушение храма Христа Спасителя было возможно без ведома Сталина?.. Я в собственных руках держала письмо за подписью Сталина — ответ на письмо Абрама Марковича Эфроса и других искусствоведов с просьбой о сохранении Сухаревой башни. И ответ этот, сохранившийся в архиве Эфроса, гласил, что не представляется целесообразным ее сохранение — пролетариат построит лучшие здания. Но опять-таки ничего не решает противопоставление документа с одной подписью документу с другой подписью. Вот если издать серию документов — от двадцатых годов до наших дней — о перестройке Москвы, мы бы получили более полную картину. Такие издания должны быть нормой печатной жизни. А где оно? Без этих документов, на мой взгляд, энтузиаст, ратующий за сохранение исторического облика Москвы, иногда оказывается в зависимости от демагогов, манипулирующих чужим сознанием в своих целях.

Учебники, по которым ты учился и все еще продолжаешь учиться, не только полны «белых пятен», но и катастрофически не соответствуют тому пониманию истории, которое необходимо тебе сегодня,

чтобы обрести уверенность в своих силах, возможно-стях и быть социально активным.

ГУРЕВИЧ. Мы должны изменить сам подход к пониманию истории, обрести подлинное историческое сознание взамен деформирующей разум — еще со школы! — схемы непрерывного поступательного развития человечества, в которой каждая предшествующая ступень непременно хуже последующей. Вместо того, чтобы вдумчиво и внимательно осваивать и обдумывать конкретный материал истории, подгоняем ее под готовые универсальные схемы. В свое время можно было услышать, что последний аспирант из Новозыбкова на голову выше первого профессора Сорбонны, ибо он сдавал истмат и диамат.

При таком восприятии исторической мысли мы до сих пор не усвоили то, что стало очевидным сегодня в мировой исторической науке, а именно, что сознание людей разных эпох было не более высокого или более низкого уровня — оно было качественно различным. Такой в полном смысле этого слова историзм — большая редкость и в наших профессиональных трудах, а уж чему учат молодежь... Я думаю, что на страницах журнала следует повести речь не только о всестороннем, правдивом освещении истории нашего общества, но и о воспитании подлинного историзма — того, что в разные эпохи существовало неповторимое своеобразие культур, мировосприятия людей, их способов мышления.

Современная историческая наука обретает новое направление. Это историческая антропология, которая изучает человека с самых различных точек зрения — от экономики и политики до тончайших проявлений духовной жизни. Этого всистую нет в нашем историческом воспитании. О чем мы говорим? Как производственные отношения приносятся к изменяющимся производительным силам. А производительные силы — это ведь не только плуги и станки, это человек, люди. Не пора ли повернуть этого раба или крестьянина к себе лицом и посмотреть, что было у него в глазах, за душой, что он представлял собой как живое мыслящее и чувствующее существо? Вся мировая история в наших учебниках обезлюдела. Речь идет о том, чтобы социально-экономические формации не превращались в какие-то обезчелоченные абстракции. Возвращение нашего внимания к человеческой личности, к ее особенностям в разные исторические эпохи в разных странах и культурах — вот главная, на мой взгляд, задача современной исторической науки.

Привычно говорят о неотвратимом характере исторических законов. Но не оборачиваются ли так понятые исторические закономерности каким-то злым богом, который господствует над человечеством, а люди лишь выполняют его предначертания? Я глубоко убежден, что то, что делалось в нашей исторической науке с тридцатых годов и до недавнего времени (вне зависимости от того, сознавали это или нет бывшие наши теоретики и практики), объективно служило воспитанию социального квиетизма, бессилия, подчинения какой-то руководящей воле, воплощенной если и не в «абсолютном духе на коне», то в безличном, непреложном историческом законе, который высится над людьми и превращает их в безликие песчинки или «статистические единицы». Такая дегуманизированная история безнравственна.

Необходимо вернуть истории человеческое содержание. Юрий Николаевич справедливо отметил, как не хватает нам духа и чувства свободы. Надо показывать, как в каждом конкретном случае историческое действие есть проявление определенной человеческой инициативы, которая отвердевает, преобразуется, трансформируется в некую закономерность, и что всегда существует выбор, альтернатива. Всегда ли путь, выбранный историей, был единственно возможным? Были разные варианты, и надо объяснить, почему один из них побеждал. А могло быть так, что победил бы другой вариант? Если не ставить подобный вопрос, то надо смириться, что есть железнодорожное расписание и поезд истории благополучно идет от вокзала до вокзала.

Я много раз приводил студентам пример из своей школьной жизни. У нас был учитель истории, он еще в вузе работал — по совместительству. Он приходил в класс и говорил: «В 1789 году положение трудящихся масс во Франции ухудшалось...» И описывал революцию. На другом уроке: «В 1830 году положение трудящихся масс во Франции...» Мы уже подсказывали: «...ухудшалось»... И отключались, потому что знали — опять будет то же самое. Это ведь не история, а социальная физика. По Ньютону. Вы так вот ударяете, и шар катится именно туда. Но что этот шар с мозгами, чувствами и он может вообще не показаться...

БАСОВСКАЯ. Есть магическая формула, которую знает каждый студент, — надо как можно чаще говорить, что в это время (а время может быть любое) — развалились производительные силы и...

ГУРЕВИЧ. ...и обострились социальные противоречия.

БАСОВСКАЯ. Да, да. И крестьяне жили все хуже, хуже, хуже и восставали. А если не восставали... Сейчас наша наука уже подошла к проблеме сознания, поэтому более ориентированный студент скажет, что крестьянам жилось все хуже, и они думали уже... о классовой борьбе! А ведь этим не может ограничиваться духовный мир человека.

ГУРЕВИЧ. У нас сейчас много историков, социологов, литературоведов, все они так или иначе с разных концов подходят к проблеме культуры. Собирать их вокруг журнала — благородное дело.

ЛЕВАДА. Я полагаю, что наше общество не лишено исторического сознания, хотя, конечно, это не научное, а массовое сознание, один из видов его. И даже при высоком уровне исторической науки оно будет существовать и будет отличаться от исторического сознания, потому что формируется из самых различных источников — от научной и популярной литературы до художественной, легенд и чего угодно. Образцы массового сознания вы получите, едва займетесь исторической темой, в виде читательских писем. Массовое сознание не терпит пустоты. Если научная литература о чем-то умалчивает, то здесь пустота заполняется сплетнями, мифами. Оно не терпит и беспорядка. Способы упорядочивания массового сознания заданы нашей преподавательско-пропагандистской схемой социального развития, но не только. Существуют элементы мифологизма, сказочного характера — есть сказки о добром царе, об обиженном народе. Есть психологические комплексы — спеси, непопуганности. Упорядочивание массового сознания подчинено элементарному принципу — так удобнее. Удобнее не знать слишком много. Удобнее знать, что о вас заботятся. Удобнее знать, что завтра будет лучше, чем сегодня. Бывали периоды, когда у некоторых народов это сознание носило апокалипсический характер, но для нашей страны это мало характерно. Массовое сознание быстро не изменишь — это очень трудно. Ближайшая задача — хотя бы понять, какую роль оно сегодня играет.

Один из элементов массового сознания — представление о каких-то тайных силах, которые нашей судьбой распоряжаются. Это история заговоров, интриг. В мое время, в тридцатые годы, просто всюду были шпионы. И в это верили?! Это такая паранаука, на правах представлений об экстрасенсах, спиритах. Она полуофициальная, и это ей придает вкус запретного плода. Так сегодня — всюду масоны...

БАСОВСКАЯ. Надо всячески способствовать разрушению тех стереотипов, очень жестких и глубоко ненаучных, которые, к сожалению, создает преподавание истории в средней школе. Эти стереотипы — как шоры на глазах молодого человека, считающего, что он изучал историю. На самом же деле он изучал не историю, а какое-то засушенное, схематизированное, огрубленное представление о мире. Многие наши первокурсники, например, убеждены, что буржуазный историк — прежде всего человек нехороший, непременно фальсификатор. Вот мы изучаем проблему азиатского способа производства. Существовал такой или не существовал? Говорю, что среди советских историков есть сторонники разных подходов. Называю, в част-

ности, имена двух ученых, которые считают, что был такой способ, хотя многие их точку зрения не разделяют. В ответе на экзамене студент называет их буржуазными историками. Почему буржуазными? Если думают не как все, их надо поскорее заклеить. А как? Назвать буржуазными...

Второй классический стереотип. Вчерашний десятиклассник приходит в институт с внутренним ощущением, что эксплуатация — это когда кого-нибудь бьют. Плохие бьют хороших. Все делится на плохих и хороших, а эксплуатация — это обижание хороших. Подавляющее большинство школьников впитывает это еще в пятом классе в результате примитивной подачи существа рабовладельческого строя. Позитивные достижения антагонистических обществ как бы исключаются из общеисторического контекста. И начальная задача преподавателя высшей школы — разрушение этих стереотипов.

Реформа средней школы является пока лишь нашей мечтой — она далека еще от каких-то реальных результатов. И к нам по-прежнему приходят абитуриенты, в голове у которых разделенные пополам странички. С одной стороны — достижения парижских коммунаров, с другой — их ошибки. И почему-то ошибки они помнят лучше. Наш абитуриент вообще лучше всего знает, кто чего недопонял, недоделал и что у коммунаров было пять ошибок. Назовет четыре и начнет мучительно вспоминать пятую. Помнит, что ошибок пять. И студент наш, обращаясь уже к трудам буржуазных историков, первым делом ищет в них ошибки и, находя, радуется. Хотелось бы другого отношения к истории — как к целостному процессу, а не как к огрубленной и до ужаса упрощенной схеме.

Мы поведем с тобой разговор на самом серьезном историческом уровне. Твоих родителей, когда они были в твоем возрасте, к сожалению, не считали достаточно взрослыми, чтобы вести с ними такой разговор. Так не будем терять времени.

ЧУДАКОВА. Но как винить вчерашних школьников в подобном отношении к истории? Поколение, которое их воспитывало, на мой взгляд, утратило вкус, о чем остается лишь глубоко сожалеть, к добытию и восприятию исторической правды. Занимаясь историей литературы, я сталкивалась с этим многократно. Так можно утратить вкус к стакану чистой воды. Когда человек давно не испытывал жажду, он забывает вкус чистой воды. А тот, кто хочет пить, жадно пьет эту воду. Так вот этот вкус, элементарный вкус к восприятию исторической правды, увы, утрачен, и не знаю, удастся ли вернуть его тем поколениям, а новым поколениям предстоит прививать его заново.

И пятнадцать, и десять лет назад я еще слышала: зачем, кому это нужно, какая польза в том, чтобы вспоминать, что Михаил Булгаков ушел врачом с белой армией во Владикавказ? И это я слышала не от каких-то безумных ретроградов, а от людей, глубоко уверенных в своей порядочности. Какая польза? Я отвечала, что правда не может быть бесполезной. И это далеко не всегда встречало понимание. И сегодня многие продолжают оценивать правду, как яхтсмен — ветер, который надувает только его паруса. Вкус к адекватности, к адекватному слову утрачен. И молодое поколение мы должны убедить, что правда хороша независимо от того, зачем она и почему.

Еще одно дурное наследство — утрата вкуса к свободе мысли. Я скажу, может быть, резко, но я уверена, что в целом для моего поколения система запретов и табу естественна и даже комфортна. Даже радость, радость озарения испытывает человек, получивший определенный житейский опыт (тот самый пресловутый житейский опыт, который сводится к тому, что человек хорошо знает, чего нельзя), когда он не сделал того, что нельзя. И радость такого озарения я видела не раз в глазах не ретроградов последних, а вполне, как говорится, приличных людей. Уже сегодня слышу: как могу писать, что молодой Булгаков был монархистом, ведь наша прогрессивная интеллигенция никогда не была настроена монархически? А откуда вы взяли, что Булгаков был прогрессивным? И что та-

кое — прогрессивный? И что такое — интеллигенция? Как будто все это под руками лежит — протянул руку и взял. И это говорят люди, имена которых на знаменах шестидесятых годов... Ну как можно написать, что монархизм Турбиных не имел «никакого отношения» к семье Булгакова? Я всю свою жизнь слышала, что нужно тут убрать это, а тут утаить это... Написать что угодно, лишь бы напечатано было... Я это слышала, занимаясь Булгаковым, все годы. Эта система умолчания... Как будто биография писателя не является такой же ценностью, как его творчество?! Биография писателя, конечно, ближе к истории, чем к литературе, а история у нас всегда служанка. Это как дышло — поворачивай, куда хочешь. Напечатать любой ценой — уже в этом циничное отношение к исторической правде, вообще к истории.

Многие годы разговор со взрослыми уже людьми велся у нас, как с детьми. И поколение, которое сегодня воспитывает молодежь, само воспитано на занимательном историческом чтении — с разного рода гуляньем и ладушками. Это тоже журналу надо учесть и вести разговор с юношеством на самом серьезном историческом уровне — безо всяких прихлопов и припопов.

Мы привели далеко не все предложения и пожелания авторитетных ученых, собравшихся в кабинете ректора историко-архивного института Юрия Николаевича Афанасьева, чтобы вместе с нами обдумать, как на страницах «Юности» представить историю.

О чем еще шел разговор? Мариэтта Омаровна Чуданова предлагала «оживить» нашу историю публикацией частных писем — и столетней давности (дать спектр интенсивной духовной жизни наших замечательных соотечественников), и недавних времен. Наша молодежь действительно гораздо лучше знает пере-

писку Юлиуса Фучика с женой, чем, допустим, письма Вернадского, в которых — высокий урок нравственности, сострадания и ответственности за судьбу каждого из нас и всей планеты.

Юрий Николаевич Афанасьев предлагал подумать, к чему зовут нас сегодня слова Ленина: «Коммунистом стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество». Надо окончательно снести те бюрократические преграды, которые воздвигнуты были на пути усвоения этих богатств, вынуждавшие нас жить в состоянии искусственной интеллектуальной самоизоляции. Знаем ли мы хотя бы поиски и достижения современной исторической мысли, работы виднейших зарубежных историков? Надо вести дискуссию о целых направлениях в гуманитарном знании, которые практически неведомы молодому читателю, — ну, скажем, бессознательное в жизни человека... Сейчас такое время, когда атаковать тему истории силами только историков невозможно и в публикациях должно звучать многоголосие. Нам сегодня — нашей культуре исторического мышления — недостает представления о возможности существования двух-трех-четырёх равноправных позиций по одному и тому же вопросу. Недостает дискуссий, где взгляды сталкиваются, но не смыкаются и все обходится без мордобоя. Надо воспитывать культуру дискуссий, и молодежь ее усвоит.

С благодарностью принимаем высказанные пожелания. И ждем твоих пожеланий, читатель. Есть конкретное предложение. В свое время наш журнал уже вел поиск и публиковал письма с фронта — письма участников Отечественной войны. А почему бы не воссоздать многоликую историю всех наших семидесяти лет в письмах? С этим предложением мы и обращаемся к тем, кто хранит свой семейный архив.

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ.

ЧТО ЕСТЬ ИСТОРИЯ

Быть может, изложение мое, чуждое басен, покажется менее приятным для слуха; зато его сочтут достаточно полезным все те, кто пожелает иметь ясное представление о минувшем, могущем, по свойству человеческой природы, повториться когда-либо в будущем в том же самом или подобном виде.

ФУКИДИД.

Творить мировую историю было бы, конечно, очень удобно, если бы борьба предпринималась только под условием непогрешимо-благоприятных шансов. С другой стороны, история носила бы очень мистический характер, если бы «случайности» не играли никакой роли. Эти случайности входят, конечно, и сами составной частью в общий ход развития, уравновешиваясь другими случайностями. Но ускорение и замедление в сильной степени зависят от этих «случайностей», среди которых фигурирует также и такой «случай», как характер людей, стоящих вначале во главе движения.

Карл МАРКС.

Предмет истории — то в прошедшем, что не проходит, как наследство, урок, неоконченный процесс, как вечный закон.

В. О. КЛЮЧЕВСКИЙ.

На что может пригодиться изучение исторических сочетаний и положений, когда-то и для чего-то сложившихся в той или другой стране, нигде более неповторимых и непредвидимых? Мы хотим знать по этим сочетаниям и положениям, как раскрывалась внутренняя природа человека в общении с людьми и в

борьбе с окружающей природой; хотим видеть, как в явлениях, составляющих содержание исторического процесса, человечество развращало свои скрытые силы, — словом, следя за необозримой цепью исчезнувших поколений, мы хотим исполнить заповедь древнего оракула — познать самих себя, свои внутренние свойства и силы, чтобы по ним устроить свою земную жизнь.

В. О. КЛЮЧЕВСКИЙ.

Не истины науки трудны, а расчистка человеческого сознания от всего наследственного хлама, от всего осевшего ила, от принятия неестественного за естественное, непонятного за понятное.

А. И. ГЕРЦЕН.

...Дело историка — рассказать и объяснить; дело читателя — передумать и понять предлагаемое объяснение; когда историк и читатель, каждый с своей стороны, исполняют свое дело, тогда уже не останется места ни для оправдания, ни для обвинения. Мыслящий исследователь взглядывается в памятники прошедшего для того, чтобы найти в этом прошедшем материалы для изучения человека вообще, а не для того, чтобы погрозить кулаком покойнику Сидору или погладить по головке покойника Антона.

Д. И. ПИСАРЕВ.

...Но зато с такою же силою, с такою же стремительностью, с такою же жаждою самосохранения и покаяния русский человек, равно как и весь народ, и спасает себя сам, и обыкновенно, когда дойдет до последней черты, то есть когда уже идти больше некуда. Но особенно характерно то, что обратный толчок, толчок восстановления и самосохранения, всегда бывает серьезнее прежнего порыва — порыва отрицания и саморазрушения.

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ.

Испытательный стенд

Эта рубрика продолжается... И будет продолжаться — пусть не всегда крупными «порциями», формы подачи могут быть разными, гибкими, но мы убедились, что продолжать стоит, предоставляя читателю авторов, как правило, молодых и в чем-то спорных. О первой публикации под рубрикой «Испытательный стенд» мнения и критиков, и читателей разошлись, а это само по себе интересно. За последнее время появились в журналах и газетах значительные подборки стихотворений Ивана Жданова, Евгения Бунимовича, Юрия Арабова, что лишний раз свидетельствует о том, что их творчество не «Очередная Глупость», как решил критик П. Горелов.

В этой подборке наряду с москвичами выступают молодые поэты из Ленинграда, Одессы, Ташкента. Ждем, дорогие читатели, ваших откликов и предложений — как и в какой форме продолжать данную рубрику (кстати, в ближайших номерах мы намерееваемся «подключить» к ней и прозу).

Владимир
ТУЧКОВ



Ольга
ИЛЬНИЦКАЯ

Дмитрий
ПРИГОВ



Ирина
ЗНАМЕНСКАЯ



Ефим
БЕРШИН

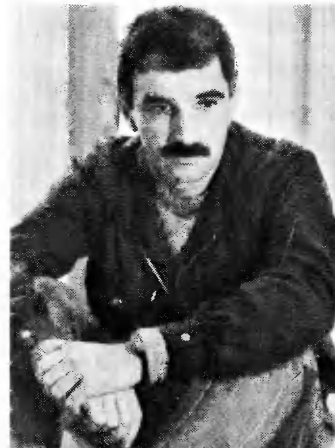


Мухаммад
СОЛИХ

Татьяна
НЕШУМОВА



Александр
САМАРЦЕВ



Игорь
ИРТЕНЬЕВ

Ольга

ИЛЬНИЦКАЯ

☆☆☆

Не хочу. Не буду. Не услышу.
Вижу:

на Луне сидит собака.

Вою.

Потому что я зарыта под Луною.

Обо мне шумят солдаты в арtpолку.

Строю из себя ковер самолетный.

Чтобы сыну подарить — после жизни.

Чтобы он не стал артиллеристом.

Улетел чтобы туда, где нет в помине

ни окопов, ни снарядов, ни отваги —

только мама, только боль ее о сыне,

только мама...

P. S. В прошлой жизни я была

зенитной пушкой,

ни один не пропустила самолет,

где в прицел глядели слепо вражьи дети...

Потому люблю ковры в бездонном небе.

☆☆☆

Забыть себя.

Других бы не забыть.

Но вот отшибло память.

Память, память...

Как пауки из брюшка тянут нить,

по затемненным шепчутся углам,

так женщины, что жизнь оберегают,

все смотрят ниоткуда, все глядят,

как голубеют щеки их ребят,

и бреются подростские мужчины.

Как крылья режутся у голубят...

Как голубятни, строясь в долгий ряд, —

внезапно превращаются в руины.

☆☆☆

Дымков горчащий шепоток,
мигренью схваченный висок...

Боль листопадов мне знакома.

Я лист, оторванный от дома.

Здесь, у чужой ограды сада,

октябрь — пастух и зверолов —

вгоняет лиственное стадо

в озноб костров.

г. Одесса.

Владимир

ТУЧКОВ

Буколика

...А как только пастуший рожок
магазинного принципа действия
прозвучит на закате —

сейчас же с пастбищ далеких

домой возвращаются тучные бомбы и пули.

Моет хозяйка им вымя и за ухом чешет.

И доит потом.

С ласковым шелестом льются купюры
в просторный подойник.

А хозяин тем временем выгребает навоз,

пол душистым сенцом присыпает

и хлев починаят.

Чтобы волк не залез,

не порезал кормильцев.

☆☆☆

Когда в 47-м пацан-третьеклассник
трофейным ножом о двенадцати лезвиях
пытался фашистскую мину разобрать,
чтобы враз повзрослеть, —

рука сорвалась...

с сухожилий, с плеча, с исхудавшего тельца.

И она, молча корчась от боли,

проползла по траве и прижалась к березе,

словно это плечо или мама,

и все обойдется.

Безмолвных два крика сплелись...

и рука привилась.

И на ней каждый год созревают мячи.

и висят, шелестя, словно на плодоножках,

на сосках, припорошенных тальком, камер.

Вызревают, отдающие мылом, карамели,

ломти ситного хлеба

с маслом, как в звездах,

в кристалликах сахара...

И подшпипники для самокатов,

словно колечки стручков...

Год за годом, поколение за поколением.

И чем дальше — все больше

превращаясь в непонятные символы —

зачем... почему... и почему?

Приближаясь по смыслу к листе.

Дмитрий ПРИГОВ

☆☆☆

И даже эта птица козодой,

Что доит коз на утренней заре,

Не знает, отчего так на заре,

Так смертельно, смертельно пахнет резедой.

И даже эта птица воробей,

Что бьет воров на утренней заре,

Не знает, отчего так на заре,

Так опасность чувствуется слабей.

И даже эта травка зверобой,

Что бьет зверей на утренней заре,

Не знает, отчего так на заре,

Так нету больше силы властвовать собой.

☆☆☆

Ты помнишь, как в детстве, Мария,

Мы жили в селенье одним

Со странным каким-то названьем,

Уж и не припомню каким.

Ты помнишь, гроза надвигалась,

Нет, нет, — это в смысле прямом,

А в сталинском и переносном

Тогда миновала уже.

И были мы дети, Мария,

Коли угрожала нам смерть,

То вовсе не по разнарядке,

А в виде подарка как бы.

Давно мы не дети, Мария,

И жизнь на различный манер

По-прежнему нам угрожает,

Но мы не боимся ее.

☆☆☆

Счастье, счастье, где ты? где ты?

И в какой ты стороне?

Из-под мышки вдруг оно

Отвечает: вот я! вот я!

Ах ж ты, бедное мое!
Детка ненаглядная!
Дай, тебя я пожалею!
Ты сиди уж, не высывайся!

Банальное рассуждение на тему свободы

Только вымоешь посуду,
Глядь — уж новая лежит.
Уж какая тут свобода —
Тут до старости б дожить.
Правда, можно и не мыть,
Да вот тут приходят разные,
Говорят: Посуда грязная! —
Где уж тут свободе быть!

☆☆☆

На прудах на Патриарших
Пролетело мое детство,
А теперь куда мне деться,
Когда стал я много старше?
На какие на пруды,
На какие смутны воды?
Ах, неужто у природы
Нету для меня воды?

Ирина ЗНАМЕНСКАЯ

☆☆☆

...И только молодость бессонна:
Час песен, поцелуев, драк...
Как привиденье граммофона,
Белеет клумбовый табак.
Уже темно читать по-польски —
Вложи в журнал последний луч...
...Похож на полуостров Кольский
Рукав одной из гончих туч.
Свет электрический — пергамент,
И свет русалочий — с небес...
Проскачет ветер вверх ногами,
Как дикий пушкинский черкес.
И музыка шестиголова:
У той, что справа — сильный альт...
На полпути лежит подкова,
Корнями вросшая в асфальт.
Размокли тени-промокашки...
И город переходишь вброд,
Как бабочка в ночной рубашке,
Ладони вытянув вперед...

☆☆☆

Без возраста камыш и клевер на откосе,
И грубая ладонь большого лопуха...
Синица подлетит, подсядет, переспросит:
— Годится для стиха? Годится для стиха?

Годится для всего, для жизни и для смерти —
Отрада и тоска, и мука, и покой...
(Я помню, как в степи — березы на конверте
Заставили лицо сжать черною рукой...)

...И чтобы им не петь всем этим невидимкам:
Еще ползет июнь...
Хитиновым жуком
Сверкает ночью пруд,
А в полдень — глянец снимка.
Но, точно — от любви подкатит к горлу ком.

Поденки над травой клубятся желтой пылью.
Скрипит велосипед малиновой тропой...
Ты сроду не летал: но брови — чем не крылья,
А слуха не дал бог, так тихо-тихо спой...

☆☆☆

«Война гуляет по России,
А мы — такие молодые!..»
Д. САМОЙЛОВ

Все, что было во времени оном —
Там и есть. Только глянешь назад:
Мама едет на крыше вагона
В отошавший, как лист, Ленинград.

Продувает ее — не продует,
Ветер платье марает и рвет.
Никакой она смерти не чувствует
И без голоса песни поет.

Горбоносый Сухуми покинув,
Все продав на обратный билет,
Ядовитых его мандаринов
Забывает и привкус, и цвет.

Зарастает открытое горе,
Черный отчим не снится во сне,
И ненужное Черное море...
Едет мама спиной к войне.

Все на север, на север, как птаха,
День и вечер, и снова — с утра...
...И ни пропуска нету, ни страха,
Ни семьи, ни кола, ни двора...

☆☆☆

Туманы. И ртуть в лопухах.
Картофельный дух преисподней.
Меж елей в облезлых мехах
Красавицы нет новогодней.
Все кофты в плечах велики:
По несколько враз надеваешь.
И холод за обе руки
Берет, коль одну вырываешь.
Бьет селезень пруд по щеке,
Бросает, срывается с места...
Одна в вышине, вдалеке
Ничья золотая невеста.
Горит керосином закат.
Луна замерзает на блюде.
И блудные дети летят
На север, чтоб с юга вернуться.

Выступление

Она сошла довеском к драме,
Терзая шерсть воротника...
...Уж музыканты за дверями
Намяли музыку бока,
Музейным ментиком гусара
Зал хвастал, господи, прости! —
В седьмом ряду сидела пара,
Не в силах руки расплести...
Но звуки тишина питала,
Внимать — не все ль равно — кому?..
«...Жизнь кончена!» — она читала,
Перечисляя, почему,
Сглотнув, поскольку — не актриса,
Остатки голоса и сил...
А муж заботливый пописать
Ее ребенка выводил
Из зала, слишком золотого,
Вдоль окон, где, — на холод зла,
Но к новому броску готова, —
Весна по улице ползла.
Где ветер дергал птичьих перья
И всех считал по головам...
Где, к счастью, не было доверья
Ее пророческим словам.

☆☆☆

Запавшей клавишей в земле последний хлад.
Дыханием вода восходит невысоко.
Подростки без понятия стоят:
Один похож на молодого Блока.

В тумане пробирается барбос
 На запах прошлогодней чудной встречи.
 Прохожий отражением пророс —
 Идет и топчет собственные плечи.
 Из-под льда всплывает синий мяч,
 А льда сейчас в канале — кот заплакал,
 И книгу критик нынешний Пикач
 Про раннего кропает Пастернака...
 Таинственность уже не так смешна —
 Скорей сродни припрятанной надежде:
 Чертами эта ранняя весна
 Не повторяет виденные прежде.
 Синица медным горлом воду пьет,
 Жизнь в полусне и вся — подобна ложу...
 Истории пружина из нее
 Торчит, прорвав натянутую кожу!

☆☆☆

Преследуют меня повестки к платежу,
 Не глядя на сезон, на бедность невзирая:
 Едва одну из них в кармане нахожу —
 Сквозь щель небытия уже ползет вторая.
 За свет, как он ни слеп,
 За стол, как он ни хром,
 За койку, что летит в ночных
 беззвездных безднах:

Не медью-серебром,
 Не пухом и пером —
 Искромсанным нутром
 И языком в порезах.
 Шагреневая жизнь на ощупь — как щека.
 (Кольчужка — коротка, а ведь на вырост брали...)
 Как струйка молока,
 Висит моя рука
 С картинки, где — река и розовые дали,
 Где весь открыт сундук:
 С письмом спешит паук
 По чашке, по клинку старинной страстнойковки,
 Черемухой знобит, и этот летний звук,
 Осинный длинный зуд,
 Прилипший к газировке...

г. Ленинград

Ефим БЕРШИН

Натюрморт (холст, масло)

Обнаженная рыба упала ничком
 на палитру стола.
 Опустившись на дно,
 сквозь прореху в сквине глядело тайком
 на ее наготу молодое вино.
 В позолоченной чашке (почти у окна)
 желтый парус лимона лежал на мели —
 словно взяли и выпили море до дна,
 не дождавшись, пока уплывут корабли.
 Не умея сдерживать вытекающий сок,
 над равниной салата и прочей едой
 недоеденный кем-то арбузный кусок
 восходил из тарелки зарей молодой.
 Под мужским каблуком задохнулось стекло.
 А на узкой кровати правее стола,
 в голубую подушку дыша тяжело,
 вопросительным знаком
 хозяйка спала.

☆☆☆

Бастилии не простили кровью сожженный наст.
 Не за стеной бастилий свобода. Она — в нас.
 Разве в памяти стерт день, где,
 не дрогнув ни разу,
 выплыла на костер дева зеленоглазая,
 враз доказав всем: свобода — она в ней,
 вне кабинетных схем, вне разговоров, вне
 той суеты бестолковой, что окружает, насилуя.

Ташим свои оковы, сдерживаясь насилу.
 Ночью над книгами маясь,
 причем в груди стон,
 в общем-то понимая, что опоздали, что
 Бастилии не простили кровью сожженный наст.
 Не за стеной бастилий свобода. Она — в нас.
 В душу взглядишься пристально —
 мысль промелькнет, как кинжал:
 взять бы себя приступом,
 только себя — жаль.

☆☆☆

Как глухо. Как метет пурга,
 И люди сквозь пургу, отчаясь,
 бредут на ощупь, наугад,
 дорог и лиц не различая.
 Они похожи. К масти — масть.
 И то, что ночь им уготовит,
 сегодня рано понимать,
 а завтра понимать не стоит.
 Они ослепли в эту ночь.
 Метет пурга. Но за ворота
 я выйду. Как сквозь масло — нож,
 пройду сквозь снег до поворота.
 И встану на голову, чтоб
 увидели, прервав движенье,
 что в переулке вырос столб
 с лица необщим выражением.

Татьяна НЕСУМОВА

☆☆☆

А если вы красивые — знакомьтесь на улицах!
 А если некрасивые — пишите диссертации!
 А если диссертации у вас не получаются,
 то занимайтесь творчеством — пеките пироги!
 А если недосолите иль маслом недомажете,
 звоните мне, я добрая, красивая, хорошая,
 я к вам приеду тотчас же и испеку пирог.
 А если вы, красивые, со мной не познакомитесь,
 а если вы, ученые, со мной не общаетесь,
 а если вы, кондитеры, всласть Таню не накормите —
 то что, скажите, делать мне?
 Как жизнь свою прожить?

Качели

Качели старые скрипят, как будто бы мычат
 коровы.
 И тихо так, что из окон высовываются жильцы.
 А я на цыпочки встаю и в небо улетаю,
 глаза сухие у меня, как будто трактор их ровнял.
 Потом соскальзываю вниз.
 Как хорошо, что есть земля!
 Ни для кого, ни для меня, но есть, и это хорошо.
 Потом несет меня асфальт, потом несусь сама.
 Дома похожи на дома, качели в спину мне
 скрипят,
 я оборачиваюсь — там: коровы синие скрипят,
 качели мудрые мычат, и я реву навзрыд.
 И тихо так, что каждый всхлип —
 как будто сотни бубенцов,
 как будто тысячи коров со мной мычат теперь.
 И я, закрыв глаза рукой, рукою голову верчу,
 дома похожи на дома, и я на цыпочки встаю.
 Я знаю: миг — и я лечу. Сама! Сама! Сама!

☆☆☆

Тебе — большой корабль. Снаряжай и плыви.
 А мне — волшебная книга. Садись и читай.
 А Игорю — тельняшка и переплет. Переплетай.
 Тебе — поцелуй мой. Возьми и запомни.
 Автобус, глаза — твои и мои. И щелчок по носу.
 А мне — мазурки слушать и петь мазурки.
 А Игорю — сладкий кусок пирога
 и подзорную трубу.
 А тебе письма, что приносит верблюд на горбу.
 И все это делаю я.

Мухаммад СОЛИХ

Дурной сон

Свесив ноги с дивана, приостановлюсь,
настраиваясь на новый день:
фраза, которая мне приснилась,
меняет синтаксис на ходу.

Улыбаюсь, разглядывая близких своих,
улыбка, словно рыбешка,
отпущенная с крючка,
еле-еле, туда-сюда
начинается в моем лице.

Да, говорю, улыбаясь,
улыбаясь, говорю — да,
слава богу, говорю, улыбаясь,
угу, думаю, неплохо,
что все, кто живет со мной, под одной крышей,
не видели моего сна.

Без метафор

Великий человек капризен,
и это часть его программы,
он выбирает время жизни,
республику и драму кармы.
Веками не рождаясь (признак
величия и чувства меры),
он скромничает, о, капризы! —
чтоб не тревожить акушера.
Скрывается. Такая личность.
Удел бессребреника тяжок.
Необходимость, историчность, —
историк будущего скажет.
Он прячется не за металлом,
он весь в чувствительности кроткой,
скрываясь не за идеалом,
а, скажем, за простой бородкой.
А если бороды не в моде,
он может юркнуть за усы,
за брови — судя по погоде...
Куда склоняются весы...
А если брови не сходятся,
и если время не поймет...
Он подождет еще родиться
до возвращения старых мод.

Жизнь...

Я опишу ее той же простой метафорой:
это тропинка, но из бумажной ленточки, —
горит с одного конца и продвигается,
другим концом — в Океан Вечный опущена.

Перевел с узбекского
А. ПАРШИКОВ

Много разных стран я видел,
В телевизор наблюдал,
Но такой, как ты, не видел,
Потому что не видал.

Где бы ни был я повсюду,
Но нигде и никогда
Я тебя не позабуду,
Так и знайте, господа!

Электрический ток

Электрический ток, электрический ток,
Погоди, не теки, потолкуем чуток.
Ты постой, не спеша, лошадей не гони,
В этот вечер в квартире с тобой мы одни.

Электрический ток, электрический ток,
Напряженьем похожий на Ближний Восток,
С той поры, как увидел я Братскую ГЭС,
Зародился к тебе у меня интерес.

Электрический ток, электрический ток,
Говорят, ты порою бываешь жесток,
Может жизни лишит твой коварный укус,
Ну и пусть, все равно я тебя не боюсь.

Электрический ток, электрический ток,
Утверждают, что ты — электронов поток,
И болтает к тому же досужий народ,
Что тобой управляют катод и анод.

Я не знаю, что значит анод и катод,
У меня и без этого много забот.
Но пока ты течешь, электрический ток,
Не иссякнет в кастрюле моей кипяток.

☆☆☆

Ах, отчего на сердце так тоскливо?
Ах, отчего сжимает грудь хандра?
Душа упорно жаждет позитива,
Взамен «увы» ей хочется «ура!».
Повсюду смута и умов брожение.
Зачем, зачем явился я на свет,
Интеллигент в четвертом приближеньи
И в первом поколении поэт.
Безумный брат войной идет на свата,
И посреди раскопанных могил
На фоне социального заката
Библиофила ест библиофил.
Быть не хочу ни едоком, ни снедью,
Я жить хочу, чтоб думать и уметь,
На радость двадцать первому столетию
Желаю в нем цвести и зеленеть.
Неужто нету места в птице-тройке,
Куда мне свой пристроить интеллект?
Довольно быть объектом перестройки,
Аз есмь ее осознанный субъект!

☆☆☆

Когда сгорю я без остатка
В огне общественной нужды,
Идущий следом вспомнит кратко
Мои невинные труды.
И в этот миг сверкнет багрово
Во тьме крошечной и густой
Мое мучительное слово
Своей суровой наготой.
Причинно-следственные связи
Над миром потеряют власть,
И встанут мертвые из грязи,
И упадут живые в грязь.
И торгаши войдут во храмы,
Чтоб приумножить свой барыш,
И воды потекут во краны,
И Пинском явится Париж.
И сдаст противнику без боя
Объект секретный часовой,

Игорь

ИРТЕНЬЕВ

Моя Москва

Я, Москва, в тебе родился,
Я, Москва, в тебе живу,
Я, Москва, в тебе женился,
Я, Москва, тебя люблю.

Ты огромная, большая,
Ты красива и сильна,
Ты могучая такая,
В моем сердце ты одна.

И гайка с левою резьбою
 Пойдет по стрелке часовой.
 И Север делается Югом,
 И будет Западом Восток,
 Квадрат предстанет взору кругом,
 В лед обратится кипятком.
 И гильза ляжет вновь в обойму,
 И ярче света станет тень,
 И Пиночет за Тейтельбойма
 Опустит в урну бюллетень.
 И дух мой гордый и бесплотный
 Над миром, обращенным вспять,
 Начнет туда-сюда витать,
 Как перехватчик беспилотный.

Городским поэтам

Люблю я городских поэтов,
 Ну что поделаешь со мной?
 Пусть дикой удали в них нету,
 Пусть нет раздолжности степной,
 Пусть нету стати в них былинной,
 Пусть погран дедовский завет,
 Пусть пересохла пуповина,
 Пусть нет корней,
 Пусть стержня нет.
 Зато они
 В разгаре пьянки
 Не рвут трехрядку на куски
 И в нос не тычут вам портянки,
 Как символ веры и тоски.

Попытка к тексту

Снег падал, падал и упал...
 На юг деревья улетели,
 Земли родной в здоровом теле
 Зимы период наступал.

Проснулись дворников стада,
 К рукам приделали лопаты,
 И жаждой действия объаты,
 На скользкий встали путь труда.

Зима входила в существо
 Вопросов, лиц, организаций,
 И в результате дней за двадцать
 Установился статус-кво.

Застыл термический процесс
 На первой степени свободы...
 Зимы ждала, ждала природа,
 Как Пушкин отмечал, А. С.

И дождалась...

☆☆☆

Сняло солнце над Москвою,
 Была погода хороша,
 И наслаждалась покоем
 Моя уставшая душа.

Внезапно сделалось темно,
 Затрепетали занавески,
 В полуоткрытое окно
 Ворвался ветра выдох резкий,

На небе молния зажглась,
 И долго там себе горела...
 В вечернем воздухе,
 Кружась,
 По небу кошка пролетела.

Она летела, словно птица,
 В сиянье грозových огней
 Над изумленной столицей
 Великой родины моей.

По ней стреляли из зениток
 Подразделения ПВО,
 Но на лице ее угрюмом
 Не отразилось ничего.

И, пролетая над Арбатом,
 К себе вниманием горда,
 Она их обложила матом,
 И растворилась
 Без следа.

Александр САМАРЦЕВ

☆☆☆

Горю дареному

в зубы не смотрят,
 не выбирают его по плечу,—
 в наших —

почти запредельных —
 широтах
 эту премудрость — гребни не хочу.

В наших коротких

на целое лето,
 как караулы почета, дождей
 только лопатой и выгрести это:
 совесть и страх — обрубив и разняв.

...Встань поутру за печатной картошкой
 и по негордой цене перемнись.
 Семя души

срамотой гороховой
 пашет молчун — и гноит сталинист.

Ветром усталым беглянка набита,—
 обетованная клетка груди,
 и медновсадничье,

с понтом, копыто
 занесено, как из «Ну, погоди!».

И табунами закаты-восходы
 мчат без хлыста все быстрее и быстрее,
 мчат взад-вперед — и накрапы свободы
 много плодят по воде пузырей...

Чистые пруды

Словно арфу уронили набок —
 стрельчато избрызгается пруд,
 но игры утрачен грозный навык,
 и с гвоздикой скучный кофий пьют.
 Зеленеет небо вполнекала,
 к лебедям толкнется — вновь на дно.
 Чистота, ты нас избаловала
 тем, что не касаешься давно.
 Здесь как будто в отпусках — стихии,
 а диспетчера за пультом спят
 и щебечут, нервно-золотые,
 на жаргоне сов и соловьят.
 В этой зоне, рядом с арфой падшей,
 сколько влезет можно жить и ждать
 дирижера или атаманши
 свист свечой,

и бешеную прядь.

☆☆☆

Атлантам школьным надоело
 балконы подпирают затылком,
 и на свиданья к дискоболкам
 они бегут.

Едва стемнело —
 хрустит земля тугого сквера,
 ступни столетние топчут,
 и на приливе чистой ночи
 как быстро школа захирела!
 Да! Это было, было, было —
 апрель! Большая перемена!
 Так сдай, горнист, свое горнило
 в металлолом, а сам — налево.
 К трибунам призваны атланты,
 а дискоболки — к постаментам,
 под освещением заповедным
 нагие все, кто были наглы.
 Проломит почка толщу гипса,
 слух разевая небывалый,
 и на приливе битвы чистой
 услышь: «Ничто не опоздало!..»



**Андрей
БОГОСЛОВСКИЙ**



ДО ПОРОГОВ

Рассказ

Утро было туманным, мгlistым. Странными размытыми пятнами светились огни у причалов, хрипло, словно прокашливая этот туман, гудели пароходы. С ночи приморозило, и почти все вокруг было одето в тончайшую иневую опушку. Хорошо было вдохнуть чистый, холодный, напоенный близкой пресной водой и хвоей воздух после злобной толкотни, ругани и запаха нечистых тел в помещении кассы. Почти прямо у выхода из дощатого сарая кассы ярко горел костер, и Надежда Георгиевна подошла к нему погреть руки. Она сняла вязаные варежки и мяла, потирала кисти, растопыривала пальцы, стара-

ясь протянуть их возможно ближе к огненному теплу.

Потом она достала портмоне и сосчитала деньги. Кроме билета, купленного на какой-то пароходишко до Дудинки (на большой пароход, с каютами, достать не смогла, а в такой давке — хорошо, что вообще достала), оставалось почти двести рублей. Был еще большой фанерный чемодан с ее вещами и вещами, предназначенными Сергеем, и была сумка из мрачной черной клеенки, в которой лежала кое-какая провизия на дорогу. Тут, в Красноярске, ей удалось подкупить хлеба, а котлеты и шматок сала еще оставались, хотя и были уже на исходе. Так что только бы ей добраться до Дудинки, а там ее встретят. Только бы добраться, только бы...

Нелегко ей далась эта поездка. Сразу после того как Сергей написал о том, что их расконвоировали и теперь ей можно добиваться свидания, Надежда Георгиевна бросилась хлопотать. Ах, как трудно выстаивались пропуска в здании на улице Дзержинского, как тяжело писались казенные бумаги, какими равнодушными, красноватыми от бессонницы глазами смотрели на нее молчаливые люди в молчаливых, прокуренных кабинетах. Потом на толкучке она распродала вещи, оставшиеся еще после дикого, томительного пути эвакуации. Но нужны были деньги на дорогу, нужно было хоть что-то купить Сергею и оставить немного детям. Хотя и работали уже давно Антон и Вера, однако дети всегда дети, и бросить их совсем без денег она не смела. И вот долгий, мучительно долгий переезд до Красноярска, подрагивание почти нетопленного вагона, железный, бездушный перестук колес, суета и маета дороги. Народу в вагон натолкали столько, сколько могло влезть. Надежда Георгиевна лежала на багажной полке вместе с еще какой-то несчастной, измученной женщиной. Тело занемало от неудобного, скорченного положения, кружилась голова от дрызга и скрипа разбитого вагона и кислой вони застарелой грязи. И преследовали постоянные мысли о Сергее, о встрече с ним, об этой кошмарной, неправдоподобной разлуке, что длилась уже почти десять лет, больше похожих на вечность.

И теперь, через десять лет, как вчерашнее, накатывало на нее при воспоминаниях ощущение обморо-

Рисунок И. Бронникова

ного бессилия. Тогда тяжело скрипели паркетом сапоги, петлял по квартире пугающий говор приглушенных голосов и запах чужих папирос. И на все вопросы об участии Сергея один ответ: «Разберемся...» И уж совсем будто из каких-то фильмов — обида и страх на лицах детей и медленно, словно завороченно кружащийся по комнате пух из разрезанной подушки...

Пароходик «Ермак», на котором ей предназначено было плыть, оказался маленьким, старым, с облупившейся черной краской. Навигация на Енисее доживала последние дни, и в порту стояли на приколе большие солидные пароходы, среди которых «Ермак» казался потрепанной игрушкой. Прижимая к себе сумку и чемодан, врезаясь в толпу с отчаянием и умением, приобретенным за войну в эвакуационных давках, Надежда Георгиевна пробилась к пароходу.

— Отойди, задавлю! — проревел где-то сверху огромный мужчина с бородой, навалился на нее пахучим овчинным полушубком. Глаза его были страшно вычужены.

Этого мужика отбросил сильной рукой молоденький румяный матросик в тельняшке под лихо расстегнутым кителем и с чумазым лицом. Он взял Надежду Георгиевну за локоть, подтолкнул к трапу.

— Давай, бабка! — подмигнул он ей. И еще успел сказать: — Городская? Ты лезь прям по людям до брезенту, там от ветра лучше.

Лезть пришлось действительно по людям. У сходней толпа прижала к борту мальчика лет четырнадцати, сдавила его, и мальчик надрылся в тонком и силком крике. Навалившиеся на него люди и хотели бы не прижимать мальчика, но по трапу поднимались, напирая, новые, и давление все усиливалось. Надежду Георгиевну толкнули. Она упала, ударилась лицом о свой чемодан и боком о чьи-то торчащие сапоги и поползла к какому-то грузу, покрытому зеленым военным брезентом. По укоренившейся за время войны привычке не расспрашивать ни о каких грузах никто и не знал, что вез пароходик, и только потом выяснилось, что то были обыкновенные дрова. Привалившись спиной к этому брезенту, Надежда Георгиевна некоторое время приходила в себя, отирала пот с лица, устраивала чемодан и сумку на крохотном свободном пространстве. Потом отметила, что истошный крик мальчика прекратился, а встав и глянув через головы, увидела, что пароходик уже движется по реке, и порт с большими судами удаляется, и совсем где-то рядом плещет водой старинное пароходное колесо.

«Ну все, — подумалось ей. — Слава богу, еду». От холодного железного пола пахло мазутом, с реки бил зябкий, рыбный какой-то ветер. И вот уже поползли по бокам, нависли над чугуновой водой крутые, поросшие тайгой берега с белыми каменистыми пролысынами. И вся эта высота, и ветер, и пространство мертвенной, полуспящей ледяной воды показались Надежде Георгиевне необыкновенно величественными.

Рядом с ней, возле дров под брезентом, разместились двое. Старик в зипуне с суровым, истовым лицом, с свалившимся ртом. На нижней губе виднелся у него малиново-серый струп. Старик важно, даже, казалось, презрительно молчал и лишь иногда доставал из кармана зипуна хлебные крошки и горстью отправлял их в беззубый рот. С левой стороны, ближе к корме, расположилась женщина одних примерно лет с Надеждой Георгиевной, может, немного помоложе. Голова у нее по-крестьянски была замотана платком, на ногах сидели валенки, и короткая овчинка ладно облегалась ее сбитое тело. Из-под платка глядели серьезные, без улыбки глаза.

— А вы на большой пароход-то не достали места? — спросила она почти сразу у Надежды Георгиевны.

— Нет, не смогла, — отрицательно качнула та головой.

— И вот я тоже. — Губы у женщины расплылись в улыбке, и улыбка эта сразу Надежде Георгиевне понравилась. Было в ней что-то доброе, то доброе, что рождается только перенесенным лихом. — Да вы

не кручиньтесь. Мне человек на пристани говорил, матрос, что все равно, как до порогов доплывем, нас на тот пароход посодют, потому что этот вертять будут в Красноярск... — Она помедлила. — Вы не здешняя?

— Нет, я не отсюда, — задумчиво ответила Надежда Георгиевна. — Я из Москвы.

— С Москвы-ы? — с уважением пропела женщина, внимательно вглядываясь в соседку. — То-то, гляжу я, вы совсем уж по-городскому принаряжены. Вон, ботинки у вас... — Она усмехнулась. — А я с Белгороду. Слыхали?

— Разрушено у вас там все, — с сочувствием проговорила Надежда Георгиевна.

— Э-э-э, разрушено! — Женщина даже махнула рукой. — Дома целого нет!.. Либо щепенка от камня, либо печка торчит без стенок, одна. В сараях временных люди живут, а то и в ямах. Выкапывают яму и живут в ей. Я летом тоже в яме жила, а теперь в барак меня взяли со строительства.

Они немного помолчали, приглядываясь друг к другу. Женщина в платке все улыбалась, и Надежда Георгиевна тоже улыбнулась ей в ответ. Мало, слишком мало в последнее время ей доводилось встречать вот такие, просто и добро улыбающиеся лица.

— Ну и ладно, — сказала женщина, разматывая платок на шее. — И хорошо, что поплыли. Теперь только до порогов нам сдюжить, а там уж дело пойдет. До порогов, я слыхала, дня два, что ли, плыть. Самое первое, чтоб ни дождь, ни снег не пошел. Если пойдет, то тогда нам труба — ветер заметет, и никакой тебе брезент не спасет. Вы докуда плывете?

— Я до Дудинки, — ответила Надежда Георгиевна, глядя на ее тщательно стянутые в пучок светло-русые волосы, в которых, впрочем, уже гляделась седина.

— Я-то раньше, — улыбнулась женщина. — Я уж скоро сойду. Там уж и снег лежит. Я в Красноярске порасспросила людей, они говорят — стужа там злая, за Полярным кругом. А уж как начнет мететь, то метет, метет... Сутками! Людей с ног кидает.

— Да, и морозы, и бураны там лютые, — согласилась Надежда Георгиевна, вспоминая в письмах мужа описания долгой заполярной зимы, и сразу чуть забывшаяся тревога, боль за Сергея полоснули сердце.

— Что ж это вы, — вернул ее к жизни голос женщины, — не по погоде одеты, в городском. Мне вон и тулупчик перепал, как матери военнослужащего. Нам вообще помогают-то, чего греха таить. Заботится об нас государство, об тех местах, что под немцем были. Нам вот и строительство помогают налаживать, и по лендизу американских продуктов подкидывают, да и из одежды что-ничто... — Она опять почти беспечно улыбнулась. — Вас как звать?

— Надежда Георгиевна.

— Ну, а меня Настасья Николавна. Только я больше к Насте привыкла. И люди так звали, и муж. Только муж он вроде как уважительней меня называл, со значением. А сын, Вовка, тот тоже, чуть что — в шутку говорит: ох, и люблю я тебя, наша Настя! — Она улыбнулась, тряхнув головой, и светлые глаза ее залучились морщинками.

— Вы к мужу едете? — спросила Надежда Георгиевна.

— Нет... — Настя замаялась, и улыбка пропала с ее лица. — Мужа-то моего нет. На Урал похоронка пришла, в сорок третьем, в феврале. Уж убивалась я, убивалась, а только обратно не воротить... А только счастье было такое, что сын живой. Не пришлось ему еще время на войну, лишь нынешним летом взяли на действительную. К нему и еду попроведать. — Она робко взглянула на Надежду Георгиевну. — А ваши-то... живы?

— Живы, — кивнула та. — Сын тоже годами не вышел. А вот брат мой и двое братьев мужа погибли.

— Ай-яй, — тихо выговорила Настя. — Сколько ж повибало мужиков! Ай и война, ай и лихоманка, чтоб ее бесы заели. — И она замолчала, сиротливо сложив руки на коленях.

Заметно стемнело, и берега уже были видны нечетко, река совсем почернела, и лишь угадывался ее плеск и лопотанье под колесами. С вечера стало хо-

лоднее, ветер налился прозрачной льдистостью, Надежда Георгиевна спрятала руки в карманы и подняла воротник пальто. За темным, неразличимым месивом тел на палубе, где-то впереди, у носа, заиграла была гармошка, но потом всхлипнула и захлебнулась. В сине-сером пространстве, далеко на берегу, медленно поплыл маленький огонек, и казалось, что не пароход, а именно огонек движется, постепенно отдаляясь в сторону.

— Ну что ж,— вздохнула наконец Настя,— хоша и тяжелые времена, а жить надо. Хорошо бы нам покусать сейчас и отдыхать устроиться.

Настя развернула узелок, а Надежда Георгиевна достала из сумки газетный пакет с едой. Провизия Насти оказалась куда богаче. У нее и белый хлеб был, и зеленый лук, и сала побольше, и яйца, и американская тушенка в выткнутой банке, которую она ловко, по-солдатски открыла ножом.

— Эх, кипяточку бы нам,— сказала она.— Да тут взять негде. Ну, вы кушайте, Надежда Георгиевна, угощайтесь, а то ишь вы худенькая, прямо прозрачная. Или болезнь у вас какая?

— У меня туберкулез,— ответила Надежда Георгиевна и, видя, что Настя не поняла, добавила: — Чихотка. Кровохарканье.

— Ох ты, боже мой! — охнула Настя с непритворным сочувствием.— Как же это вы, миленькая? И лихо же вас трясло-то по жизни, что вы аж такую болезнь нажили... И больно вам?

— Сейчас лучше,— чуть улыбнулась Надежда Георгиевна.— Здесь холодней и суше, а холод и сушь для моей болезни полезные.

— Ну да, ну да,— забормотала Настя,— вот вы и кушайте, питание, оно все лечит, всему помогает.— Она достала из банки ножом большой шмат тушенки, блестящей жиром, и положила на кусок белого хлеба.— Эх-ха, и досталось же нам,— прибавила она.— Да уж все, почитай, позади.

— Досталось.— Голос Надежды Георгиевны дрогнул, и подумалось ей, что для нее-то ничего еще не кончилось, и сколько новых страданий ждет впереди — кто знает.

Молча они поели и стали укладываться на ночь. Палуба уже спала, лишь кто-то курил у борта, рассыпая по тьме оранжевые брызги, да слышался мерный плеск воды и подрагивающий шум машины. Беззубый старик рядом с ними давно доел свои крошки и скорчился на мешке. Ввалившиеся его губы с клекотом втягивали и выпускали воздух. Сипло ревнул пароходный гудок. Надежда Георгиевна прикрылась куском свободно свисавшего брезента и замерла. Высоко в небе, прорываясь из-за мутных облаков, светила луна, озаряя небо молочным светом. Она думала о том, каким встретит ее Сергей, каким он стал после этих страшных десяти лет. Уж она представляла себе, ЧТО были эти десять лет для него! В мире прошла великая война, страна пережила небывалые трудности и лишения, а что ж было тогда там, за Полярным кругом, на строительстве Норильского комбината? Где ж черпать теперь силы ей, больной, изношенной, потерявшей почти все? Только вот в добре и истинности таких Насть, тоже перенесших все мыслимые беды и не сломившихся, а только ставших еще добрее и чище. Верить в их скорбные и милые глаза и тогда поверить и в себя... Подрагивание палубы убавляло, и она уснула.

Проснулась она от сиплого гудка и пронзительного крика:

— Ба-ке-ны-ы! По право-ой!..

Все тонуло в зябком ватном тумане. На брезенте играли капельки воды на белом поле изморози. Тепло занемело, замерзло и казалось чужим. Надежда Георгиевна привстала, откидывая брезент, и тут откуда-то изнутри ее рванул знакомый приступ кашля. Она хрипела, задыхалась, стараясь кашлять потише, согнувшись, прикрывая рот одной рукой, а второй шаривая в кармане платок. На скомканной серой материи тут же появились темные пятнышки. Кашель отпустил. Она слотнула металлическую от крови слюну, подняла глаза и встретилась взглядом с беззубым стариком. Он не спал, сидел и смотрел на нее

ровным, немигающим взором, в котором почудилась ей большая скорбь. Лицо его, заросшее седой щетиной, было бесстрастно. Потом он вроде захотел что-то сказать, даже струп на губе шевельнулся, но старик отвернулся и промолчал.

— Ну что, Надежда Егоровна,— раздался ясный голос Насти,— проснулись? Ну и ладнечко. А я-то уж все бока себе отлежала, да и замерзла, даром что в тулупе. Надо бы нам где-нибудь умыться и за завтраком садиться. Что ж, с добрым утречком?

— С добрым утром,— ответила Надежда Георгиевна, глядя на румяную со сна Настю, и так ей хорошо и покойно стало от ее веселого чистого голоса и лучиков морщинок у глаз, что все ночные страхи и даже утренняя боль отошли, словно новые силы в нее влились.

Большинство людей на палубе еще спало. Они умылись у ржавого ведра на цепочке ледяной енисейской водой. Туман постепенно расходился, и из-за высокого лесистого берега высверкивали слюдяные солнечные лучи.

— Что-то бледная вы какая-то, Егоровна,— сказала Настя, опять накладывая ножом тушенку из банки на хлеб.— Ах, кабы не жизнь наша тяжелая, пригласила б я вас к нам на лето. Только сейчас, конечно, какой у нас отдых — разруха. А уж до войны-то... — Она даже зажмурилась от счастливого воспоминания.— У нас дом был, двадцать километров от города, там маманя мужнина жила. И все у ней было — и клубника своя, и сад, и огород. С утра зеленые нарешь, огурчики свеженькие... И корова была... Так и клубнички насобираешь, молока надоишь парного, и клубнику, значит, с молоком, и картошечку горячую с огурцами. А потом на траве уляжешься под солнышком и лежишь, отдыхаешь. У нас солнышко те-оплое, не то, что у вас в Москве.

— Эх, какая ты женщина вальяжная,— проговорил с улыбкой, пробираясь среди лежащих тел, помогший Надежде Георгиевне при посадке молодой матросик в тельняшке.— Тебя послушать, бабочка, так ты санаторную жизнь вела.

— А хоть и вела,— отмахнулась Настя.— Ты ушибошь на чужие разговоры не разевай. Лучше скажи, когда пороги будут?

— Когда будут — тогда будут,— просиял улыбкой матросик и подмигнул.— Жди, бабочка.

— Оглашенный,— усмехнулась вслед ему Настя, и тут же лицо ее опять стало серьезным.— Так все мы это через войну потеряли. Бывало в эвакуации вспомню — и сердце холодом обоймет.

— Вы где в эвакуацию были? — спросила Надежда Георгиевна.

— Где только не были! — Настя неопределенно махнула рукой.— Сперва аж в Сибири, под Омском, в деревне. Потом, значит, перевели нас на Урал, а уж потом в Куйбышев, на аиазавод.

— В каком году? Мы тоже на авиационном заводе в Куйбышеве работали.

— В сорок третьем.

— Нет,— Надежда Георгиевна отрицательно качнула головой.— Мы в декабре сорок второго в Москву вернулись. Тогда не отпускали, но нам помог один товарищ мужа.

— Вы прямо в Куйбышев с Москвы? — спросила Настя.

— Не-ет, не сразу.— Надежда Георгиевна тоже грустно улыбнулась воспоминаниям.— Сначала на Кавказ, в Пятигорск, там у нас родственники жили. А уж потом до Куйбышева кружным путем, когда немцы на Кавказ прорвались. В Махачкалу, оттуда — через Каспийское море в Красноводск, а уж затем через всю Среднюю Азию, через Ташкент аж до Куйбышева.

— Тяжелый путь,— с пониманием сказала Настя.

— Тяжелый,— согласилась Надежда Георгиевна.— С двумя детьми... Только кому же легко было.

— Это верно, всем тяжело было,— кивнула Настя.— Да, погоняла нас жизнь... — Она взяла руки Надежды Георгиевны в свои.— Боже ж наш, вы ж интеллигентная, а руки, гляжу я, у вас трудовые. Битые у вас руки, Егоровна.— И она погладила ее

руки своими руками, заскорузлыми, с плохо гнущимися пальцами, треснувшими, с малости привыкшими к тяжелой работе. И возникло между двумя женщинами что-то очень верное и теплое, что-то такое, от чего ком к горлу и слезы в глазах.

Люди на пароходике просыпались неохотно, медленно. Так просыпаются обычно, когда прожили трудный день, провели дурную ночь, а утро тоже не сулит ничего хорошего, и уж лучше бы еще лежать с закрытыми глазами и не видеть ничего, не начинать наново дневное бестолковое вращение. Изредка перебрасывались словами, медленно жевали нехитрую снедь и долгими взглядами провожали реку и берега. Могуч был Енисей под тусклыми, негреющими лучами солнца, высоки и круты были его берега, поросшие темным лесом. И как бы радовалось сердце навстречу этому дикому простору, если б не холод, не голод, не медлительный плеск допотопных колес, не бесконечные заботы, беды, страдания, болезни — все то, что делало людей хмурыми и безучастными к величию природы.

— С детьми всегда забота, — говорила Настя, поднимая воротник полушубка и приваливаясь к брезенту. — С Вовкой тоже я намучилась, кто б знал. Связался он со шпаной на заводе, курил, спирт пил... Э-э, кабы не добрые люди, кабы не мастер Пантелей Петрович, так чтоб из его вышло — неизвестно. А теперь жив-здоров, военнотруженик, сто восемьдесят ростом и поперек себя шире.

— Нет, мой тихий был, худенький, — Надежда Георгиевна усмехнулась. — Он в сорок четвертом тайно от меня в военкомат направился, в добровольцы решил идти. А в военкомате ему сказали: ты, мальчик, сперва семилетку закончи... А уж ему почти семнадцать было.

— Ваш где теперь? — спросила Настя, глядя в небо.

— Он в Москве, на заводе пока, а потом в техникум хочет.

— Мой тоже. — Настя вздохнула. — Отслужу, говорит, мама, и в техникум пойду. Да чего говорить, их жизнь, молодые, пускай как хотят, так и живут... А муж-то что говорит?

Надежда Георгиевна промолчала.

— Он воевал у вас? — спросила еще Настя, все глядя в небо.

— Нет.

— А что ж, всю войну на Севере? Тоже дела... — Настя скривила губы. — Офицер?

— Нет, Настя, — тихо молвила Надежда Георгиевна и почувствовала, что бронхи наполняются предощущением приступа кашля. — Он не офицер. Мой муж был заключенным, в течение десяти лет. Теперь его расконвоировали, и мне разрешили свидание... — Она тяжело вздохнула.

Некоторое время было молчание, гудела машина, шлепали колеса.

— Проворовался? — раздался странный, далекий голос Насти.

— Ну нет! — Надежда Георгиевна сдержала кашель. — Он... он честный человек. Так вышло, что его судьба... Не всегда у всех было в это время ощущение... Ну-у, когда...

— А-а-а... — прервал ее сбивчивую речь голос Насти. Она не изменила положения, и лишь глаза ее впрямую смотрели на Надежду Георгиевну, смотрели неожиданно яростно, поедая двумя жалами черных точечных зрачков. — Политический? Враг народа?

— К сожалению, так многие считают... — заговорила Надежда Георгиевна, но осеклась. Уж слишком нестерпимым был взор Насти, режущий, ненавидящий (это она сразу почувствовала), хотя Настя так и сидела, не сдвинувшись. — Что... — проговорила Надежда Георгиевна. — Что, Настя?..

— Га-а-а... — как-то странно выговорила та, не отводя этого своего дикого взгляда. — Га-а-ады! Вы... Вы... Она чуть приподнялась на локте. — Мой мужик под пулями голову сложил, под немецкими пулями... — Она задыхнулась. — Га-а... гады!..

— Нет, Настя, — спокойным, убедительным голосом постаралась сказать Надежда Георгиевна, ибо ей зна-

комы были эти взрывы подозрения, недоверия со стороны самых разных людей, когда они узнавали, что ее муж репрессирован как политический. — Он всю войну просился на фронт, но его не брали. Их почему-то...

— А-а-а!.. — пропела опять Настя понимающим, тонким голоском. — Не брали?.. Гадов, сволочей, фашистское дерьмо не брали? Чтоб они к немцам драпанули? Не брали?! — Она еще чуть привстала с расширившимися, словно невидящими глазами. — Не брали? До... — она всхлинула. — До десятого колена вас, фашистов, гадов убивать надо! Родину, Россию продать хотели, Гитлеру сапоги лизать! Звери!!! Из-за таких, как твой гад, как ты, моего мужа убили, наших мужиков всех, всех поубивали... Шпионы!! — последнее она выдохнула со змеиным шипением.

— Настя! Как вы можете! — лишь воскликнула Надежда Георгиевна.

— Молчать! — хриплым шепотом выговорила Настя, и даже под толстым полушубком было видно, как напряглось все ее тело. Кулаки сжались, глаза так расширились, что даже закосили. — Мужик мой гниет в земле, сынок мой, жизнью рискуя, хранит врагов родины, а вы, вы... Я тебе всю себя... Мясую ела мою рабочую, смертью добытую...

— Мы тоже работали, Настя, — сползая губами вниз, с отчаянием сказала Надежда Георгиевна, все еще сдерживая рвущийся кашель. — Мы не враги... Мы не враги... — Кашель рвался, бился в бронхах, подступал к горлу.

— Я руки твои смотрела, — как бы с удивлением проговорила Настя, растопыривая свои пальцы. — А в те поганые руки Гитлер пятки бросал за нашу кровь... Враги! Фашисты!!! — И тут она разразилась таким мощным потоком ругательства, что опять проходивший мимо матросик в тельняшке замер, надул смешно щеки и с уважением прислушался.

— Ну, бабочка, — сказал он, — ты даешь... — И, покачивая головой, отошел.

Лишь немногие головы, приподнявшись от палубы, глянули на женщин, но уж привыкшие и к ругани, и к странным сценам этой жизни, опять срослись с плоскостью парохода.

Настя замолчала, сплюнула со вкусом и отвернулась. Только плечи ее вздрагивали — она плакала беззвучно, надрывно. Надежда Георгиевна тоже молчала, но глаза ее были сухи. Больше говорить им было не о чем, все внезапно разорвалось, все было сказано. И тут кашель добрался до верха, резанул, ударил в горло, в небо, закачал тело и долго бил и душил ее хрупкую, исхудавшую фигуру. Платок весь покраснел от кровавой слюны. А когда кончился приступ, пришло полное опустошение. Тихо стало и как-то ненужно. Она подняла глаза, повела ими по скорченной спине Насти и вновь встретилась с глазами старика. Бесстрастно было его лицо, глубоки глаза, и лишь губы со струпом чуть-чуть дрожали, и оттого страшно ей стало.

«Я еду, — билось в голове Надежды Георгиевны. — Еще раз... Опять то же самое... Еще раз... Господи, да есть ли этому конец?.. Есть ли вообще конец всему этому, этой реке, этому пароходу, этой беде людской?.. За что ж такое?!»

И пока пароходик шлепал колесами по черной воде великой реки, меж дальних, отвесных берегов, до самых порогов, лицо ее не изменило выражения тоски и давнего больного вопроса. Несколько раз всплывали в туман, такой плотный, что он скрывал живущие рядом с ней тела Насти и старика, и тогда, в этом тумане, раздавался хриплый пароходный гудок.

Эдуард
РУСАКОВ



ПУЛЯ, ЛЕТИ

Рассказ

На золотом крыльце сидели: царь, царевич, король, королевич, сапожник, портной. Кто ты будешь такой? Отвечай поскорей! Не задерживай добрых людей...

Дмитрий Степаныч вздрогнул, проснулся, открыл глаза. Перед ним стояла секретарша. Он вопросительно поднял густые седые брови: в чем дело?

— К вам со студии пришли, с телевидения.

— Я занят.

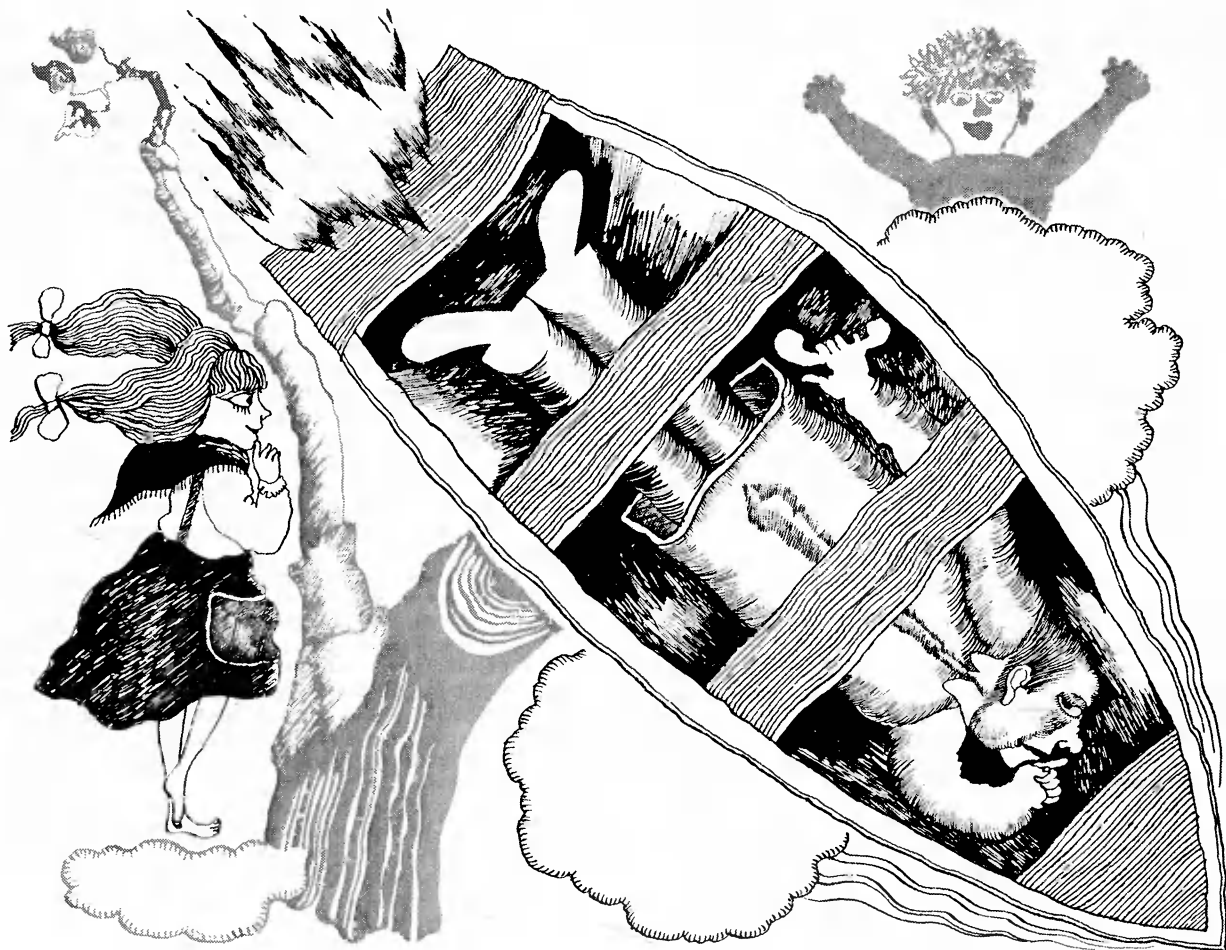
— Но вы с ними договаривались...

— Когда? Не помню.

— У меня записано, Дмитрий Степаныч.

— У нее записано... А вот у меня — не записано. Хоть убей, не помню.

Рисунок В. Коваля



Дмитрий Степаныч был не так уж стар — недавно ему исполнилось всего-навсего семьдесят. Для администратора это возраст расцвета — не так ли? Да и выглядит ректор медицинского института вполне респектабельно: внушительная осанка, строгий орлиный взор из-под густых бровей. Ослепительная жемчужная улыбка. А вот с памятью что-то в последнее время происходит неладное... Тревожные какие-то провалы. Как сейчас, например: начисто ведь забыл про назначенную встречу с телевизионщиками. Ой, беда.

— Сколько их?

— Двое, — мяукнула секретарша. — Репортер и оператор. Говорят: на полчаса, не больше. Короткий репортаж, для программы новостей.

— Какие у нас новости? — буркнул он. — Ну да ладно, пусть заходят. Куда от них денешься?

Вот жизнь пошла... Со всех сторон теребят — и сверху, и снизу, и радио, и газеты, и телевидение. Окружили. Обложили. Отдышаться не дают. И словечко придумали: гласность. Раньше другое требовалось: со-гласность, а тут... Перед каждым щенком отчитывайся. Отчего да почему. Да если б я сам знал эти ответы, если б я сам понимал... Приходится делать умный вид.

— Человеческий фактор — это главное на сегодняшний день, — неторопливым, размеренным голосом начал вещать Дмитрий Степаныч. — А у нас, как известно, главное — это студенты, наша смена, наше будущее...

— Извините, пожалуйста, — перебил его картавый репортер в клетчатом джемпере, — у меня вот такой вопрос: как проявляется процесс перестройки в вашем институте?

— Трудно однозначно ответить на этот вопрос, — глубокомысленно вздохнув, произнес Дмитрий Степаныч. — Процесс перестройки — это прежде всего внутренний процесс, затрагивающий каждого отдельно взятого человека, потому что, как я уже сказал, человеческий фактор — важнейшее...

— Если можно, конкретней, пожалуйста, — мягко перебил репортер. — На примере.

— Что ж, это можно. На всех уровнях педагогической и научно-исследовательской структуры нашего медицинского института проявляются с каждым днем все ярче и значительнее весомые приметы интенсификации наиболее прогрессивных методов...

— Поконкретней, если можно, — взмолился репортер. — Телезрители не поймут. Весь сюжет — минуты полторы, не больше. Приведите пример перестройки.

Ишь, чего захотел. Пример перестройки ему подай... Да я сам — всю жизнь только тем и занимаюсь, что перестраиваюсь. Устал уже перестраиваться. Нет, серьезно. Разве легко мне было, к примеру, тогда, в сорок восьмом, на знаменитой васхниловской сессии? Мне, зеленому аспиранту-биологу, легко ли мне было слушать, как академик-невежа сиплым голосом удавленника казнит моего мудрого шефа, моего любимого учителя? И разве легко мне было на следующий день опустить глаза при встрече с учителем в институтском коридоре и как бы не заметить его?

Нет, нет, не помню. Ничего не помню.

— Сколько угодно примеров, — произнес ректор с нескрываемым раздражением. — Зайдите на любую кафедру — и увидите живые приметы нового, которые явственно свидетельствуют о радикальных переменах, происходящих...

Репортер вздохнул. Терпеливо слушал, кивал курчавой головой.

А Дмитрий Степаныч монотонно бубнил и бубнил — и сам, как бы со стороны, слышал свой глуховатый голос, похожий на голос чревоуцателя. Авто-

матически продолжая свой монолог, он скользнул строгим взглядом по застекленному книжному шкафу — и вспомнил вдруг, что ведь там, во втором ряду, надежно укрытое высокими томами Большой медицинской энциклопедии, прячется тринадцатитомное собрание сочинений некогда грозного вождя. Вся чертова дюжина! Когда-то, давным-давно, эти книги в темно-бордовых переплетах красовались на самом видном месте, в его домашней библиотеке, но после пришлось их убрать, спрятать в чулан, на даче. Вскоре времена изменились — и одиозное собрание сочинений дружной стаей перелетело из сырого чулана в ректорский кабинет. Правда, во второй ряд. Во второй эшелон. В резерв. И вот — опять перемены. Опять, что ли, прятать в чулан? Или — погодить? Или — что?..

Эти смутно-тревожные мысли промелькнули в переутомленном сознании Дмитрия Степаныча. Но патетический монолог его при этом не прерывался ни на секунду.

— Простите! — перебил измученный репортер. — А как вы можете оценить недавнее чрезвычайное происшествие в вашем институте?

— О чем вы? — нахмурился Дмитрий Степаныч.

— Я имею в виду пожар в студенческом общежитии...

— Пожар? — искренне удивился ректор. — Впервые слышу. Когда это было?

Репортер и оператор переглянулись.

— Ну как же... — смутился репортер, начиная кое о чем догадываться. — Еще и месяца не прошло. Пожар в новом студенческом общежитии. Были жертвы.

— Странно, — насупил густые брови ректор, — очень странно. Мне почему-то не доложили. Разберусь. Обязательно разберусь. Приму строжайшие меры. Та-ак... И какие еще у вас будут вопросы?

Репортер задал еще несколько вопросов, мысленно проклиная ректора-склеротика, засидевшегося в своем кресле.

Да, он почти правильно угадал: Дмитрий Степаныч за был про недавний пожар в студенческом общежитии. Правда, причина забывчивости не в одном лишь склерозе... Забыл начисто! Невероятно, но факт. Как говоритесь, вытеснил из памяти эту не очень приятную информацию. А ведь какой был скандал! На весь город, на весь край. Удивительно, как он смог еще после этого удержаться в ректорском кресле?.. А может, финал близок? Дмитрий Степаныч боялся даже думать об этом. От подобных мыслей ему хотелось убежать, скрыться, спрятаться. Или — хотя бы — забыть... Окружающие с некоторой пор обратили внимание, что стал их уважаемый ректор слишком уж рассеянным, отвлекаемым, многие события в его памяти путались, менялись местами, совсем выпадали... Сам он этого вроде не замечал. Не хотел замечать. Подчиненные — боялись ему даже и намекнуть. Как можно?! А те, кто повыше, давно и всерьез поговаривали: мол, пора старику на заслуженный отдых, пора и честь знать. Но — тянули резину. Может, боялись обидеть. Может, замену подыскивали. А может, просто: лень было заниматься хлопотным делом. Как это в детской сказке: «Нелегкая работа — из болота тащить бегемота...»

— К современному врачу предъявляются высочайшие требования, — продолжал вещать Дмитрий Степаныч, — и требования эти касаются не только профессиональной компетенции, уровня, так сказать, врачебной квалификации, но и — что не менее важно! — уровня моральной компетенции советского медика, его этической, а если уж быть совсем точным, деонтологической квалификации, без которой в наше время не может быть и речи о том, чтобы соответствовать духу переживаемой страной перестройки...

— Митяй! Митяха! Не подсматривай! Отвернись!
— Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать! Кто не спрятался, я не виноват! Ага, Танька, вижу — за деревом! Тук-тука! Толян, вылезай из бочки — тук-тука! А где Серый?

— Ищи, Митяха.
— Пуля, сиди!
— Опять, небось, в сарай стырился...

Митя на цыпочках заходит в темный сарай. Скрипит дверь. Пахнет слежавшимся сеном. Тишина. Приглядевшись к сумраку, Митя всматривается во все углы. Прохладно. На стенах висят хомуты, вожжи, грабли.

— Ну, Серый..., от меня не уйдешь.
— Ты чего здесь делаешь? — оглушает его громкий голос отца.

Дмитрий Степаныч вздрагивает, оборачивается. На пороге, загордив синее солнечное небо, стоит отец — высокий, широкоплечий.

— Мы в прятки играем, — отвечает Дмитрий Степаных.

— А ну, марш домой! — приказывает отец. — Обедать пора, мать тебя по всему двору ищет. Чтoб одна нога здесь, другая там... Живо!

— Бегу, — кричит Митя.

И вскакивает из-за письменного стола.

— Что с вами?! — испуганно шарахается от него высокая черноволосая дама, только что вошедшая в кабинет. — Вам плохо?

— Что?.. Нет... Вы кто такая? — приходит в себя Дмитрий Степаных и хмурит густые брови. — По какому делу?

Ах, какой неприступный. Орлиный взор. Гордый орел с заячьим сердцем.

— Неужто вы меня не узнаете?.. — снова изумляется брюнетка.

Невероятно, но факт: он не узнал свою бывшую пассию. Беспардонную ассистентку с кафедры гистологии. Свою некогда ненаглядную.

— Ближе к делу, — обрывает ректор. — Излагайте суть. Четко, кратко, по-деловому. В духе требований, предъявляемых перестройкой, в духе тех высочайших задач, которые ставит перед нами...

Боже, что я плету?!

— Да я в двух словах, — перебивает дама. — Вокруг меня, дорогой Дмитрий Степаных, сжимается кольцо интрижной блокады...

— Выразитесь яснее!

— Я насчет предстоящей аттестации. Ах, милый Дмитрий Степаных... вы мне позволите вас так называть?

— Я впервые вас вижу, сударыня. Впрочем, продолжайте. Но помните: время — деньги. Итак, слушаю вас.

— То есть как? — приоткрыла рот, полный золотых зубов, прекрасная дама. — Вы и впрямь меня не узнали?.. — И она оглянулась, словно ища свидетелей. — Странно... Более чем странно... Ведь у нас между прочим, имеются общие воспоминания... Или — вы боитесь, что нас могут подслушать? — Дама лукаво улыбнулась ему, подмигнула: — Ах ты, старый конспиратор!.. — Она наклонилась к нему и вдруг негромко запела страстным хриловатым баритоном: — По-о-омнишь ли ты, как счастье нам улыбалось?..

— Что такое? — вскочил, багровея, ректор. — Что вы себе позволяете?! Вон отсюда! Вон! Вон!

Ребятня ватага сидит на липких сосновых досках, нагретых летним полуденным солнцем. Пахнет душистой смолой.

— Может, махнем на речку? — предлагает Серый.

— Не-е, — тянет Танька. — Давайте в прятки.

— Сколько можно? — ворчит Митяха, но все вскакивают, а Танька уже начинает считалку:

— Катилось яблочко вокруг огорода, кто его поднял, тот воевода... Шишел, мышел, взял да вышел! Серый — тебе голить!

— Слабину надэбали, — обижается Серый. — Все я да я. Надоело.

— Голи! Голи! — кричат ребята.

Серый отворачивается, закрывает лицо грязными ладошками. Слышит босоногий топот разбегающихся ребят.

— Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать! — кричит он. — Кто не спрятался, я не виноват!

Убирает руки от лица, оглядывается — видит за досками рыжие вихры.

— Колька! Тук-тука!

А вон и Танька — за углом колхозного клуба.

— Танька, вылезай! Тук-тука!

А кто это там, в кустах сидит?

— Ага! Толян! Вылезай, Толян! Тук-тука!

А где же Митяха! Неужто в крапиву стырился? Или — на берег убежал, под обрыв засел?

— Пуля, сиди! — кричат ребята. — Атас, Митяха! Пуля, сиди!

Серый выходит на крутой глинистый берег, смотрит с откоса — никого. Старое белое бревно, перевернутая лодка. Обмелевшая река неторопливо несет свои мутные воды. На противоположном берегу видны заросли тальника, ивы, а еще дальше, до горизонта, тянутся колхозные поля. Жаркий воздух звенит от зноя.

Где же Митяха?

— Пуля, лети! — надрываются пацаны. — Пуля, лети!

Но Митяха боится выскакивать из своего убежища. Серый приближается к перевернутой лодке.

— Пуля, лети!

А откуда-то с неба вдруг слышится грозный голос секретарши:

— Дмитрий Степаных! Вас вызывает Москва! Министр на проводе!

Секретарша заглядывает в кабинет — никого.

— Что такое? — удивляется она. — Дмитрий Степаных, вы где?

Не мог же он в окно выскочить?.. Испарился, что ли?

— Дмитрий Степаных! — кричит она.

— Чего орешь? — отзывается из-под стола мальчишеский сердитый голос.

Секретарша наклоняется, заглядывает под стол — и видит белобрысого босоногого мальчишку. Он сидит, скорчившись, грозно хмурясь и прижимая к губам грязный палец: мол, тихо, дура, не ори.

— Ой, мальчик... а ты что тут делаешь? — еле слышно произносит секретарша.



«ПЛАКАЛ О РОССИИ...»

Иван Бунин, 1930 г.

Октябрь, но в Париже июльская теплынь. И толпы народа на проспектах и бульварах одеты легко и пестро, по-летнему. Пронесется автомобиль с опущенными стеклами, распахнуты двери магазинов; прямо на улице, на лотках — овощи, фрукты, рыба. Но все это — шум, оживленная толпа, магазины, автомобили — хоть и не подалеку, за углом, здесь не ощущается.

Я стою в начале коротенькой улочки, которую благодарные французы назвали именем Жака Оффенбаха. Его оперетки веселы и легкомысленны в чисто французском стиле, хотя и в России их обожали: «Прекрасная Елена» в свое время до головокружения взволновала юного Тему—Гарина-Михайловского, а Немирович прославил ту же «Елену», поставив ее в московском музыкально-драматическом театре со «вторым планом» и «сверхзадачей», по-мхатовски. И все же: оперетта — вещь развлекательная, для отдыха, даже для недуманья. Не «Илиада» ведь, не «Война и мир», не «Жизнь Арсеньева». Автор «Жизни Арсеньева» — Иван Алексеевич Бунин и провел тут долгие годы, тут и скончался. Беспокойный сниталец, никогда собственного угла не имевший, он и здесь жил внаем.

Дом угловой, шестизэтажный, вполне респектабельный — «буржуазный». Сейчас из-за тепла и солнца многие остекленные двери за затейливыми решетками (балконов нет) растворены, кое-где опущены жалюзи. Правая, «бунинская» половина дома, вычищенная только что пескоструйным аппаратом, приобрела нарядный вид — светло-желтые и палевые тона. Очевидно, таким он был в конце прошлого века. А вот левая — серая, мрачноватая, выглядит, видимо, именно так, как во времена Бунина, не столь уж отдаленные. И подъезд такой же, и чистенькая прихожая с окошечком консьержки справа. Заменена дверца лифта — на современную, герметическую, но внутри и решетка, которую по старомодному задерживаешь перед нажатием кнопки, и темно-вишневая деревянная обшивка кабины — те же, «бунинские».

Скорее всего и бледно-красный коврик дорожки, бегущей по крутым ступенькам винтовой лестницы — тоже той поры, истертый, но чистенький. Ступеньки очень высокие. Подумал о том, что старому человеку, если встанет лифт, подыматься тяжело. И еще вот о чем. Одно время напротив квартиры Бунина поселились Куприны, приглашенные Иваном Алексеевичем в Париж. И лестница эта, надо полагать, в иные времена становилась для Александра Ивановича сущим бедствием, если он бывал, что случалось нередко, во хмелю...

Из лифта налево дверь на четвертом этаже. За дверью гремит что-то джазовое.

Да в дверь и не позвонишь: хозяева, французы, вряд ли поймут, почему у иностранца, стоящего перед этой дверью, так сильно стучит сердце.

Я сажусь на ступеньку и гляжу вниз. Мой спутник, знаток русского искусства, коллекционер, славист, профессор Сорбонны Ренэ Герра следует моему примеру. Молчим.

Между тем консьержка-португалка приметила, что проникли мы в дом лишь тогда, когда п дбежавший пухлый лицейст набрал неизвестный нам код. Она снизу слушает: дверь не хлопнула. Это ее пугает. Сейчас в Париже все помешаны на террористах: город патрулирует жандармерия с автоматическими винтовками, потони машин перекрываются полицейскими сиренами. Кого-то лихорадочно ищут, и вот консьержка тоже включается в общую игру.

Мы с Герра медленно спускаемся по лестнице, еще стоим в маленьком холле. Затем он принимается фотографировать дом, окна Буниных, меня перед подъездом. Это уже кажется консьержке верхом подозрительности. На плохом французском языке она начинает браниться и грозить полицией. Профессор Сорбонны успокаивает ее — тоже по-народному, но теми крепкими словечками, какие любил и в русском, и во французском языках Бунин. Народные аргументы оказываются убедительными, и консьержка удаляется.

Я снова смотрю на дом. А где же памятная доска? Где написано, что здесь жил, работал и скончался великий русский писатель? Только что Герра показывал мне здание, в котором жил Мережковский, — там мемориал есть. И у Николая Николаевича Евреинова, театрального деятеля и драматурга, тоже. А вот Бунин не сподобился.

Герра объясняет, что Мережковского французы много переводили, что у Евреинова была очень «пробивная» вдова. Но это объяснение, конечно, не может удовлетворить. Да, верно, дом частный. Хозяин, чего доброго, и не разрешит «портить» фасад. Но все-таки: отчего наше посольство не обратилось в мэрию? Не настояло на открытии памятной доски?

Нехорошо мы еще чтим наших великих земляков, их память...

А на другой день (такой же яркий и солнечный) мы с Герра на русском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. Удивительное кладбище! И не оттого только, что солнце затопляет все светом, что куски его словно шевелятся над каждой могилой, оно не навеивает полагающейся грусти, мысли о тленности всего земного, о собственном неизбежном уходе туда. Кажется, строгий, поддерживаемый в величайшем порядке некрополь этот излучает

тепло души тех, кто лежит под надгробиями и крестами. Сколько имен славных, знакомых! Крест деревянный, с маленькой иконкой Божьей Матери. Здесь лежат Борис Константинович и Вера Алексеевна Зайцевы. У них, кстати, в далеком 1906 году, на московской нвартире, и встретил Бунин «девушку с леонардовскими глазами», «свою» Веру. Дальше — Александр Алексеевич и Мария Яновлевна Сионские. Поэт Иван Иванович Новгород-Северский и жена его, собирательница русского фольклора Юлия Алексеевна Кутырина, племянница Шмелева (и сам Иван Сергеевич Шмелев, хотя умер он в обители Покрова Божьей Матери, в Бюсиан-От, в 140 километрах от Парижа). Все это мои друзья, с которыми я переписывался много лет и которых похоронил однажды за другим заочно, оставаясь в Москве. Иной раз вынимал из почтового ящика конверт в траурной рамке, а порой просто не получал ответа на письмо. Теперь привелось со всеми ими свидеться.

А вот и могила Буниных. Крест белого камня, небольшой цветничок. Все открыто солнцу, свету, воздуху. Как неистово любил это солнце, этот свет Бунин, как сопротивлялся неизбежному концу! На краю могилы, с помощью необыкновенной своей памяти, продолжал свой поединок со смертью. Вспомнилась последняя странная его запись в дневнике, сделанная уже изменившимся почерком, в ночь с 27 на 28 января 1953 года: «Замечательно! Все о прошлом, о прошлом думаешь и чаще всего об одном и том же в прошлом: об утерянном, пропущенном, счастливом, неоцененном, о неправых поступках своих, глупых и даже безумных, об оскорблениях, испытанных по причине своих слабостей, своей бесхарактерности, неадекватности и неотмщенности за эти оскорбления, о том, что слишком многое, многое прощал, не был злопамятен, да и до сих пор таков. А ведь вот-вот все, все поглотит могила!»

«Все поглотит?» Но ведь тот же Бунин неустанно, можно сказать, маниакально повторял совсем иное, обратное. Например, в черновых набросках к роману «Жизнь Арсеньева»: «Жизнь, может быть, дается нам единственно для созидания со смертью, человек даже из-за гроба борется с ней: она отнимает у него имя — он пишет его на кресте, на камне, она хочет тьмой покрыть пережитое им, а он пытается одушевить его в слове». Или, еще яснее, в стихотворении, которое так и называется — «Слово»: «Молчат гробницы, мумии и кости, — лишь слову жизнь дана: из древней тьмы, на мировом погосте, звучат лишь Письмена. И нет у нас иного достоянья!»

Бунинское «достоянье», его Слово классика (в том числе и то, что было написано в последние тридцать лет его жизни, в эмиграции) мы глубоко чтим. К тому главному, что получил самый широкий читатель в 50-е и 60-е годы, сегодня добавляется ранее у нас не публиковавшееся по политическим мотивам. И здесь пора оговориться.

Нужно сказать честно и прямо: «Октябрьскую революцию (как и Февральскую) Бунин не принял, не признал он перемены, происшедших в новой, Советской России, и не примирился с ними. Наряду с мыслью о Родине, неотступной любовью к ней (в дневниках то и дело читаешь: «Плакатель о России»: «Все думаю: если бы дожить, попасть в Россию») он — в различные годы эмиграции с разной степенью настойчивости, но вполне определенно, недвусмысленно — отрицательно относился и отзывался о новом строе, о советском образе жизни.

Одно из свидетельств — бунинский дневник «Окаянные дни», воспрещающий события 1918—1919 годов в Москве и Одессе, который восстанавливался и печатался уже во Франции, в двадцатые годы. Направленность этого дневника крайне резкая, тенденциозность настолько очевидна, что отмечалось даже там, на том берегу и причем самими близкими ему людьми. Так, писательница и последняя любовь Бунина Галина Кузнецова 21 октября 1928 года записала: «В сумерки Иван/Алексеевич/ вошел ко мне и дал свои «Окаянные дни». Как тяжел этот дневник! Как ни будь он прав — тяжело это накопление гнева, ярости, бешенства временами. Кротко сказала что-то по этому поводу — рассердился!»

Да, сам Бунин «инакомыслия» не терпел. Нужно к тому же учесть страстность, «воспламеняемость» его натуры. В откровенности, особенно при домашних, он был не в меру вспыльчив, ядовито-резок, за что в семье его называли «Судорожным». Но это и порождало порою преувеличенные крайности. Если уж принимался что-нибудь бранить, отрицать, то останавливаться едва ли мог. Та же Кузнецова записала 8 июля 1927 года уже о спорах литературных: «Вечером читала Ивану/Алексеевичу/ у него в кабинете стихи Блока и слушала, как Иван/Алексеевич/ громил символистов. Конечно, многое надо отнестись на счет обычной страстности Ивана/Алексеевича/. Он кричал, например, вчера о Блоке: «лакей с лютней, выйди вон!», чем заставил меня искренне расхохотаться, после чего стал смеяться и сам». Впрочем, страстность страстностью, но из песни слова не выкинешь: Бунин и раньше не любил Блока, но после «Двенадцати» отвергал его уже политически, идейно.

Быть может, где-то в глубине души Бунин, великий русский писатель, эту свою тенденциозность все-таки чувствовал и ее опасался. Характерно, что ничего подобного «Окаянным дням» в его художественной прозе мы не найдем. Не потому ли и в эмиграции талант его продолжал расти и развиваться? Не потому ли и далеко от Родины он создал такие шедевры, как «Солнечный удар», «Митина любовь», «Косцы», роман «Жизнь Арсеньева», философский трактат «Освобождение Толстого», книгу рассказов о любви «Темные аллеи»? У нас немало писалось о будто бы происшедшем «упадке бунинского таланта» за границей, о несопоста-

вимости его дореволюционного творчества с позднейшим, эмигрантским как более слабым. Но еще двадцать лет назад честный исследователь Бунина, советский писатель и критик Н. П. Смирнов дал ему характеристику, под каждым словом которой я готов подписаться сегодня.

«Бунин в эмиграции, — и это большая его заслуга, — писал Н. П. Смирнов, — был глубоко честен перед самим собой как перед художником: писал только о том, что хорошо знал и органически любил. Очень характерно, между прочим, что, редактируя в конце жизни свои зарубежные книги, он вычеркнул почти все публицистические и политические отступления, имевшие тот или иной злободневный характер.

Эмиграция, разрыв с родной совершенно не обязательно влечет за собой потерю таланта: все зависит от обстоятельств, от обстоятельности, от тех или иных личностно-человеческих качеств, от внутреннего творческого богатства. Бунин, творчески богатейший человек, человек, безмерно любивший жизнь, и, в силу этой любви, постоянно обращавшийся к думам о смерти, — пожалуй, в известном смысле даже обогатил свой талант, придав ему небывалую лирическую силу».

Однако, оставаясь предельно честным как художник, Бунин не мог, конечно, вовсе не отозваться на события, в результате которых он оказался на «чужих берегах». Революция и гражданская война, «хождение по мукам», через которое прошла русская эмиграция, — все это бросает трагический отсвет не только на произведения, прямо или косвенно соотносимые с этими событиями, — рассказы «Конец», «Холодная осень», «Несрочная весна», «В Париже», с великолепным, по-бунински щедро выписанным пейзажем. Когда бы и где бы ни происходило действие большинства поздних произведений, опосредственно, через судьбы героев, в них ощущается горькое чувство Бунина-эмигранта. Отсюда обилие «роковых» концовок, самоубийств, смертей или другие расчеты с пошлостью жизни, например, уход героини «Чистого понедельника» в монастырь, на «великий постриг»; иными, счастливыми, очевидно, эти концовки и не могли бы быть. Даже в книге 1946 года «Темные аллеи», где все — «только о любви» (из нее мы предлагаем читателю не публиковавшийся ранее в широкой печати рассказ «Железная шерсть»), грозным, грозным фоном живет и в конечном счете определяет все происходящее эпоха, время. Современность настигла Бунина даже тогда, когда он обращался к истории Древнего Рима, показывая смерть тирана Тиберия, задуманного своими приближенными, не говоря уже о Французской революции 1789 года, которой он посвятил цикл рассказов — «Богиня Разума», «Камилл Демуллен», «Андре Шенье» (только первый из них был опубликован в нашей печати). Можно, пожалуй, назвать лишь единственное произведение — серию маленьких рассказов-очерков «Странствия», где Бунин попытался описать советскую действительность начала двадцатых годов (отдельные очерки у нас были напечатаны).

В благотворную пору гласности и демократизации нашего общества настал черед и для многих «трудных» произведений Бунина. Достаточно сказать, что фрагменты из дневника «Окаянные дни» будут опубликованы в новом, наиболее полном собрании сочинений Бунина в шести томах, которое выходит сейчас в издательстве «Художественная литература». Все, что несет у Бунина художественную наполненность, в чем выражается его громадный талант, бессмертное русское Слово, дорого и важно для нас. И мы отделяем взгляды и позицию Бунина от его творений. Прах его покоится во французской земле, в пятидесяти километрах от Парижа, на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа, но второй, уже вечной жизнью Бунин живет у себя на родине.

...С профессором Герра мы пробыли в Сен-Женевьев-де-Буа весь день. Ходили меж плит и холмиков, читали надписи: Меренковский, Гиппиус, Тэффи, Константин Коровин, Константин Сомов, «Светлейшая Княгиня Мария Феликсовна Романовская-Красинская, урожденная Заслуженная артистка императорских театров Матильда Кшесинская. 1 сентября 1872 — 6 декабря 1971», Мстислав Добужинский, Зинаида Серебрякова, Иван Мозжухин, героиня Сопротивления Виктория Оболенская, приемный сын Горького Зиновий Пешков. Мы тихо говорили. Целый пласт нации, смытый «рекой времени!».

А когда опустились сумерки и потух золоченый купол маленькой одноглавой Свято-Успенской церкви (построенной по планам Альберта Бенуа — из славной художественной династии русской), на могилах десятками разноцветных огоньков затеплились электрические лампы.

Я подобрал рядом с могилой Буниных и привез в Москву комочек земли — желтой, глинистой, горькой земли чужбины.

Олег МИХАЙЛОВ



Иван БУНИН

СТРАНСТВИЯ

Из записей неизвестного

Этого старичка я узнал прошлой зимой <...> Эта зима была, кажется, особенно страшна. Тиф, холод, голод... Дикая, глухая Москва тонула в таких снегах, что никто не выходил из дому без самой крайней нужды.

Я искал его по одному делу. Узнал наконец, что он обитает в том же доме, где было прежде некоторое государственное учреждение, при котором состоял он. Теперь этот громадный дом пуст и мертв. Я вошел в широкие раскрытые ворота и остановился, не зная, куда идти дальше. Но, по счастью, за мной вошел какой-то мальчишка, который что-то нес с собой. Оказалось, что мальчишка идет как раз к старичку, несет ему пшенной каши: старичок питался только тем, что присылал ему иногда, по старой дружбе, отец мальчишки. Пошли вместе, вошли в подвальный этаж дома, долго шли по какому-то подземелью, постучали в маленькую дверку. Она отворилась в низок под каменным сводом. В низке было очень жарко: посреди стояла железная печка, докрасна раскаленная. Старичок поднялся мне навстречу на растоптанных, трясущихся ногах и сказал нечто странное теперь для слуха: «Имею честь кланяться, Борис Петрович!» Выцветшие, слезящиеся глаза, серые бакенбарды; давно небритый подбородок зарос густо, молочно. Весь низок сплошь увешан яркими лубочными картинками — святые, истязуемые мученики, блаженные и юродивые, виды монастырей, скитов; целый угол занят большим киотом с блестящими золотыми образами, перед которыми разноцветно теплятся лампадки — зеленые, малиновые, голубые. Запах лампадного масла, кипариса, воска и жар от печки нестерпимые.

— Да-с, тепло! — сказал, грустно усмехаясь, старичок. — Не в пример всей Москве, на холод не пожалюсь. Всеми, слава Богу, забыт, даже почти никто и не подозревает, что я здесь уцелел. Не знает никто и про тот тайный запас дровец, что остался здесь в некотором подвальчике. Здесь, даст Бог, вскорости и окончу свое земное существование. Очень стал хил и печалюсь. Времена опять зашли темные, жестокие и, думаю, надолго. <...> Оправдывается слово Исаака Сирина: «Пес, лижущий пилу, пьет собственную кровь и из-за сладости крови своей не сознает вреда себе...» Впрочем, все это вам и без меня хорошо известно. Перейдемте к делу: весь к вашим услугам, но чем именно могу служить?

...Весной он умер. В одно из наших последних свиданий он говорил мне:

— Знаете ли вы это чудное сказание? Забежала шакалка в пещеру Иоанна Многострадального и разбила его светильник, стоящий у входа. Святой, сидя ночью на полу темной пещеры, горько плакал, закрывшись руками: как, мол, совершать теперь чин ночной молитвы, чтения? Когда же поднял лицо, утираясь рукавом, то увидел, что озаряет пещеру некий тонкий, неведомо откуда струящийся свет. И так с тех пор и светил он ему по ночам — до самой его кончины. А при кончине, воспринимая его душу, нежно сказал ему Ангел Господень: «Это свет твоей скорби светил тебе, Иоанн!»



Жизнь возобновляется, — ведь идет шестой год их царства, — даже начинает переходить в будни. Белый хлеб и чай входят в обычай. Опять, удивляя и радуя, открываются лавки и магазины, кое-где пошли трамваи, появились извозчики... И опять весна и даже некоторые весенние чувства, — например в какую-нибудь черную сырую ночь с этим особенным треском колес и цоканием копыт по мостовой, с влажным ветром в форточку, или в солнечный полдень, когда все течет, блещет, тает, а на углу Арбата, на тротуаре, возле бывшей «Праги», сидят и, напоминая о юге, дерут свои стихирь слепые лирники... Вместе с весной стало как-то необычнолюдно на главных улицах. Народ, впрочем, все больше новый. Людей прежнего времени, особенно старых, уже почти нет, их погибло за эти годы бесконечно много, а те, что как-то уцелели, странны: зачем они уцелели, зачем вылезли откуда-то на свет Божий, как заморенные звери из своих холодных нор, — бледные, обросшие ватной сединой, в зимних лохмотьях? Вижу иногда знаменитого народовольца: ужасная черная шляпа (ужаснее тех, что валялись прежде только на пустырях, на свалках), рубище солдатской шинели, грязные, мокрые опорки, связанные веревкой... Однако, очень бодр, всегда не идет, а бежит, так и сверкает очками и младенческой, блаженно-изумленной улыбкой.

Я скитаюсь по Москве, даже начинаю мечтать о поездках кое-куда. Иногда не бываю дома с утра до вечера, отдыхаю, ем и пью где придется, в какой-нибудь чайной. Сажу, курю махорку, смотрю на соседей, слушаю разговоры и музыку. Какой-нибудь до ушей лысый еврей, с бархатно-черными глазами, отставив вперед ногу, с бешеной страстью жжет и бьет смычком по скрипке, солдат в обмотках тупо ревет на гармонии, поставленной на приподнятое колено...

Есть вести из наших мест — из города и из деревни: и там уже будни. Недавно посетил нас «землячок», бывший красноармеец. Дружески сидел с нами, пил чай, вел беседу. Говорил, усмехаясь, что теперь и отдохнуть можно:

— Теперь мы Россию замирили, везде тихо. <...>

Он оброс густой и круглой красно-коричневой бородой. Круглые прозрачно-коричневые глаза стоят, как у филина. Стриженная голова имеет форму гроба.



Очень далеким стало все прошлое! Был я однажды в Хамовниках, в доме Толстых. Был вот такой же блестящий апрельский день, весеннее сияние голых деревьев, запах почек и сырой земли... И какая грусть! Дом пуст, давно не топится, в нем холод, сырость... Особенно грустно в тех двух низких комнатах с топорными креслами, обитыми черной кожей, очень потертой и в складках, где жил он сам. На стене висит его старая меховая шуба, на полу — разбитый кувшин и старое деревянное судно, у одной стены столик с сапожными инструментами. Все бедное, жалкое, следы жизни уже давней и забытой!

Вспоминаю еще Остафьево, где был перед этим. Там, в кабинете Карамзина, лежат под стеклом кое-какие вещи Пушкина: черный жилет, белая бальная перчатка, палка... Потом — восковая свеча с панихиды по нем... Смотрел — стеснялось дыхание. Как все хорошо, безжизненно и печально! Век еще более давний и потому кажущийся еще тоньше...



В июне некоторое время жил в Тверском уделе. Тихий и печальный край! Бедные песчаные поля, тощие перелески, редкие поселки, леса по горизонтальным. А не то низины, болота... Дни тоже какие-то бедные, невзрачные. По вечерам тусклое сияние луны...

Чем тут живут теперь, когда нет Москвы, московских заработков и все сидят дома, — не понятно. Земля скудная и малая, черноземному человеку смотреть жалко. Но вот как-то живут и даже на вид неплохо, во всяком случае лучше наших. Избы прочны, ладны, стоят вдоль улицы ровно. В избах деревянные полы, занавесочки на окнах, под окном паленцы с узорным холстом, на полке самовар... Одеты все довольно опрятно, девки и ребята даже франтят и по вечерам парами танцуют около изб под гармонь. Пожилые весьма схожи с нашими по языку, по склонности изрекать общие места, мудрые пошлости. И, конечно, так же равнодушны и к тому, что когда-то было, и к тому, что случилось, и к тому, что есть. Над тем, например, что теперь на полтора миллиона можно купить всего пять фунтов муки, лишь усмеваются: покачивают головами и уютно прячут руки в рукава.

Москва тут кажется за тысячу верст. Я о ней слышал, между прочим, такое суждение:

— Дивно, как еще эта Москва *вещствует!*



В последний раз побывал в Никольском.

Пришло неожиданное и удивительное письмо от никольских мужиков. Писал от их имени новый учитель:

«Граждане сельца Никольское вспоминают вас, относясь с симпатией, в ознаменование чего и предлагают вам поселиться на родном пепелище, сняв у них в арендное содержание бывшую вашу усадьбу и живя в добрососедских отношениях. Приезжайте для личных переговоров и хлопот, ничего не подозревая, ввиду того, что теперь вас никто пальцем не тронет, события миновали, и река вошла в свои берега...»

Едучи, думал: неужели и впрямь опять я еду туда, где встретил когда-то страшное начало этих «событий», откуда бежал в одну из самых зловещих октябрьских ночей семнадцатого года и где уже никогда не чаял быть снова! Не верилось, что опять увижу это «пепелище», пока не увидел собственными глазами давно забытые места и лица.

А затем было очень странно видеть все прежнее, свое, собственное, чьим-то чужим, — чьим именно, никто еще не знал толком во всей деревне, — странно взглянуть на все эти столь грубо одичавшие за пять лет «берега» и, в частности, на те изменения и разрушения, что произошли в усадьбе за время пятилетнего мужицкого владычества над ней... снова войти в тот дом, где родился, вырос, провел почти всю жизнь, и где теперь оказалось целых три новых семейства: бабы, мужики, дети, голые потемневшие стены, первобытная пустота комнат, на полу натоптанная грязь, корыта, кадушки, люльки, постели из соломы и рваных пегих попон... Стекла окон, из зимних рам, теперь никогда не вынимаемых, точно покрыты черными кружевами — так засидели их мухи.

На деревне встретили меня ласково, сами дивились на то, что произошло, с жалостью разглядывали мою бедную одежду и все говорили, что надо хлопотать, чтоб разрешили эту аренду «на вечность». Но ведь дом-то оказался занят, и в доме ко мне отнеслись, конечно, совсем по-другому, особенно бабы. Те тотчас заявили без всякого стеснения: «Какая такая аренда? Ну, нет, никакого мира мы и знать не хотим, из дому не выйдем!» И я тотчас же понял, что и впрямь как-то нагло и глупо влез я в этот дом, в эту чужую, уже крепко внедрившуюся в него жизнь.

Провел я в Никольском всего двое суток.

Уехал, зная, что уезжаю теперь уже навеки.

На днях встретил на Кузнецком никольского Степана: стоит перед пустой витриной магазина и пристально смотрит; на голове шапка, на плечах тулуп, на ногах валенки, хотя жара градусов тридцать. Обрадовался мне, как родному, стал упрекать: «На-

прасно вы погордились — жили бы себе на спокое, у нас теперь не хуже прежнего, все хорошо, тихо». И тут же рассказал, что вышло недавно по близости от Никольского «нехорошее дельце»: остановились возле деревни на большой дороге цыгане и свели с деревни ночью лошадей, а мужики в лоск положили за это весь табор; убили целых шестнадцать человек мужчин и женщин и одного маленького цыганенка; дрались весь день, с утра до вечера — цыгане защищались не на живот, а на смерть, особенно один, совершенный красавец, отец двух таких же красавцев сыновей, которые так рядом и легли с ним.



В прекрасный сентябрьский вечер шел в Данилов монастырь. Когда подходил, ударил большой колокол. Вот звук! Золотой, глухой, подземный... На могиле Гоголя таинственно и грустно светил огонек неугасимой лампы и лежали цветы. Возле стояли старичок и старушка, старомодные на редкость. Я спросил, кто это так хорошо содержит могилу. Старичок ответил: «Монахи. А вы думаете, что все погибло? Нет еще...» — затрясся и заплакал. Старушка взяла его под руку: «Пойдем, пойдем, ты совсем впал в детство» — и повела его, плачущего, по дорожкам к воротам.



Нынче с утра Москва стояла в ослепительном солнечном свете. Вышел на улицу — день совсем летний, как часто бывает в Москве в апреле. Легко и с удовольствием шел вниз по Воздвиженке, прямо на солнце, по сухому тротуару. День праздничный, на улице много молодого народа. <...> А впереди меня все время бежал мальчишка в женских разбитых башмаках, продавал свежий номер еженедельного журнальчика, во всю первую страницу которого изображен был Бог-Отец, сидящий на облаках и недовольно разглядывающий сквозь громадное пенсне афишку <...>. Я на целый день уехал из Москвы — целый день провел в деревне, в одной усадьбе.

Пока я сидел в вагоне, стали находить облака, стало скучней и прохладней. Потом, когда я шел к усадьбе со станции, стал еще очевидней этот обычный обман ранней весны. В эту пору всегда резкая разница между городом и деревней и всегда портится утренняя погода к полудню. Так было и тут. Солнце скрылось за облаками, подул ветерок... Но и в этом была веселая прелесть. Свежий запах земли, ветер сладко холодит щеки, дует в рукава... Потом я с радостью увидел апрельскую наготу старых деревьев усадьбы, ее еще серого и сухого парка, сквозившего своими сучьями на холодном облачном небе. В усадьбе не было, конечно, ни души — только сторож с семьей в своей сторожке. Я сидел на скамье в главной аллее, ведущей к дому. Солнце лишь порой проглядывало из-за облаков; все вокруг было тихо, мертво, пустынно — только тикали какие-то птички по парку; палевые стены и белые колонны пустого, безмолвного дома дивно и безжизненно светили в конце аллеи из-за голых ветвей и стволов... Наконец, подошел сторож с трубкой в зубах, повел меня к дому, отворил ключом главные двери и пошел за мной, стуча сапогами по навощенным полам, сперва по вестибюлю, где стыдливо и грациозно стояли нагие мраморные богини, потом по бесконечным ледяным залам, среди целой галереи портретов, тускло блестящих со стен своими черными лаками и затвердевшими, помертвевшими красками, косо провожавших нас с двух сторон млечно-голубыми белками глаз, меловыми париками, яичной округлостью женских грудей... Зашли в женскую спальню с кожаной мебелью, с овальным заржавленным зеркалом...

Смотрел и думал: как поверить, что все это следы жизни, подлинно бывшей когда-то, что люди этого дома и впрямь жили здесь! Спросил сторожа: «Скучно вам, небось, тут?» — «Скучно», — ответил он. — Говорили, новый строй, новый строй, а на деле все в прежнем положении. Один подлог, обман...» Потом он опять запер дом и ушел к себе, а я бродил вокруг дома, по парку. Заглянул в окно в полуподвальный этаж — увидел сквозь железную решетку какое-то подземелье, заваленное мраморными обломками — львиными головами, урнами и плоскодонными чашами, капителями колонн...

Ушел я из усадьбы только вечером, когда месяц уже стал класть в парке легкие апрельские тени под деревьями и серебрить поляны. Уходя, думал: ночью парк побелеет под месяцем, мертвый дом засветится насквозь, всеми своими пустыми, блестящими полянами...



Июль был мрачный — каждый день грозы, ливни: свинцовая чернота неба над жутко-белеющей Москвой, режущий блеск сургучных молний и ужасающих удары грома, от которых звенят стекла. Недавно был такой потоп, что мальчишки-папиросники на Кузнецком и Неглинном разделись и плавали. В тот день я уезжал из Москвы к одним знакомым на дачу: вода местами шла выше колесной ступки, от нее кружилась голова...

Знакомые — муж и жена (и, как это ни странно по нынешним временам, в нашем кругу, молодожены); пара вообще не совсем обычная: она женщина молодая (и очень серьезная), ему лет шестьдесят, хотя человек он очень живой, бодрый (небольшой, сухощавый, юношески легкий в движениях); оба занимаются русской историей, — он даже знаменит некоторыми историческими трудами. А дача — недостроенная бревенчатая изба в небольшом лесном поселке; всего сто верст от Москвы, но в леса, в болота, к северо-востоку, и потому край опять глухой, старинный: «черное место, дикой лес, мокрая болотина...»

Жили мы скучно, неуютно. Изба не в поселке, а как-то сама по себе, на отлете, на месте срубленного леса, среди пней, щепы и сучьев. Еще без фундамента — только на столбах по углам, так что все заходил под нее чей-то пегух и очень рано будил меня по утрам, орал под самой кроватью. И, проснувшись, видел я только сырой лес кругом, пни в густом молочном тумане перед окнами... Самовар, который я ставил среди этих пней, набив его сырым древесным углем, дымил ужасно, выедал глаза, не грелся по часу, по два. А вода тут пахнет ужами, хлеб липкий, зеленый...

Муж ходил в доверенных сереньких штанишках и в мужицкой рубашке, на ногах носил лыковые бахилки. Жена одевалась совсем по-крестьянски — тоже бахилки и суровая рубаша до пят, расшитая по рукавам и подолу красными елочками. И одевалась она так не только по необходимости: видела в этом опрощении свой долг и даже радость. Молчаливая, черноглазая, она все твердила о древней, мужицкой Руси, к которой нам уже давно надо было возвратиться, о том, что русские пути особые, неисповедимые, что Бог послал нам великую милость — пострадать и в страданиях, как в огне, очиститься... Сны она видела только вещие, думы думала все загадочные, многозначительные. Имела какого-то тайного наставника, духовного отца, старца святой жизни, собиравшая идти осенью к Серафиму Саровскому, который, по ее словам, предрек наши дни в точности: открылось будто бы некое рукописание, где собраны все его пророчества...

Когда я уезжал, хозяева провожали меня до станции. Мы шли несколько верст лесом. Над соснами, над просекой, по которой мы шли, скоплялись сизо-

белые облака, не обещавшие ничего доброго. И точно — как только мы подошли к станции, черный локомотив, уже стоявший за ней и яростно шипевший из-под себя белым паром, шумно осыпало крупным дождем с градом...

Наш «рюрикович» наконец отстрадался. Жизнь его была ужасна: голод, нищета и чехотка истинно сжигали его, — я ни у кого не видел таких пылающих глаз и такой худобы. А меж тем, никто из нас даже и сравниться не мог с ним в той легкости и даже веселости, с которой нес он все свои страдания и лишения. Это меня всегда поражало за эти годы: чем знатнее был человек в свое время, тем легче и проще вступал он во все испытания новой жизни. А покойный даже и среди таких людей выделялся. Точно ничего и не случилось! Все то же оживление, шутки, все те же «друзья мои» к каждому слову и детские мечты, планы: вот-вот жизнь станет лучше, свободней, и все мы из Москвы уедем, оснуем на Кавказе поселок — под солнцем, у моря, в виду гор, вечно сияющих снегами, в чинаровых рощах, в цветущих тропических дебрях...

— И уж тут с нами не сладишь! — смеясь, говорил он: — батраки, бедняки, коммунисты! И как еще жить-то будем! Вон сестра Маша пишет: «Я теперь хожу в лаптях, работаю у мужиков на поденщине...» И что же? Я уверен, что она счастлива.

Умер он в полдень. Я записал: «Полдень 12 декабря 1924 года». За час до его смерти выглянуло солнце, и он, лежа в своей каморке на продранном диване, сказал грустно и ласково:

— Вот и солнце, а я его уже не вижу...

На этом же диване и положили его — в остатках чистого белья, в черном сюртуке и серых брюках...



В жаркий майский день ходил в село Измайлово, вотчину царя Алексея Михайловича. Выйдя за город, не знал, какой дорогой идти. Встречный мужик сказал: «Это, должно быть, туда, где церковь с синим куполом». Шел долго, устал. Но весна, тепло, — было очень хорошо. Увидал, наконец, древний собор, с зелеными главами, которые мужик назвал синими, весенний сквозной лес, а в лесу стены, древнюю башню, ворота и храм Иосифа, нежно сиявший в небе среди голых деревьев позолотой, — в небе, которое было особенно прекрасно от кое-где стоявших в нем синих и лазурных облаков...

Теперь тут казармы имени Баумана. Идут какие-то перестройки, что-то ломают внутри теремов, из которых вырываются порой клубы известковой пыли. В храме тоже ломают. Окна пусты, рамы в них выдраны, пол завален и мусором, и этими рамами, и битым стеклом. Золотой иконостас кое-где зияет дырами — вынуты некоторые иконы. Когда я вошел, воробьи ливнем взвились с полу, с мусора, и с иконостаса в дырах, с выступов риз над ликами святых...

А как знаменита была когда-то эта вотчина. Вот кое-что из одной старой, редкой книги о ней:

«Рощи 115 десятин. Рощи, числом 5, заповедные. Роща цапельная, где жили цапли. Зверинец. Плодовые сады, числом 32, аптекарские огороды. Регулярный сад. Виноградный сад. Волчий двор. Житный двор в 20 житниц. Льяной двор для мятия льну. Скотный двор, в нем 903 быка, 128 коров, 190 телят и 82 тельца, 82 барана, 284 свиньи. Конюший двор, в нем 701 иноходец, кони, кобылы и мерины. Воловий двор. Виноградная мельница. Пивоварня, медоварня, солодовня, маслوبيня. Птичий двор, в нем лебеди, павлины, утки и охотничьи куры многих родов. На мукомолье 7 мельниц. Стекланный завод... Церквей каменных 3, деревянных 2, дворов поповых 5 и 11 причетников. Воксал для блистательных представлений. Мост, мощный дубовыми брусьями... 27 прудов, в одном щуки, в другом

стерляди, каковым щукам царевны вешали золотые сережки и кликали в серебряные колокольчики...»

Суздальские земли грустны даже летом. Лесистые холмы, река. Краски — зеленые, лиловые, синие — густы и неприятны.

Нынче к вечеру небо на закате обложилось непогожими тучками, по реке пошла кирпичная рябь. Какие-то мужичишки-рыболовы, выплыв на реку, стоя и качаясь, наклоняясь в своих долбленых челнах, вытаскивали бредни. Я долго смотрел на одного из них, качавшего своим челном реку, на его кривые ноги, на изломанное личико с серой проседью под размятым теплым картузом, на линяющую ситцевую рубашку на впадом животе... Вот они, создатели, зиждители суздальских обитателей!

В одной из этих обитателей мне попала рукопись древнего монаха: «Замогильные летописи созерцаний». В ней есть такие строки:

О, жилище нематежное ближних моих друзей!
Мирное обиталище всех утрудших в ней!
Вертоград пустынный, краснейший Эдем!
Небурное пристанище, юдоль, сладкая всем!

Вечерами в городе великая уездная глушь. Долго не темнеет, бесконечно стоит тускло-синий сумрак в пустых и широких улицах без единого фонаря... Медленно бьют часы на древнем монастыре... для кого? Город точно вымер. Ложатся спать — с вечера — целая вечность до утра! Мой сосед по жесткому дивану на постоялом дворе, какой-то мещанин, который спит, не раздеваясь и не разуваясь, всю ночь страшно скрипит зубами — точно новыми сапогами...

Видел одного местного начетчика. Он в поддевке, нескладно шаткий и высокий, с бледными глазами. Пользуется большой славой. За ним приезжают из деревень, возят его на религиозные диспуты. Священное писание знает наизусть. Говорит очень громко, убежденно, сосредоточенно — и не позволяет сказать в ответ себе ни слова. Мужики восхищаются:

— Какие ученые люди ни приезжали — не гожаются. Никуда! А какой мелкий приедет, с двух слов забьет — и шабаш!

На Волге видел Макарьевский монастырь. Нанял лодку. Рыжий мужик, первобытный волгарь-рыбак, не спеша ворочал веслами, стоя в ней, и по зеркальной, тихой воде подвел ее к самому монастырю, к его древним стенам, из-за которых глядели главы шести соборов. В соборах все как было чуть не тысячу лет тому назад — незапамятная и нерушимая Русь: черные, средневековые лики икон, черная олифа... Но монахов в монастыре осталось всего несколько человек. Живут тем, что возят по приволжским городам (на пароме) древний чудотворный образ. Я, когда плыл к монастырю, как раз встретил этот паром. Он шел еще медленнее нашей лодки, в глубоком молчании. Золотые хоругви, белый престол с образом, белые балахоны возцов и черные ряссы сопровождающих образ. Все фигуры — и белые и черные — сажень ростом, великаны...

В августе ездил в Троицкое, поместье Румянцева. За станцией — не то лес, не то парк, дикий, дубравный. На въезде из деревушки — памятник, очень странный в соседстве с мужицкими избами: Екатерина в греческом шлеме и какая-то богиня со змеей вокруг ноги, а под ними надпись:

«От Екатерины дана сему месту знаменитость, на-

всегда оглашающая заслуги графа Румянцева-Задунайского».

За мостом через ручей, среди вековых берез, — церковь с двумя колокольнями, напоминающая некоторые римские церкви. В часовне при ней стоит громадная яшмовая гробница последнего Румянцева. Возле часовни — огненный куст настурции.

Кругом, из-под темных деревьев, сквозь их стволы, видны далекие деревни, сине-лиловые леса, золотом горящие на солнце жнивья.

Дальше — бесконечно длинная, страшно высокая аллея. Еще дальше — развалины дворца, пролеты в развалинах стен...

После дождей — опять светлая, тихая осень. Ехал барином: заливной звон колокольчиков под росписной дугой, тарантас, тройка... Только тройка — три задранных клячи, тарантас — допотопная рухлядь, ямщик — в сплошных заплатах. И ни души встречной за всю дорогу. Ямщик сказал:

— Теперь все пошло на старый жребий!

В монастыре Саввы собор 14 века, теперь запечатанный. Поднялся на крутую гору, на Старое Городище. Там тоже древняя церковь — одиноко белеет на самой верхушке; за ней древние земляные укрепления, вековые сосны. Кругом ясная и четкая пустыня полей и лесов, солнечная теплая колкость...

Вчера весь день несло страшной вьюгой. Ночью, возвращаясь домой, думал, что погибну в снежной пустыне своего переулочка. Это в Москве-то, в двадцать пятом году двадцатого столетия!

Нынче пришлось быть возле Красных ворот. Вечерело, было снежно, тихо, всюду тоска и грусть. Вспомнил, что тут, где-то близко, в Хоромном тупике, находится загородный дом Ивана Грозного. Отыскал тупик, спустился немного и вошел в ворота широкого, занесенного снегом двора. Неожиданно открылась какая-то странная глухая усадьба, и спереди и с боков состоящая из теремов с крылечками и маленькими окошечками. Снег был свеж и настолько глубок, что я тонул по колено. Единственный след чьих-то очень больших ног вел к главному крылечку. Я пошел по следу, надеясь, что в доме кто-нибудь есть, — там теперь музей. Поднялся на крылечко — дверь оказалась заперта, хотя на ней и висело под стеклом объявление, что музей открыт каждый день от девяти утра до пяти вечера. Я стал стучать — ни звука в ответ. Откуда-то из-за дома вышел мужик в теплом картузе, в длинной стеганой куртке и, не обращая на меня внимания, пошел по двору. Я его окликнул:

— Музей открыт?

Он приостановился:

— Закрыт. По воскресеньям только открыт.

— А почему же висит объявление, что открыт каждый день?

— Да так висит, не снимают...

Я пошел к нему, и мы вышли из снега к крыльцу одного из флигелей.

— А что, интересно в музее?

— Есть люди — интересуются, говорят, хорошо.

— А как по-вашему?

— Как-то не могу понять. Не могу вам разъяснить. Там, конечно, разное украшение старинное, разные орудия, всякие топоры, молотки... Все собирали...

Он легонько вздохнул. По его тону можно было заключить, что он хочет высказать какую-то более глубокую мысль.

— А где же дом самого Грозного? Средний и есть?

— Средний. На его собственную ассигновку строен. Четыреста лет, говорят, стоит...

Он опять вздохнул:

— Да. Жили-наживали, хозяйство приобретали...

Темнело, и опять стало белеть в воздухе, опять пошел снежок на этот глухой обширный двор, на старое, с грубыми деревянными лафетами пушки, которыми обставлен он...



Прошное воскресенье провел в Троицкой лавре. Облазил все стены, все башни, подземелья...

В соборе, там, где стоит открытая серебристая рака, горит только одна лампада. Мощи как-то мелко лежат на дне раки, в каких-то почерневших, до ужаса древних остатках ветоши... Кругом плотная толпа — бабы, мужики, старухи с крысиными глазами. Ни страха, ни благоговения, ни вздохов — ничего. Только любопытство, кое-какие замечания, иногда остроты и смех...

В ризнице — кафтан Грозного: потерянная золотая парча на голубом шелку, с золотыми шнурами. Концы рукавов истерты особенно... Тупо смотрят и на кафтан.

Во дворе собора по-прежнему нищие калеки, недужные, «пораженные язвами и червья воскипением...» Лежат, сидят, переползают... Костыли, ломотья, головы, повязанные платками и тряпками, безносые или безгубые, с кровавыми, как бы выдранными глазами или с оловянными бельмами, тщетно ищущими зрения... «Подайте слепому, безрукому... Кормители, питатели... Обратите внимание...» Бодро и деловито прошли среди этой орды два рослых монаха: один здоровый мужик в гимнастерке и грубых сапогах, в черной шляпе, другой в рясе — круглолицый красавец Алеша Попович с шелковистой каштановой бородкой, с темно-синими, как бы налитыми маслом женскими глазами... Все еще Русь, Русь. Но уже на исходе, на исходе.



Опять весна, и опять живу в большой глуши — в тех самых краях, где несколько веков тому назад жил подвижник, про которого сказано:

Ты в пустыню суровую,
В места блáтные, непроходимые
Поселился еси...

Городок маленький, деревянный. Основан чуть не в самом начале Руси, стоит на мутной речке, нижний берег которой болотист, серебрится кустами ольхи. Середина города окружена высоким земляным валом с тремя проходами. На валу еще заметно место, где была когда-то сторожевая башня. Вал зарос густой травой, в траве высыпали по весне желтые лилии. За валом собор, несколько деревянных домиков, два государственных здания и три березовых аллеи, в которых поют птицы. Некоторое пространство в этом зеленом кремле не застроено и тоже зарастает какими-то цветами. Тут же пруд, отражающий берега и весну. Вода имеет цвет фиалки. Возле пасутся лошади. Полное затишье, ветер сюда не заходит...

Я живу не в городе, а за городом, на горе. Город с церквями и собором внизу, на широком разлужье, полускрыт тополями и липой. С горы открывается даль: перевалы, холмы, кое-где покрытые лесом, кое-где — полосами запашек и озимей, идущих вниз как бы холстами: запашки — розоватыми (от песчаной земли), озими — ярко-зелеными. Дальше, за холмами, леса все гуще и темнее...

Край этот церковный, монастырский: куда ни глянь, всюду монастырь. Слева от меня, совсем близко, белеет каменной стеной и башнями по углам женский монастырь двенадцатого века. Он наполовину скрыт столетними, уже засыхающими деревьями, весь осел, врос стенами в свои зеленые берега. Вечерами под его тяжелые ворота с золотым крестом над ними идут черные фигуры монахинь. Справа — скит, дальше плоскодонный лог, а за ним невысокий холм, на котором, под старыми деревьями, раскинут старый погост, где козодои, не смолкая ни на минуту, тянут всю ночь напролет все одну и ту же жужжащую ноту. Птица эта очень идет к скитам. Вылетает она беззвучно из-под самых ног, повьется над головой, бесшумно трепеща крыльями, и опять упадет на какую-нибудь могильную плиту. Глаза у нее — два красных карбункула. Могильные плиты на погосте мшисты и загажены птицами, мшистые кресты серы, мягки, точно на них фланель. Есть, конечно, развалившийся склеп богатого купца, нелепый и безобразный, из черных окон-дыр которого пахнет нечистотами. А рядом чей-то новый крест, под которым лежат свежие цветы и густо вьются пчелы...

В монастыре есть могилы очень древние. Как-то, возвращаясь с вечерней прогулки, вошел во двор монастыря, прельщенный красным огоньком, горевшим в келии под навесом деревьев монастырского сада. Были уже сумерки — полусвет северной ночи. Во дворе было пусто. Золотой ангел с крыши притвора благословлял двор. В притворе чернели две рясы, белели два капюшона. Одна из монахинь была молода, нежна, тиха. Я попросил ее показать, где на монастырском кладбище могилы самые древние. Она достала из ниши фонарик, зажгла его и повела меня в полумрак сада, среди смешанных весенних запахов — и сладких, и терпких, и каких-то водянистых, травяных. Иногда она останавливалась и освещала могилы. В полусвете фонарика выделялся ее белый капюшон. Она разыскала старую-старую могильную плиту, вросшую в землю особенно глубоко, всю во мху, в порых и углублениях, суженную к изножью. Буквы, насеченные на ней, покрытые мохом совсем черным, гласили:

«Лета такого-то (шестьсот лет назад)... схимонах Ферапонт... рода Долгоруких...»

Когда я уходил, монахиня поклонилась мне в пояс. Колокола били часы. Колокола здесь есть шестнадцатого века. Среди этой северной ночи их серебряная, певуче дрожащая игра над монастырским садом и городом очаровательна. Особенно поздней ночью, когда все спит. Ночь же здесь прозрачная, бледная. Что-то бледно-лимонное, тонкое освещает небо. Венера стоит высоко, играет каким-то тающим, просветленным блеском. Мохнатая лесная зелень в этом прозрачном свете беловата и кажется мягкой, как лебяжий пух. В полночь светает. Лимонный свет становится ярче, леса — темнее, сырее, бархатней, и запахи цветов, очень сильные ночью, тонут в одном, особенно сильном запахе ландышей...



У стен одного из т-ских монастырей встретил монаха из уезда. Он отвязывал от дерева старую лошадь с вытекшим глазом, запряженную в старомодную колымажку, на дрогах, с загнутыми сзади полурессорами. Очень маленького роста, в сером подрыснике и черной шляпе; лицо худое, длинное, редькой, в оловянных очках; на грудь спускается по плечам два жгута волос, маслянисто-каштановых, с серебром. Разговорились, я присел к нему в колымажку, и мы выехали за город, поехали по лесной дороге. В пути он стал рассказывать про свой монастырь, про хозяйство, которое там опять понемногу налаживается. Рассказал также про святого, основавшего монастырь, и про знаменитого юродивого, погребенного в монастыре. Юродивый был «как бы Голиаф», ходил в одной рубахе, под которой носил целый пуд тяже-

лой собачьей цепи (до сих пор хранимой в монастырской ризнице). Пришел в монастырь неизвестно откуда, ископал себе поблизости от него, в дремучем ельнике, землянку. Каждый день, услыхав монастырский колокол, приходил к монастырской церкви и становился на паперти, — стоял на ней босиком и в одной рубашке, даже зимой, не боясь ни морозов, ни метелей. После обедни являлся в хлебодарню, залезал в печь и закрывал за собой заслонку, говоря: «В аду еще жарче будет!» Как-то раз не пришел. На другой день тоже. Монахи стали тревожиться: не случилось ли чего? А как нарочно шла сильная метель. Стали бить в колокола. День и ночь, сквозь бурю и снег, в дремучих еловых лесах, в снежном густом бору, гудел колокольный звон — его все не было. Когда стихло, пошли искать по лесам окрест — не нашли в лесах. А потом пошел как-то на медведя мужик — и видит: лежит юродивый возле своей хижинки, окруженный сугробами, но не на снегу, а на весенней зеленой траве, посреди благовонных цветов...



Был еще в одном монастыре (опять в другом краю).

Пришел рано утром. Золотыми сердцами горели на солнце монастырские кресты. В церкви шла служба, из раскрытых церковных дверей несло пение. Церковь была пуста — только по обеим сторонам ее, против боковых алтарей, стояли в два ряда черные монахини, с четками в руках. Царственно-суровая игуменья, положив левую руку на черный посох с желтой костяной рукояткой, стояла против средних царских врат в высоком дубовом кресле, устремив взор на высоко уходящий вверх золотой иконостас, весь покрытый ликами святых, мужчин и женщин, списанных с членов одного древнего рода. Служба шла стройно, спокойно, возгласы и чтения звучали с нарочитой безжизненностью, ровно и бесстрастно, высокими женскими алтами, пение неожиданно прерывало эту безжизненность минутами сладостных или скорбных излияний вдруг оживавших душ. А двери церкви были раскрыты на воздух, светлое летнее утро окружало монастырь, радостно и мирно сияло в окрестных полях и росистых перелесках...

Когда служба отошла и монахини, под звон колоколов, под жарким солнцем, стали расходиться из церкви в разные стороны, к своим кельям, я спросил у одной из них, где монастырская библиотека. Она указала мне на часовню, возле которой была пристроена какая-то особая келья. Я пошел туда, постучал в дверь. Вышла мужественная монахиня с черными внимательными глазами, вся в черном, с белой коленкоровой наколкой на голове. Выслушав меня, помолчала, потом ввела в келью. Я увидел две маленьких комнатки, необыкновенно чистых, озаренных солнцем. В одной горела на столике розовая лампадка, было необыкновенно уютно, пахло чем-то очень приятным. Другая была заставлена книжными шкапами, там стояли два стола для чтения. Монахиня дала мне каталог, сама села на подоконник, все продолжая следить за мной серьезными и даже пронзительными глазами. Я выбрал историю монастыря. Монахиня, найдя ее, подала мне и вышла. Я, невольно стараясь быть как можно скромней и тише, сел читать и делать выписки возле раскрытого окна, за которым шел ровный лепет зеленой древесной листвы...

Между прочим, я узнал, что под монастырем находится громадное подземелье, сплошь уставленное гробницами предков того рода, с лиц которого списаны святые на иконостасе в церкви. Историк монастыря, перечисляя гробницы, дает и краткие жизнеописания погребенных в них. «В гробнице такой-то погребен такой-то, обезглавленный царем Иваном Васильевичем Грозным... В гробнице такой-то — тот-то, убиенный в 1612 году...» В следующей — «отрок Сергей, убитый лошадью; родился в 1698 году, пре-

ставился в 1715; был иноком с четырнадцати лет; красавец собой, одаренный несравненным для пения голосом, страстью к музыке и большими познаниями в оной, с детства стремился он к Богу и вечности, куда и восхищен был преждевременной кончиной своей...»

В полдень, простясь с монахиней и выйдя из кельи, пошел к склепу, откуда идет спуск в это подземелье. Однако спуститься в него не решился: только заглянул между прогнивших и провалившихся досок пола в его тьму, увидел две каких-то громадных осмоленных колоды — и поскорее пошел прочь...



На престольный праздник возле уездного монастыря была ярмарка.

Нищих, калек, убогих, слепцов с поводьями стеклось без счета.

Во время обедни все это лежало и сидело на траве у стен монастыря, со всеми своими палками, мешками. Особенно выделялись коричневые до блеска, до перламутра, сожженные солнцем и до костей иссохшие старцы с голыми черепами, да один страшный малый: вместо носа, губ и части подбородка у него было что-то сплошное, вроде огромного шрама лилового цвета, с дырой посредине в кулак величиной, куда он закидывал сразу половину французской булки и мял ее остатками мышц и связок. Ужасней всего было то, что это был человек очень веселый, голубоглазый (хотя и в кровавых веках) и мял булку даже для потехи...

Когда из монастырских ворот, из-под расписных сводов, показалась парчовая рака, вся эта толпа бросилась к ней, дав друг друга, слышались крики, вопли. Пение, ладан, черные рясы монахинь, эта рака, медленно плывущая над головами, и эти крики, вопли... Позади всех, задрав голову, слепо и неотразимо пыряя вперед палкой, не поспевая за поводирем-мальчишкой, бежал мужик в бельмах...

А на ярмарке стоял балаган, гремел, бил в медные тарелки оркестрион, и все прочее являло картину, тоже давно известную: гам, говор, дикий и дурацкий крик клоуна, зазывавшего в балаган на представление, густая толпа баб, мужиков, девок, белые баранчики в телегах, тонкое ржание жеребят с замшевыми мордочками, острый запах лошадиного навоза и растоптанного сена, малый, сидящий на земле с шарманкой между ног и под ее рев и свист поющий во весь звонкий голос:

— Все пташки, канарейки...

А на крылечке чайной, под красным флагом, — кумовья и сваты: раскрасневшиеся от чаю и сивухи лица с мутными, умиленными глазами, головы и бороды мудрецов Эллады...

Воротясь на постоялый двор, лег на деревянный диван, очень утомленный долгим шатанием по ярмарке, и закрыл глаза. Погода портилась, — в неприкрытое окно дул холодный ветер, слышался все усиливающийся шум деревьев... На минуту забылся, потом очнулся: дождь частой дробью осыпал стекла, остро сверкали молнии. <...>



И еще одно старинное место.

Из полутьмы большой гостиной, в окна которой глядел одичавший сад, прошел в еще более просторный, но светлый зал, весь позлащенный солнцем, сияющий зеркальным паркетом. Опять портреты... Неужели не приукрашали старинные художники этих женщин? Особенно поразил меня один молодой женский портрет, глядевший со стены сквозь золотистую солнечную сетку, падавшую на него из сада. Несрав-

ненная прелесть форм, облитых тонким шелком, неземная красота восторженных очей, их чистейшей небесной бирюзы! В библиотеке — портрет старинного владельца усадьбы. Что-то вольтеровское, как часто это бывало в те годы: белый густой парик, нежное румяно-желтое лицо с впалыми щеками, едкие, проницательные глаза и тонкая линия рта. Сколько уже лет молча смотрит он на эту молчаливую комнату? А комната такая, что, кажется, так и остался бы в ней навеки: низкие книжные шкапы с инкрустацией, золотые узоры на кожаных и сафьяновых корешках за их стеклами, посредине, под дубовым полированным столом, горит на солнце красный бархатный коврик, по лаковому полу, блеск и игра лучей, а за широкими полукруглыми окнами — безбрежные серебристые леса... В «Расходной книге» этого имени прочел между прочим: «Отпущено псарю Тимофею 60 аршин алого атласу на кафтан...» и мысленно увидел охоту, несущуюся по этим серебристым лесам за каким-нибудь лосем, который мчится от собак по кустам и полянам, вывалив на сторону закушенный язык... Потом смотрел другие книги: откуда и в них, в самый расцвет благосостояния, таких тонких и сильных вкусов к жизни, эти вечные стремления «к Богу и вечности», эти горестно-возвышенные упреки земле и человеку?

Почто, о человек! стремишься
Всегда за счастьем земным?
Неужели ты надеждой льстишься
Вовеки наслаждаться им?



ЖЕЛЕЗНАЯ ШЕРСТЬ

— Нет, я не иннок, ряса моя и скуфья означает лишь то, что я грешный раб божий, странник, сушею и водами ходящий вот уже шестой десяток лет. Родом же я дальний, северный. Там Россия глухая, древняя, леса да болота с озерами, селения редкие. Зверя много, птицы несть числа, филинов ушастых видишь — сидит в черной ели, пучит янтарное око. Есть носатый лось, есть прекрасный олень — плачем и зовом звенит в бору к своей подружке... Зимы снежные, долгие, переходный волк под самые окна подходит. Летом же качается, шатается по лесам медведь широколапый, в дебрях леший свистит, аукает, на дудках играет; в ночи утопленники туманом на озерах белеют, нагими лежат на берегах, соблазняя человека на любодеяние, ненасытный блуд; и есть не мало несчастных, что токмо в сем блюде и упражняются, провождают с ними ночь, день же спят, в тресовицах пылают, оставя всякое иное житейское попечение... Несть ни единой силы в мире сильнее похоти — что у человека, что у гада, у зверя, у птицы, пуще же всего у медведя и у лешего!

Тот медведь у нас зовется Железная Шерсть, а леший — просто Лес. И женщин любят они, и тот и другой, до лютого лакомства. Пойдет женщина или даже невинная в бор за хворостом, за ягодой — глядишь, затяжелела: плачет и кается — меня, говорит, Лес осилил. А иная на медведя жалуется; повстречал де Железная Шерсть и блуд со мной сотворил — могла ли от него спастись! Вижу, идет на меня, пала ниц, а он подошел, обнюхал, — мол, не мертва ли? — завернул на мне свитку, и исподнее, задавил меня... Толь-

ко, правду сказать, нередко лукавят они: случается даже с отроковицами, что сами они прельщают его, падают наземь ничком и, падая, еще и обнажаются, как бы нечаянно. Да и то зять: трудно устоять женщине что перед медведем, что перед лешим, а что будет она оттого впоследствии кликуша, икотница, о том заранее не думает. Медведь — он и зверь и не зверь, недаром верят у нас, что он может, да только не хочет говорить. Вот и поймешь, до чего женской душе прельстительно иметь такое страшное соитие! А про лешего и говорить нечего — тот еще страшней и сладострастнее. Я о нем ничего не могу утверждать, бог миловал видеть его, а которые видели, те говорят, будто он подобен по рубашке и портам и прочей наружности мужику-смолокуру, однако же кровь у него синяя, оттого и с лица темен, ногами мохнат и тени от себя не может иметь ни при солнце, ни при месяце; завидя на лесном пути прохожего, тот же час согнется весь и такого духу даст — векша не догонит! Не то при встрече с женщиной: он не токмо не боится ее, но, зная, что тут ее самое ужас и похоть берет, козлом пляшет к ней и берет с веселостью, с яростью: падает она наземь ничком, как и перед медведем, а он сбросит порты с лохматых ног, навалится сзади, щекочет обнаженную, гогочет, хрюкает и до того воспаляет ее, что она уж без сознания млеет под ним, — иные сами рассказывали...

Все сие я к себе клоню. Пошел я на весь свой век сирым странником по причине того несказанного бедствия, что постигло меня на самой заре моей. Женили меня родители на прекрасной девице из богатого и старинного, честного крестьянского двора, которая была еще млаже меня и дивной прелести: личико прозрачное, первого снега белей, глаза лазоревые, как у святых отроковиц... Но вот, в первой же брачной ночи нашей, кинулась она от моих объятий под образа в спальнной горнице, говоря мне: «Ужели дерзнешь взять мое тело под святой божницею и елейными лампадами? Я приняла венец с тобою не своей волею и не могу быть твоей супругою, зане должна удалиться в скит и монастырь, дабы принять: другой венец, умереть для мира заживо, по жестоким грехам моим». Я отвечаю ей: видно, впала ты в безумие, какой же может быть жестокий грех на твоей душе в твоём невинном возрасте! Она же мне: «Про то одна мать божия ведаёт, ей же дала я, покайся, обет быть чистою». И тогда я — пуще всего от ее сопротивления и подобных страшных слов, да еще под святынями — озверел столь необузданной страстью, что упился ею как раз на том месте, на полу, сколь ни противилась она своей слабой силою и мольбами и рыданием, и вспомнил лишь после того, что имел я ее невинности уже лишенную не подумавши, однако, кем и как лишена она ее. Будучи во хмелю, сей же час заснул крепким сном. Она же, в одном исподнем, убежала из спальни горницы в лес и там на своем брачном поясе повесилась. Когда же обрели ее там, то увидели: сидит на снегу у тонких босых ног ее, склонив голову, великий медведь. И, как тот олень, три дня и три ночи оглашал я потом леса окрест своим плачем и зовом, ее на земле уже не достигавшим.



Анастасия
ЦВЕТАЕВА

МАЛОВЕРОЯТНЫЕ БЫЛИ

Родные сени

В каждой жизни бывает необъяснимое. Моя жизнь не очень богата подобным — может быть, потому, что от рождения я, как моряк под парусом, под этим ветром плыву: легкие полны им.

Чувство, что все волшебно (детство), иррационально (юность), таинственно (зрелость и старость), — срослось со мной.

И все же есть несколько случаев, выпадающих из сетей моего улова — в любые руки, на потребу любому, под парусом этим не плывущему. Так путешественник привозит друзьям курительную трубку из морской пены, кусок лавы с вдавленной в нее — когда та была горячей и мягкой — монетой, нитку кораллов, еще пахнущую морским дном.

Звали его Леонид, знала я его уже тринадцать лет, с его двадцати, моих двадцати девяти. Все мы его любили чувством сдержанного восхищения, желанием походить на него, радостью каждой встречи. Но случилась у меня вина перед ним — сорвавшееся несправедливое слово. Это меня томило. Я написала ему с просьбой прийти, когда будет в Москве, — работал он вблизи Вологды. Письмо мое было послано на адрес московский, матери его, у которой он в приезды останавливался, и от нее пришел ответ, что Леонид был, но всего полдня, просил извинить, что не смог быть у меня, скоро придет на дольше и непременно зайдет, шлет привет.

И теперь каждый день я поджидала его.

В моей комнате, в четвертом этаже, над тихим Мерзляковским переулком, — уютной, с гигантской тахтой, старым бюро-кораблем вместо письменного стола, звездным глобусом, цитрой и музыкальной шкатулкой на бабушкином комод, с фортепьяно и вольтеровским креслом, с обломанной мраморной головой работы Торвальдсена, с портретами по стенам, — вечером, придя с уроков, я слушала — не раздастся ли (мне) 4 звонка и голос его в темном маленьком коридорчике. Звонки раздавались часто, но все не его шаги. Когда же стукнет в дверь его крепкая небольшая рука и я двинусь ему навстречу — просить прощенья?.. Он переступит порог, в коротком знакомом пальто, снимет фуражку, невысокий, светло-русый, узколицый, застенчивый, — и как умел он стать гневным...

Рисунок Р. Клочкова

Фото Л. Шимановича



Волевой подбородок, юношески не заросший, и этот сияющий, словно всегда на празднике, сосредоточенный и лучащийся синий взгляд.

Были в нем, сказал бы древний, веривший в значенье планет,— мужественность Марса и повелительность Юпитера, но их оведала мечтательность Луны. И на диване ли сев или ходя по комнате одновременно твердой и уютной походкой, он наполнял эту комнату сдержанным весельем, напряженным покоем. И было чувство, что все хорошо, раз он тут. Как мне хотелось скорее сбросить с себя вину!

В тот последний раз, когда он был у меня, он рассказал, что встретил Нину, которую не встречал уже годы, был у нее — она переехала в Замоскворечье — в старом доме — он любит такие, — на антресолях. Она была замужем, разошлась, у нее сын лет двух — замечательный мальчик, Николай. Он ходил и говорил о ней и что-то недоговаривал, а я снимала с примуса кофе, наливала и слушала. Он выпил стакан, отломил печенье. Нет, он больше не хочет, хватит, — и точно эти слова перевернули какой-то рычаг.

— Да, — сказал он, останавливаясь у фортепьяно, — я теперь твердо знаю, — он повернулся и пошел меж тесно стоявших вещей, — всякое чувство можно остановить волей. Если физической близости не должно быть и ты это понял — можно остановить чувство, как бы сильно оно ни было. Но тут уж надо быть не у м о л и м ы к себе!

Его лицо (он, не заметив, вдруг стал на месте) было чуть поднято, он глядел немного вбок и вверх, отталкивая от комнаты взгляд, как лодку от берега; абрис верхней губы над полной нижней был овеян некоею важностью. Над решимостью — еще чем-то: прислушиванием. И был сдерживаемый восторг знания в этом отвернувшимся взгляде. Затем он вынул часы — старые, отцовские, на цепочке, — взял фуражку, пальто, тепло пожал руку.

И я могла обидеть этого человека! Когда же я увижу его?

Он не пришел ни в этот вечер, ни в следующий. А еще через день меня вызвали к телефону и сообщили, что приехали из Вологды родные — шесть дней назад около часу ночи под поездом погиб Леонид Фе-

дорович. Похоронен в Вологде, куда выезжали мать и сестра. Просят сообщить друзьям о девятом дне: панихида будет в такой-то церкви, в таком-то часу.

В неожиданном горе и в непонятности происшедшего (его нет — его никогда с нами не будет — и как мы — никто! — не чувствовали, что мы должны его потерять?), глядя на растерянные лица друг друга, повторяя слова, переданные по телефону, о неизвестности, как произошла смерть, — мы вспомнили ту, которую он любил. Нину. Ей надо было дать знать. И вот тут оказалось, что мы не знаем ни ее отчества, ни фамилии, и я ее видела раз, восемь лет перед тем, когда он зашел с ней в Музей изящных искусств, где я работала, и мы прошли вдвоем по верхним залам среди мраморных стен, статуй античного мира, под стеклянными потолками. На этом сказочном фоне мне запомнились большие глаза, карие, яркие, улыбка полного рта, рукопожатье нежной руки и моя нежность к той, которую полюбил Леонид. Но годы, один за другим, — это очень много людей, глаз, улыбок, рукопожатий, имен, отчеств, фамилий — и я совершенно не помнила, как звалась меж людей та юная женщина. Мне она была Н и н а — и все.

Был апрельский вечер, холодный. В темноте, против ветра, по слабо освещенному проезду Сретенского бульвара мы шли к телефону на Главный почтамт: кто-то надеялся узнать о Нине — точнее. Но попытка оказалась тщетной. Тогда я вспомнила, что мельком видела ее еще раз, в годы, когда Леонид уж давно с ней не встречался: у моего друга, скульптора Жукова, на вечеринке, и она в тот вечер мне не понравилась — подведены были не то глаза, не то брови, и рука на гитаре, и песенка (это было «не то» — Леонид?). Теперь я знала, что — то. По тону последнего его рассказа о ней. И я бросилась звонить — скульптору. Но и тот, и его жена — отвечали, что не помнят: столько лет назад, было столько народу... Кажется, была Нина, чья-то знакомая, ее привела какая-то женщина...

— Дело пропало, — сказала я тускло, без сил, вешая трубку.

И снова холод, ветер и улица. Как во сне, после полного работой и горем дня я входила в одну из

квартир большого дома Сретенского бульвара — к женщине-другу, близкой, как мы все, Леониду, — для нее его смерть такой же удар, как для меня.

С этим чувством иррационального облегчения, утешения в неутешном я вошла к ней. И до поздней ночи мы все старались найти способ узнать о Нине — была ли то подсознательная попытка погоней за ней затмить хоть на час боль о его уходе, занять себя какой-то трудной задачей, имевшей отношение к нему? Стараньем что-то сделать для него, будто бы он еще жив... Затуманить неоспоримость его — навсегда — отсутствия? Кажется, это так. Как и — всё возвращались к нему — разговор о том, чем была его смерть — неудачным прыжком? Как все железнодорожники, так и он, прораб, часто вскакивал и сходил на ходу. Или — прорабы возят деньги для расплаты с рабочими, и — совершенно преступление? Он мог сопротивляться, быть сброшен? Увы, как все это, само по себе большое, и последний его час, и последний наш долг ему — известить о его панихиде ту, которую он любил, — как все это было мало перед тишиной его внезапного исчезновения, перед навек необъяснимым фактом его отсутствия, перед наставшей между нами пустотой!

Ночь. С той ночи прошло двадцать лет ночей. Но как будто вчера я вижу кушетку, на которой меня уложила старшая моя подруга — Нэй. Но разве не чудо это — чем ее залечишь, утрату? — непонятность, что бывший с нами вдруг стал не наш, он, входивший, хотевший войти «на следующей неделе», которой не оказалось ему... смеявшийся, жавший руку, надевавший фуражку, стал вдруг — прозрачней небес... воспоминаньем! Помогли тонкие пальцы подруги, тепло жавшие мне руку. Голос — тоже неповторимый, шепнувший:

— Спите... Поздно! Пора.

Властная ласка огромных серо-зеленых глаз, близороких, поднявших и опустивших надо мной тяжелые веки.

Ее мать уже спала, устав; и сын, мальчик большеглазый, как мать, спал. О стекла окон бились снежинки. Где-то они сыплются на могильный холм.

Весеннее утро пусто и высоко стояло над деревьями Сретенского бульвара, не видного нам из высоких, пустых окон третьего этажа. Первый взмах сознания срезан серпом: «Нет Леонида!» Сколько утр будут так начинаться, сколько ночей! Голова отдирается от подушки тугостью овоща от гряды. Проспано часа три. Надо вставать — идти — что-то делать. И нет сил. Однако есть уже достижение: вчера кажется очень далеко — горе быстрый вожак. Неужели еще вчера утром мы не знали, что Леонида нет? Это один день прожит?

Запах мокко, блестящий кофейник.

— Вот полотенце, Ася. Ванна свободна.

Мать подруги, старейшая писательница России, когда-то красавица (неввысокая, полная, с пристальным взглядом еще больших горделивых глаз, но с уже старческим ртом), давала мне мыльницу.

Я шагнула, взмахнув белизной за плечом, как вдруг встала, ничего не поняв, потрясенная: ощутило, словно сойди из воздуха, в самую черепную коробку было подано мне — спущено — вложено:

«Нина Дмитриевна Туркина».

Беспомощно, испуганно я оглядываюсь. Что это было? Я окликнула подругу:

— «Нина Дмитриевна Туркина» — мне сейчас, понимаете? Вот отсюда. — Я показала на голову.

— Так и должно было быть. Я знала, что так будет. — В огромных серо-зеленых глазах Нэй, с близороким взглядом, очень тяжелыми веками, — свойственное им сияние торжества.

Решили так: я отменяю свои английские уроки в Тимирязевке, иду в МКХ¹ — будка на Страстной площади — и подаю запрос об адресе на это имя, отчество и фамилию.

Если это она, улица будет в Замоскворечье. Голубой день, тает. Вагон трамвая «А»... Я протягиваю заполненный листок в окошечко МКХ, сердце бьется так сильно, что не слышу, что отвечают.

¹ МКХ — московское коммунальное хозяйство, предшественник мосгорсправки. (Примечание автора.)

— Что? Через двадцать минут?

И вот я хожу по Страстной площади, меж цветочниц, напротив Пушкина, на невидимой цепи вокруг будки. Покупаю фиалки — они рассыпаются. Сыплю их в портфель и хожу. Хорошо, что вблизи будочки МКХ мало народу. Так гораздо легче мне ждать.

И зачем я купила фиалки? Ведь даже нет его гроба, он в земле давно! А Нина не знает... А вдруг окажется, что нет Нины Дмитриевны Туркиной?

Медленно подхожу к окошечку. Не слышу свой голос. Маникюрные пальчики протягивают листок: «... проживает... возраст — около 30-ти... служащая... по такому-то переулку...»

Слышу резкий, с дрожью голос (мой?):

— А где это?..

— В Замоскворечье, Ордынка. Следующий.

Толкнувшись о подходившего к окошечку, не видя никого, ничего, я иду через солнечную (тепло!) Страстную площадь, целую листок, вынимаю из портфеля фиалки. «Это же я Нина купила!»

И минуту спустя: «От него».

...Цепь бульваров, вагон «А». Ордынка, как далеко! Мне незнакомая улица. Как давно я была за Москва-рекой. В Третьяковке раз как-то... Столько ли хочу пойти на Полянку, в бывший Маринин дом (ее теперь — Париж, прежде — Чехия), — Первый Казачий переулок, дом 8! С юности не была! Наверное, недалеко от Ордынки? Как ни на что не хватает времени. Аля тогда была крошечная (Маринина дочка). Теперь ей, как и моему Андрюше, — двадцать четыре. Париж — ее, его — Алтай. Жизнь — сплошная разлука! Непременно пойду сегодня на Полянку, в Казачий. На обратном пути от Нины! И напишу им, туда...

Но это другая боль о кусочке канувшей юности (первый год брака Марины и Сережи, ее двадцать, мои восемнадцать лет...) Солнечный двор с акациями, тополя, запах, как во дворе Трехпрудного, где Марина и я родились, — не за этот ли запах и за старые антресоли Марина с Сережей и купили тогда тот дом? Но боль эта не сочетается с сегодняшним днем, застенчиво гаснет, как погас тот солнечный двор.

Иду в тени от домов, бывших барских особняков Ордынки, на миг окунаясь в солнечные перешейки — низких ворот и калиток. 1936 год.

И вот он, переулок, где не ждет меня Нина. Серая номера с листком МКХ, дохожу до ее дома. Старый бедненький особняк, огромная развесистая береза. Окно, крыльцо — таких особняков тысячи. В раскрытые ворота вижу качели, на них мальчик школьного возраста. Две женщины развешивают белье. Я задаю мой вопрос нарочито медленно — чтобы овладеть голосом. Или чтоб оттянуть?

— Туркина? Нина Дмитриевна? — переспрашивает женщина.

— Да, — говорю я строго. — Сын у нее...

— А, Нина Дмитриевна? Сын? Вот, вот. Во-он он на качелях качается!

Сердце падает. Значит — не та... Однофамилица!

— Да ты что? — Другой женский голос. — Наверно живет, как не знаешь! Да у ней же малыш, Колька! Ну! Знаешь?

Не слушая, не глядя, шагаю двором, к крыльцу. Вверх — мимо каких-то дверей, держась за облупленные перила, по разлатым ступеням уютной лесенки, по которой всходил Леонид. Воспоминание и о доме Толстого в Хамовниках, и о папином, в Трехпрудном. Сердцебиение застилает все.

Навстречу мне приоткрывается низкая дверь, слева от конца лестницы, высовывается голова женщины — черт не вижу по близорукости, — темные волосы, круглолицая, большие глаза, яркие.

— Нина Дмит...

— Входите, пожалуйста. — Она протягивает мне руку. — Я знала, что кто-то придет сегодня!

— Я принесла вам печальную весть.

— Леонид? — И помедлив: — Я знала уже, я ждала...

— Погиб. Похоронен в Вологде. Завтра в час дня панихида, девятый день.

Ее руки у висков, глаза на мгновение закрыты. Выше среднего, статная. Как хорошо держится! Ведь комната плывет ей сейчас...

(К моим глазам — слезы, горло как рукой сжато.) Но разве могла быть иной — его подруга?

— Мы еле нашли вас. Я вам расскажу...

— Я сегодня в первый раз не пошла на работу, за полтора года. Я сына отнесла к маме, я знала, что кто-то придет. О нем. Я ждала кого-то из вас. Я вас сразу узнала... Сядьте. Мы будем долго говорить.

Я смотрю в золото-карие глаза, широкие. Мне кажется, они говорят — такой на них похожий голос, идущий вглубь, и такая в них проникновенная решимость, прислушивание, завороченность, служение. У нее совсем не темные, у нее — бронзовые волосы. Она совсем другая, чем я ее видела, — зрелее, строже. Но когда, сказав о сыне, улыбнулась — не выжется эта блаженная улыбка с полным женским ртом, — говорит во мне вдруг что-то: да, тут властность Юпитера тоже, но мечтательность — Луна, Луна и Луна.

— Леонид восхищался вашим мальчиком.

— Коля на него похож. Им все восхищаются. — Она ответила просто. — Я не видела Леонида Федоровича четыре года, до последней встречи. Коле — два. Сходство же явное. Он очень умен. И у мужа — я с ним разошлась уже полтора года назад — глаза темные, и у меня тоже. Коля — голубоглазый, но голубоглазых много, — он на Леонида похож. Вы же еще придете, когда он будет дома. Вы увидите... Я много видала детей, но такого — я не знаю, что будет с ним в жизни, он не похож на других детей... — Она встает, идет по комнате. — В час ночи! Вы думаете, он прыгнул? Неудачно? С товарища-ка? Нет! Он бы не мог ошибиться — нет...

— Он вез деньги рабочим.

— Думаете, убийство? Да, это могло быть...

День шел к вечеру, я глядела на Нину и слушала ее голос. И какое-то волшебное состояние овладевало мной.

Горе — отступало. Смерть Леонида — то, с чем я сюда пришла, — как-то странно видоизменилась. Я еще не могла себе дать отчета, что происходит, почему мне почти легко, когда совсем просто и совсем ясно, как несомненную истину — я ощутила, что Леонид — с нами. В эту минуту Нина встала и, повернув ко мне лицо:

— Вы чувствуете? Да? Леонида! Он — тут.

Я встала тоже. Мы смотрели друг на друга. Молчали. Чувство огромной полноты, тепла и покоя держало ум и сердце в неиспытанном еще слиянии. Испугались ли бы мы, если бы он — вошел? Было тихо в знакомой ему комнате. Две души, слившись в одно, бились, как мотылек, о светильник бессмертия.

И перешагнувший туда — был здесь.

Но молчать стало тягостно. От слабости.

— Бояться не надо, да? — спросила я Нину. — Человек слаб перед видом нарушения закона...

— Но ведь оно и ему не нужно, — сказала Нина, — Леониду? Не нужна и нам — форма явления. Вы же чувствуете, что он — здесь...

О, если есть тот мир, — как же он прекрасен, когда одно касанье к нему полнит нас такой полнотой. Подошедшее к нам длилось — недолго во времени. Но оставило по себе радость чувства касанья к чуду, после которого все легко...

Я не помню, ели ли мы в тот день и сколько прошло часов. Уже было темно за окнами. Телеграммы о Леониде еще были, должно быть, в пути — в Архангельск, нашему старшему другу, на Алтай, моему сыну, с которым, одиннадцатилетним, тому назад лет тринадцать Леонид играл, звал «жужелицей»...

И пусть, на взгляд многих, все это было воображение, но вообразилось оно как раз так, как требовалось нам — ей и мне, двум совсем разным душам. И способ дать знать — «Нина Дмитриевна Туркина», — и способ войти и утешить (не испугав) были отменно похожи на Леонида.

(Это — тем, кто не верит.)

А кто верит — тем ясно, что кому же, как не

себе, мог поручить Леонид — утешить? В мире, где только чудо может оспорить и победить этому миру присущую безутешность? Никто иной — ни я сама, ни та, ни другая подруга, ни даже наш старший, самый любимый всеми, самый волшебный друг, коему шла телеграмма, — не могли смягчить уход другого. (Подменить собой? Собой задвинуть отсутствие — не свое? Попытка с негодными средствами! Отсутствие лечится только ПРИсутствием, и, если отсутствие смертное — то присутствием бессмертия.) С этим застенчиво и мужественно, как все, что делал, и подошел к нам, быть может, Леонид?

К жизни я очнулась в час ночи. Я испугалась, что дома, то есть в квартире, где жила, — ждут, чтобы после моего прихода запереть на внутренний запор. Ехать? Так не хотелось — и поздно — уже последние трамваи идут, наверное, в депо.

— А нельзя ли позвонить, что не приеду, чтоб запирали?

Можно, телефон в кухне, Нина проводит меня.

Сойдя с лесенки, мы вошли в дверь, мной до того не замеченную, в конце чего-то вроде «черного хода». Нина показала мне телефон и ушла стелить нам постели. Держа телефонную трубку, я рассеянным — вполнимания — взглядом смотрю на эту странную кухню: плитка стояла посередине, как домашний божок, как в годы гражданской, давней, войны, а стена, где бы ей стоять, имела подряд три узенькие двери. Как во сне. Почему-то обоим «под дуб». Неуютно... (Какие ненужные мысли, когда человек устал!). На телефонный зов мой — не шли. Видно, спят? И вот — так бывает, когда очень устанешь, и в потерю сопротивления непрошенные гости — воспоминания — одолевают явь. Желтый ли цвет стен вдруг перенес в другую темную солнечность давней гостиной с длинным овальным столом? Фрукты, вино, бокалы. Заздравные тосты. Из мглы (амбразура ли двери раскрытой?) — лицо. Светлые, тоскующие, в этой тоске надменные, приглядывающиеся и уже глядящие дальше глаза. Легчайшим золотом пышущая волна коротких волос. Черты римского отрока — Марина!

А рядом — лик почти! Так худ и так прекрасен. Но радостноглазый и ласковый... Двадцать три года с плеч! Вечер у Марины и Сережи, в их доме в Первом Казачьем. Сколько лиц молодых! Борис мой, моя роковая встреча, муж и отец ребенка — обреченное благородство черт, светлый взгляд, тонкие ноздри! Золото — еще светлее Марининых — волос, отброшенных, как у Листа. Тебя ли оставляю ради твоего юного друга, Гермеса, не сводящего с меня любующихся и застенчивых глаз, — и дальше, и дальше — как гриновская «Бегущая по волнам»?

(Сквозь это слушаю напряженно молчание в телефонной трубке. Идут, нет? Спят?). О, почему — вдруг?..

Вперив в меня тяжелый и дерзкий взгляд (длинные голубые глаза, русая борода крестьянина, широкоплеч, в себе уверен), любивший меня с моего отрочества дочитывает вслух свои стихи с посвящением: «Написавшей мне из Италии». (Картинку с видом Средиземного моря — помню.) Дерзостно читает Толя¹ свою любовь мне в лицо, видя рядом моего молодого мужа, — мы только что из заграничной поездки, все знают, что стихи — мне. (Это летит в памяти, сердца не достигая, — в то мгновение, когда из тоненького далека, в коридоре у телефона слышатся игрушечные шаги. И их ритм добрасывает в мою память — конечные стихотворные строки — предсказание, что я счастлива не буду... «Покуда в родные...»)

— Слушаю! — прерывает меня голос.

— Простите, я вас разбудила? Я ночевать не приеду. Закрывайте, пожалуйста, дверь! Да, у подруги!

Трубка повешена. Озираюсь. Довспоминаю что-то, то есть ловлю ускользающее. Что-то надо довспомнить. «В родные...» А что же дальше? «Покуда в родные сени не придешь...» Это? Или нет... что, когда в голод, вернувшись в Москву, пойдя именно к этому

¹ Анатолий Корнелиевич Виноградов, будущий писатель, погибший в 1946 году. (Примечание автора.)

человеку просить о работе, я получила отказ? Нет, нет, еще что-то...

Пробираюсь мимо плитки, трех дверей, чьего-то мусора — в четком ощущении, что мне не нравится эта кухня. Наша, с цементным полом, с огромной плитой, пятнадцать лет не топящейся (примусы), где гремишь ночью, после работы, корытом, — лучше!

По лесенке (Хамовники, Толстой, и наш тот, в Трехпрудном!) — вверх.

— Дозвонились?

Теперь я вижу комнату Нины, только теперь: квадратная, низкая, как все антресольные. Два окна, мало вещей. Кроватка Коли. В эту комнату входил Леонид! Тут ходил, как по моей, там сидел у стола...

Мы с Ниной уснули под утро. Говорят, усталый человек не видит снов. Но я сон — увидела: я спускалась по Нининой лестнице, по которой только что наяву взойшла, заглянула через закрытую дверь (во сне это мне не мешало) — напротив было два окна, сбоку третье. Это взволновало меня, и я поспешила дальше, через кухню, в дом, к тем трем узким дверям. Там на большом листе я рисую что-то и очень боюсь опоздать.

«Значит, так! В комнате возле уборной жила женщина, у нее был Коля, ему было шесть лет. И все три двери — это стена гостиной! А плитку потому так поставили, что ей помешал — буфет! То есть не он, но тень от него мешала! Ясно теперь все!»

Я сложила рисунок и кинулась вверх по лестнице. «Нина! — кричала я. — Я сейчас все расскажу вам! Только скажите — направо от вас есть комната? Узенькая? И в ней три окошка? Нина! Вы живете в...»

— Ася, вставайте! Опоздаем!

Я открыла глаза. Нина трясла меня за плечо. — Где план? Подождите! — Я металась по дивану и шарила. — Я же тут все... Ах, я его ведь во сне... Это все равно! Нина, я не сплю! — кричала я в лицо улыбающейся Нине. — У лестницы жила Лиза, жилища, у нее был шестилетний сын Коля (ваш второй уже). Там два окна, да? И третье — к калитке? А рядом с вашей — узенькая? И в ней... Это ж Маринин дом! Нина, вы живете в Марининой кладовой — потому я ее не узнала, тут было пусто, Алены пеленки висели... Детская была рядом, а Маринина — та, с тремя окнами, под углом, узенькая, волшебная! Я это во сне поняла, и я даже план нарисовала... Но только я все-таки не понимаю, как мог дом перепрыгнуть с Полянки — на Ордынку! И совсем другие ворота, и другой двор!

— А, ворота! Это я вам скажу. Это очень все интересно! Только давайте скорее одеваться, сейчас закипит чай, уже поздно...

— О, не надо чаю, — просила я, одеваясь так быстро, как пожарники на пожар, — я сейчас, я только должна убедиться — взглянуть на Маринину дверь!

— Асенка, вы ничего не узнаете, тут было столько переделок... В той комнате, где телефон, прорубили двери в заднюю, ее переделали.

— Гостиная! Да, знаю! Нина! Так ведь это в кухне теперешней, в ней и стоял стол с теми винами и фруктами? И значит, я оттого и вспомнила у телефона про те стихи — а я думала, от усталости лезут воспоминания... А они пролезли, несмотря на усталость. Я вам расскажу по дороге... Нина! Почему тут вышло совсем обратно? Люди просыпаются — и тогда помнят и понимают, — а мне надо было заснуть, чтобы вспомнить и осознать... Да... Знаете, Нина, Леонид меня назвал — домой, к Марине и к вам, и подарил нас друг другу... Как это на него похоже!

И в то время, как я открывала дверь и с моих плеч бесшумно падали двадцать три года жизни, потому что через старые деревянные перила к Марининой двери лежал, сломавшись о них, теплым ковриком солнечный луч, Нинин голос сказал:

— Здесь заснем, а там это есть — просыпание. Смерти ведь нет...

Обертываясь к ней, я протянула ей обе руки:

— Как я рада, что вы тут живете!

Это Леонид, а вовсе не тот Анатолий, привел меня в «родные сени», и ведь он мне сказал, что ему этот

дом — нравится... И подумать, что я в первый раз в нем, в Маринином доме, ночевала — теперь...

Мы надевали пальто, выходили, моя рука ласкала, спускаясь, перила, как кошку.

— И я хотела искать этот дом, не спешила, а потом пришла к вам — и забыла про все... И не глядела на двор, спешила к вам...

Солнце било в глаза, мы шли крыльцом.

— Ниночка! — Я смеялась почти. — Что же мне делать? Двор — не тот, и деревья — не те, и ворота. И улица, и переулок — другие... Но это же Маринин дом, в Первом Казачьем!

Она улыбнулась мне — и я навек ей благодарна, что она не торопила меня в этот миг. Я оглядывалась, не понимая, бежала, как пес, по следам бывшего, глядела какие-то пеньки («...Срубили... сожгли... тополя... А вон там береза была...»), колдовала, приноживалась, дышала — и мы обе опаздывали с ней на работу — но такое же только раз!.. То, о чем на свете — поют песни. Акации (не «белые» — желтенькие) цвели, как и в тот давний день.

— Вы хотите все же понять? — добро спросила Нина, обойдя со мной двор, где когда-то две наших старых няни под пахучими тополеми гуляли с Андришей и Алей. — Домоуправление (это еще до меня было — рассказывали) решило закрыть те ворота, что выходили в Казачий, а эти, запертые прежде, открыли — угловой участок. Вы за деревьями и не знали, верно, про вторые? Зачем Ордынка вместо Полянки понадобилась — не знаю, но факт. Вот дом и получил другой номер и числится по другому переулку... А крыльцо вы не узнали...

— Да, потому что мы входили с «парадного», как тогда смешно звали, от Казачьего, да, да. Этот угол двора я даже совсем не помню — и березу эту...

— Березку — тогда маленькую — позабыли! А она... Мы стояли под ней, шумной и пышной, один миг — и уже шли переулком.

Мы шли вместе, почти бежали до моего трамвая. Был белый апрельский день, летел снежок.

— Приходите, увидите Колю. Вы ахнете...

Мы шли и говорили о Леониде.

1956 — 1980

Непонятная история о венецианском дожде и художнике Иване Булатове

Начало этой истории рассказал сам Иван Михайлович — когда мы были в гостях у моего друга Бориса Михайловича Зубакина в двадцатых годах века. Заваленная книгами высокая комната, увешанная портретами, самодельные полы и лесенка к ним — так как реликвии прошлого не помещались, — лицо хозяина, походившего на Шекспира (поэта, импровизатора и скульптора), и фантастический облик Булатова — длиннорылого, уже седеющего, в бархатной куртке, — все как нельзя более подходило к истории, которую он рассказал. Но был этот рассказ — былью. Знала я до того дня, что художник Булатов долго жил в Турции, писал Константинополь. В этот вечер я услышала о том, что он был и в Италии.

— Я первый раз приехал в Венецию, — говорил он, — и, конечно, пошел осмотреть Дворец дождей. Итальянского я не знал, но гид мой знал немного по-французски, и мы кое-как друг друга понимали. Мы шли, я слушал. Внезапно я ощутил необычайное беспокойство. Не понимая, что со мной, я бросился вперед. Такое необъяснимое бывало со мной только во сне — или в далеком детстве... Я стал у правой стены, сляпая что-то вспомнить, уловить, — в ужасной тревоге. «Но ведь тут была дверь!.. Тут должна быть дверь...» — сказал я догнавшему меня гиду. Он отвечал мне, тоже по-французски, что-то удивленное, о чем-то спрашивал... Я бежал вперед. Следующая, будто знакомая зала, большая, угловая, поперечной левой частью заканчивалась только что пройденную анфиладу и поворачивала идущих назад вправо, во

второй ряд комнат, начинавшихся в правой ее стороне. В горячечной спешке я вбежал за открывшийся поворот и опознал следы того, что я искал: в стене, с этого боку уже виденной мною в той зале стены, были заметны очертания замурованной двери. Тут меня догнал гид. Он смотрел на меня, стараясь понять что-то. Какая-то сила тянула вперед, я не мог ей противиться, — рассказывал художник, — что-то похожее на прозрение в бреду. Я узнавал место, где никогда не был. Долго ли я метался по лабиринту Дворца? И был ли то лабиринт? Я вбежал в небольшую — сравнительно с другими — комнату. Потолок ее казался еще выше. На стене в тяжелой темной раме висел портрет. Он был, чудилось мне, зеркалом. На меня пристально смотрел я. Мой портрет, лучше того, что был на константинопольской выставке. Моя светлая борода курчалась под пальцами поднятой к ней руки — мои пальцы, моя рука. Мой рот готовился — чуть-чуть — улыбнуться, тем разрушая строгость черт выражения, которое не совсем удалось мне в том, турецком, автопортрете с беретом на уже начавших редеть волосах. Тут надо лбом темно золотились пышные волосы. Я был одет в наряд дожа. Чудесное сверкание красок бархата и шелков, мастерство кисти, на мгновение ошеломив меня как художника, отвлекло от разноречивого сходства. В этот миг кто-то тронул меня за плечо. Я с досадой повернул голову — и увидел потрясенное лицо моего гида. Он переводил взгляд с меня на портрет и снова смотрел на меня. Что он пробормотал, я никогда не разгадаю, потому что я не знаю итальянского языка.

Больше ничего не мог добавить к своему рассказу Булатов. Он только разводил руками, говорил о загадочности жизни... Кто-то спросил его, как он относится к теории перевоплощения.

— Ведь если стать на эту точку зрения, то многое станет понятным. Можно предположить, что в каком-нибудь из прошлых веков...

Память не сохранила того, что сказал он, несомненно умнейший и самый необычайный, самый вдохновенный из нас... В ответ Борис Михайлович (туманно запомнилось мне):

— ...что у человека есть двойник — то...

Но кругом шумели, и я не помню конца его мысли. А может быть, собственное мое несогласие требовало выражения — то, что я сказала, я помню.

— Ну и что же из того, — обратилась я к только что говорившему, упомянувшему Индию, Йогов, — что много различных учений объяснили бы это перевоплощением? Разве множество адептов — теософов, антропософов — доказывает их правоту? Их учение может быть тем не менее — ошибочно... Мне кажется даже убогим подобное толкование... Может быть, эта дверь ему когда-то приснилась? (Здесь можно чудесно впасть в лирику!) Сходство с портретом? Довольно-таки нищее размышление, что на нем самом, на Иване Михайловиче, столько лет назад был надет костюм дожа! Весьма скучное прозаическое объяснение...

— Ну, а как же вы объясните это? — возразили мне.

— А почему я должна объяснить? Разве таинственность не имеет права на жизнь? Разве мало ее вокруг нас?..

— Да, разумеется, — прервал Булатов, — трудно отрицать огульно... Но я лично никогда не занимался подобными темами, меня всегда интересовало только — Искусство! Объяснений не могу предложить... никаких... — И он перешел к своей теме — к живописи, к высокому мастерству художников Возрождения...

Прошло несколько лет.

Я, в тридцать девять, возобновила игру на рояле, стала брать уроки музыки у родной сестры Ивана Михайловича, Марьи Михайловны Сысоевой. Это была необыкновенная старушка: маленькая, в черном платье, с тоненькой золотой цепочкой часов, по старинной моде засунутых за пояс. Седые поредевшие волосы были заколоты пучком на затылке. Лицо ее было некрасивое, лишь голубые усталые глазки были очень умны, — волшебница, как их представлял в театре.

Брата и сестру связывала нежнейшая дружба.

Марья Михайловна стала приходить ко мне на четвертый этаж дома восемнадцать в Мерзляковском переулке. После урока мы пили чай и беседовали. Казалось, мы знали друг друга давным-давно... Услыхать же хоть изредка прекрасное качество ее игры на моем старом темно-желтом фортепиано было мне — праздник. Особенно помню я вечер, когда она долго играла Листа — и вспоминала, как где-то за границей давала концерт. «Все прошло?» Не совсем... До сих пор она исправляла руки студентов консерватории — «немецкие». Она без негодования не могла произнести это слово, считавшееся нормой у многих профессоров: если такое случалось с их учениками, они советовали им на несколько месяцев «отдохнуть»! Вот тогда-то маленькая старушка, не по той постановке руки некогда учившаяся и учащая своих учеников, в очень короткий срок возвращала консерваторским ученикам — их руки, рукам — клавиши, профессорам — учеников. И ходил слух, что многие из профессуры знали о волшебной старушке, хотя и не находили гражданского мужества сами — прийти к ней на поклон.

Разве это меньше достойно удивления, чем то, что испугало венецианского гида, или чем то, что произошло потом? Жизнь окутана тайнами, и было бы трудно пробираться через них, если бы не было дано человеку способности задумываться и постигать.

Марья Михайловна имела трудных детей и много забот, бедность и старость уже начинали ее угнетать, но одной из главных забот ее был брат Ваня. Семьи он не имел, и она всю жизнь его опекала... И вот однажды, придя ко мне на урок очень расстроенная, она сказала мне, что брат ее заболел. Нервное переутомление, его кладут в больницу. Марья Михайловна чего-то не договаривала. Что-то смущало ее в нем. Она еле отвечала на вопросы. Чем я могла помочь? Я постаралась лучше сыграть все заданное и скорее усадить ее за чай, подкормить: она, старенькая, иногда уже и задремывавшая у рояля ученика, не отказывалась — в пути между уроками, порой на разных концах Москвы, — согреться в ласковости любивших ее семей, перекусить перед далекой дорогой. Сегодня она еле прикасалась к еде, не вошла сердцем в уют чаепития. «Ах, Ваня, Ваня...» «Когда же теперь пустят к нему?» «Хорошая ли больница?» Она отвечала невпопад, торопилась. Но мы все-таки условились о следующем уроке.

Исполнительная, она пришла, но, еще ничего не узнав о брате, была неспокойна. Я старалась убедить ее в том, что Ивану Михайловичу будет хорошо в больнице — отдохнет! — и питание, конечно, лучше, чем в их малоустроенной жизни... Так прошло еще урока два-три. Мне показалось, что у моей учительницы немного отлегло от души. Но когда я в этот раз спросила ее, удалось ли навестить брата, в старческих глазах ее появилось выражение еще углубившейся боли. Но она знала, что я ее люблю.

— Ваня не узнал меня! — сказала Марья Михайловна. — Или вид сделал, что не узнал... — медленно размышляла она вслух. — Он похудел, он мало кушает, но главное, он... не говорит — ни с кем. Он сначала отвечал на вопросы доктора, а потом — замолчал. Ни словечка — никому! Доктор сказал: «Понаблюдаем, потом будем лечить». Ну, что ж, давайте сыграем...

В тот раз я видела у нее слезы в глазах. Теперь они были сухи. Но уж лучше бы она плакала... Я села играть.

И пошли наши уроки в ее углубленном молчании и в спешке уйти.

— Молчит! — говорила Марья Михайловна. — И все меньше кушает. Надо что-то найти... сготовить, что бы ему понравилось... Изюму у Елисеева достала — целое сокровище! Если бы любимые его восточные сладости — да где ж их теперь найдешь?

Искала и я — но не те времена были. Питались мы тогда — сурово.

Я очень старалась хорошо приготовить урок и получила похвалу за «Лунную сонату» — одолела вторую, не нравившуюся мне часть. Морщинистое личико Марьи Михайловны посветлело. «Неплохо, неплохо»

хо. Поработали!» — сказала она своим прежним голосом. Но, может быть, не во мне было дело. За чаем она сообщила мне с каким-то знакомым выражением лица — точно силится отгадать что-то:

— Какое-то движение в его болезни! Вчера мне сиделка сказала: «Начал бормотать что-то!» И сегодня бормочет... Нагнулась я к нему — понять нельзя, а интонации будто веселые... Несколько изюминок в рот взял.

В следующий раз она вошла — повеселевшая и сама.

— Лопочет! — с порога сказала она. — Доктор ведь говорил: «Как вернем ему речь — так дело пойдет на выздоровление!».. Только вот не порусски он говорит! По-турецки? Обещали мальчишку достать — мать у него турчанка была, из Турции ее один наш солдат вывез — влюбился! Сама-то она умерла, но мальчишка от нее научился — может, с ним хоть поговорит, вспомнит Константинополь!

Я с интересом ждала вестей. Но Марья Михайловна пришла огорченная.

— Приводили мальчишку! Старался понять, самому интересно — мать, говорит, вспомню! Ни с кем после нее не говорил! Слушал-слушал, спрашивал Ваню — ни тот, ни этот! Точно и не жил в Константинополе!.. Отдала я мальчишке — изюм, с горю! Подросток уже, а обрадовался... А Ваня все равно его только по шутке...

И вот когда дело еще больше запуталось — оношло разясняться с другого конца, хоть и малопонятно. Доктор пытливый не оставлял надежды разобраться в странном пациенте. К нему стали приводить людей, знавших французский, учившихся в школе немецкому (в этих странах много различных наречий), — но никто из них не понял ее Ваню. Вспомнил, наконец, что в другом отделении больницы работает медсестра, отец которой был женат не то на англичанке, не то на венгерке, доктор попросил и ее попробовать счастья. Что пациент уже не безнадежен, было ясно — вместе с речью, хотя и невнятной, вместе с процессом речи больной стал понемногу есть. Сон тоже стал глубже — без сновторных. Доктор повеселел.

Гостя из соседнего корпуса произвела в неврологическом отделении — фурор: с первой же минуты, сев возле больного художника, прислушавшись к его тихому бормотанию, она что-то сказала ему. Больной широко раскрыл глаза — и они оба защебетали все громче и громче, а затем медсестра (веселая была — «Я вся в мать!» — она потом говорила), смеясь, обернулась — только няня одна проходила палатой, да еще сестра больного вышла в этот миг (начало приемного часа) — «Да он у вас говорит на нашем чистейшем тосканском наречии! По-русски не говорит? Так он же — итальянец!»

С того дня Булатов стал день ото дня поправляться, медсестра заходила к нему каждый день, и они вели веселую беседу. Только странное начало делаться с речью Ивана Михайловича: он вставлял в свою возвратившуюся речь — русские слова, их делалось все больше и больше, они смешивались с тосканийскими (хорошо, что медсестра была полуитальянка-полурусская!). Она по-прежнему понимала Ваню — но отвечать ему на этом смешанном языке ей было трудно, да оно уже и не требовалось по ходу лечения — русская речь возвращалась в том же темпе, сказала Марья Михайловна, как исчезала итальянская, больной уже узнавал всех, ел, спал... Доктор попросил медсестру более не беспокоить больного — и к моменту выписки его из больницы Иван Михайлович нацело забыл итальянский, которого он, впрочем, «никогда и не знал!» Он сказал это сам, когда неосторожные внуки сестры с любопытством стали расспрашивать о его «приключениях».

— Итальянского — не знал! — просто ответил он. — В Италии я был всего несколько дней, в Венеции, Флоренции и Риме. По-французски говорил плохо. Но все-таки этот язык мне там помог...

— А говорил, турецкий знаешь, — дерзко сказал беспечный юнец старику, — а мальчишку-турка не понял!

— Какого мальчишку? — спросил Иван Михайло-

вич, но в это время пришла Марья Михайловна и замаяла, рассердясь, этот разговор.

Вот все это я рассказывала — друзьям. Но никогда я не делала этого так подробно, как в последний раз, уже на восьмом десятке лет. И решила записать этот случай, чтобы он не ушел со мною. Но я ощутила это как долг, может быть, потому, что, как в тот день, когда сам Булатов нам рассказал о себе во Дворце дождей, так и вновь последовала беседа различно об этом думающих. Давно уже не было с нами ни его самого, ни Бориса Михайловича Зубакина, ни сестры Булатова... Но мне хочется записать слова прослушавших мой рассказ.

— По-моему, это великолепная иллюстрация к теории о перевоплощениях, — сказал довольно молодой человек. — Чем другим можно объяснить рассказ этого художника, если верить вам и ему, что это — был ли?

— Вот этому можете верить — безоговорочно, — сказала я, — что же касается теории перевоплощения — я, прожив жизнь, могу сказать только, что она по-прежнему кажется мне — вульгарной. Точно надо прожить *x*-количество жизней, чтобы понять что-то! Точно истина не является нам иногда — в один момент! Какая лень — какое отсутствие чувства драгочности данного часа, ответственности дремлет где-то в этих повторных явлениях на земле... К чему тут наряд дождя, когда-то на тебе висевший? Надо считать человека чем-то ужасно тупым, чтобы согласиться с такой организованной средней повторности! И где вы видите этот рост? Разве в глазах и в верности собаки часто не много больше благородства, чем в ином человеке? Прогресс, регресс зависят от самого человека в каждый идущий миг!..

Я остановилась, чувствуя, что говорю слишком долго. И уже стоял среди нас мне знакомый, явно ждущий конца моих слов: они, может быть, были ему прозаичны?

— Я только хотел сказать... Вот этот необъяснимый миг — я не знаю, это со мной часто бывало, особенно в детстве! Что это все уже раз было — эта комната, окно, дверь, — мы даже предчувствуем, что сейчас кто-то скажет, уже когда-то сказал... — Говоривший замолчал, ища слово. — Это нельзя объяснить, но чувство очень сильно. Оно уже в литературе называется «*déjà vu*»... Значит, так оно и было — когда? где?

— Мне думается, — сказал молчавший дотолечеловек, — дело еще проще. Оно кроется в генах. Воспоминание передается по наследству — и может быть очень давним. Это еще малоизученная область, но в ней таится ключ ко многим загадкам... Человек несет их в себе. Но живет он — один раз...

— Вы, наверное, правы, — сказала я, — если, может быть, кому-нибудь хочется знать еще о Булатове и его сестре, я могу сказать, как они оба — умерли, хоть это относится сюда не более того, как смерть относится к жизни. В 1941—42 годах в деревне Жары, куда их вывезла мой друг Мария Ивановна Кузнецова-Гринева, они жили в эвакуации, пока их носила негостеприимная тогда земля. Сестра своими старыми пальчиками, так игравшими Листа, перебирала в овощехранилище вместе с актрисой Кузнецовой-Гриневой картошку — и тем кормила брата и себя. «Мириам! — говорила она. — Спасибо тебе, что взяла нас с собой!» Она была кротка, весела — пока не слег ее Ваня. Он болел не долго, но все повторял, что Пасху они встретят вместе с сестрой! Он не дожид до этого дней десяти. «До восхода солнца — доживу!» — сказал он. Ночь прометался. При первых лучах солнца сказал: «Ура!». Это было его последнее слово. Сестра его после него легла, сказав: «Не будите!» И все спала и спала. «Мы ведь уговорились с Ваней встретиться вместе Пасху», — сказала она еще. Она умерла накануне Пасхи, в страстную субботу 1942 года.

1934—1985



**Екатерина
ВАРНАВА**

А МОЖЕТ, ВСЕ ЭТО ПРИСНИЛОСЬ?

Записки об Индии

*Нашей дебютантке
Екатерине Варнаве 30 лет.
Москвичка. Окончила МГИМО.
Работала редактором в Гостелерадио.
Ее очерки были напечатаны в газетах
«Советская культура», «Неделя»,
в журнале «Природа и человек».
В 1983 году уехала с мужем в Индию,
где начала эти записки, которые —
в сокращенном виде —
мы предлагаем вниманию читателей.*

Рисунки В. Скрылева

Я уезжала в Индию, впервые так надолго отрывалась от дома, друзей и Москвы. Я уезжала в сказку, в жару, бессонные ночи, муссонные дожди и тропические болезни. Я уезжала в сгусток печальных событий и не предполагала, что увижу Индию в белом цвете траура — убита Индира Ганди, вскоре гибнут тысячи бхопальцев.

Что я узнала и что поняла за это время? Не узнала почти ничего. И чем больше жила и видела, тем меньше, казалось, понимала. Но все больше и больше влюблялась. А потом поняла: сказка — это когда со стороны. Когда сидишь в зрительном зале и смотришь на сцену. А на сцене все экзотично, красочно, в блесках. Сменяются декорации, актеры, суфлеры. Жанры... А вдруг все это время я проспала и то, что видела наяву, пришло ко мне как бы во сне? Но все это трудно придумать...

Я уезжала в Индию.

Самолет, как одинокий лыжник, скользил, почти касаясь снежного бугристого поля облаков. Они лежали плотно-плотно, будто снежный покров здесь никогда не исчезал и не таял, и казались твердыми, тверже, чем сама земля. Иногда вдруг снежное поле резко обрывалось, но и тогда не было ощущения, что под тобой — бездна, как самые глубокие впадины Мирового океана. Думалось, что это — озерцо, только только схваченное морозцем, прозрачное, не запыленное еще снегом, просвечивающее насквозь, до самого дна. А наверху, над ним, — небо, черное, в которое проваливаешься взглядом, страшное, далекое и одновременно давящее, с холодными, мелкими зимними звездами. Погода в этой вечной снежной долине никогда не менялась.

Свет в салоне притушен. Почти все спят. Через иллюминатор, покрытый земными морозными узорами, видна далекая полоска облачно-снежного горизонта. Он слегка подсвечен, и непонятно, откуда идет этот свет — то ли сверху, то ли снизу, то ли горизонт светится сам собой... И все вокруг застывшее, недвижимое, скованное морозом, но не мертвое. Ведь это встает солнце — медленно, лениво, будто нехотя. Фиолетовое небо перестает давить, поднимается выше, уносит с собой поблекшие звезды. А горизонт светлеет быстрее и быстрее, надвигается, высвечивает уже полнеба. И смотреть на небо, четко разделенное пополам — на одной половине утро, на другой ночь, — так же необычно и удивительно, как увидеть в заброшенном зимнем саду только что распустившийся куст шиповника с новенькими колючками и нежными цветками, выросший на оазисе оттаявшей и прогретой земли. И сначала не понять, что тут необычного. Или просто не поверить глазам. Ведь не каждый день можно увидеть то, чего не бывает на свете. А уж если увидел, то впитать в себя, запомнить, осознать, раствориться в чуде.

Когда смотришь с земли, смена дня и ночи — вовсе не чудо. Оно спокойное, привычное, закономерное и постепенное, это явление. А с высоты выглядит совсем по-иному — будто кто-то провел сверху по небу линию, которая отделяет день от ночи, и даже нет сумерек: или день, или ночь.

Солнце выпирает снизу, приподнимая облака, как забродившее тесто поднимает крышку и рвется наружу. Уже начинают выплескиваться первые раскаленные капли, а это вспучивающееся облако, вероятно, самое главное на небе, удерживает солнце из последних сил. Облака вокруг, так и не раставя и не потеряв своих очертаний, горят ярко-рыжим огнем, и от них пышет жаром адского пламени.

Огонь разгорается все сильнее и сильнее, и кажется, что варится роскошное, божественное блюдо. И будет готово вот-вот. Из главного облака поднимается пар, и жалко, что ничего не слышишь, — вокруг, наверное, все шипит, пенится и лопаются, а божественные капли, падая на раскаленные адские угли,

источают необычайный аромат. Через мгновение облако-кастрюля взрывается, вероятно, с грохотом, хотя этого не слышно, и огненное месиво разливается, не приобретая еще определенной формы, по дымящимся облакам. А еще через мгновение молодой рыжий шар, несущий жизнь всему живому, легко оторвется от родивших его облаков и уйдет вверх, чтобы внизу, на земле, начался новый день. Так рождается новый день, так рождается ежедневное чудо.

Приезд

«...Наш самолет совершил посадку в столице Индии городе Дели. Температура воздуха плюс пятьдесят один градус. Командир корабля и экипаж прощаются с вами. Всего доброго. Лейдиз энд джентльмен...» — продолжал репродуктор.

— Пятьдесят один! — Я в растерянности взглянула на Никиту. — Говорили ведь, что не больше сорока!

— Ась, перестань капризничать. Тем более что сделать ничего нельзя, — вяло возразил Никита.

Толпа в проходе зашевелилась, загудела и двинулась наружу.

Вышли. Вернее, сделали первый шаг по трапу. Пятьдесят один градус.

Воздух не «раскаленный» и не как «в финской бане». Его просто нет. Вместо него в легкие вливается кипящая тягучая жидкость.

— Ничего себе, как тут подтапливают, — присвистнул Никита.

На высоком потолке аэровокзала еле-еле крутились фены, перемалывая душный, насыщенный воздух и обдавая взмокших людей горячими, как из сопла реактивного самолета, потоками.

— Нас кто-нибудь встречает?

— Должны, — растерянно ответил Никита. — В крайнем случае, я знаю адрес.

Большая очередь пассажиров тянулась к хилой стойке с надписью «неиндийцы». После тщательной проверки паспортов красивый усатый офицер в чалме цвета хаки шлепнул печатью с трехглавым львом и вернул паспорта обратно.

— Никита, мне плакать хочется...

— Здесь неудобно. Придешь домой, поплачешь, — разрешил Никита.

Затарахтели резиновые конвейеры, поехал, чуть покачиваясь, запыленный и помятый багаж, усталый, как и сами пассажиры.

— Борисовы! — донеслось до нас.

Мы испуганно обернулись и увидели спешащего к нам молодого краснолицего человека в очках.

— Вы Борисовы? — спросил он.

— Да.

— Здравствуйте. Я из консульского отдела. Меня зовут Андрей Стругалин, — представился он.

— А нет ли у вас с собой документов? — недоверчиво спросил Никита.

— Да, конечно. Вообще-то вы правы, — улыбнулся Стругалин и вынул из нагрудного кармана рубашки удостоверение.

Работа была интересной. Местные старожилы — журналисты из трех ведущих газет — приняли Никиту довольно сдержанно. Как же, молодой слишком, тридцать один год всего... Они в эти годы, помнится... Но в советах не отказывали.

Никита был доволен. Газета требовала материалы два раза в неделю, и Никита всегда был точен. Кроме того, он, как обычно, много фотографировал.

И теперь привезенные с собой фотографии друзей и даже любимых московских улиц закрывали довольно большое пространство на синей стенке нашего нового жилья.

— Никит, помнишь, мы тут кипятильники покупали? — Я показала на фотографию Каретного ряда, на которой еле угадывался наш «придворный хозяйственный».

— Аська, это же было перед самым отъездом, всего неделю назад, — засмеялся Никита.

— Неужели неделю? Мне кажется, уже год прошел...

«Дорогая бабуля!

Сначала о делах. Почитай, если не видела еще, газету за 10 июля. Там первая Никиткина статья! И написано: «Наш собственный корреспондент в Дели Никита Борисов приступил к работе. Предлагаем читателям его первый репортаж». Здорово, а? Мне это понравилось ничуть не меньше, чем сама статья. А про свадьбу на слонах хорошо написал. И про Дели, каким он его увидел с самолета. Я-то уверена была, что он спит, а он, оказывается, работал... Молодец, правда? Я так рада, больше него, наверное. Первая, она всегда самая главная. Точно знаю, что ты читала, но на всякий случай повторяю еще раз — 10 июля, ищи в единственной газете, которую ты выписываешь. Третья полоса (страница), в самом низу.

Мы понемногу осваиваемся в городе. Это оказалось совсем непростым делом. Тем более в таком городе, как Дели. Я была уверена, что через неделю-другую по приезде все буду знать досконально. Но не тут-то было. Жутко много неожиданностей. Никак не могу привыкнуть, например, к левостороннему движению. Неожиданность известная, но заставляющая сердце в пятаки уходить с непривычки — оно там и остается, пока мы не возвращаемся домой. И вначале удивление берет, как это одиноко сидящий пассажир может ехать без водителя. Хотя водителей-одиночек в основном мало. Большинство машин набиито до отказа. Сидят по восемь-десять человек в одной машине. И ничего, не останавливают. Та же перенаселенность на мотоциклах и велосипедах. Семьи большие, транспортные возможности маленькие. Представляешь, обыкновенный мотоцикл, на нем сидят глава семьи, сильно располневшая мамаша в ярко-желтом сари и немыслимо красном мотоциклетном шлеме, старший сын и трое маленьких, расованных, кто где — один у мамы на руках, другой привязан ремнем к багажнику, третий, как штурман, стоит около руля. И ничего. И все нормально.

А велосипед? Та же семья, только на несчастном драном велосипеде. И едут. Скрипят, но едут. Медленнее пешехода, но зато все вместе. Хорошо!

А коровы? Ничего удивительного, они тоже имеют отношение к городскому транспорту. Лягут на проезжую часть, и никакими силами их не сдвинешь. Полежат, отдохнут и бредут дальше. Это те самые священные индийские коровы — белые, горбатые, мелко-головые, совершенно не похожие на наших — толстенных, загадочных, с такими коровьими глазами... А местные коровы живут спокойно в городе, расхаживают по маршрутам, известным только им, собираются в стада или ходят поодиночке. Время от времени, когда коров становится слишком много, их в специальных загонах вывозят подальше за город, чтобы они не создавали пробки на центральных улицах.

Теперь, бабуль, про автобусы. К ним относятся даже почтительнее, чем к коровам. Они имеют преимущественное право проезда по всему городу. Эти «динозавры» останавливаются окончательно лишь раз в день — в автобусном парке. А чтобы принять или выпустить пассажиров — зачем же останавливаться? Поэтому пассажиром в Индии может быть только хорошо натренированный человек. Представляешь, автобус медленно подползает к навесу, и на тех двадцати метрах, которые отведены под автобусную остановку, пассажиры должны прыгнуть из салона на землю, а другие, подобрав полы сари, многочисленных детей и европейские кейсы, втиснуться, по возможности ничего не потеряв, внутрь. И если учредить приз на самого ловкого, быстрого, цепкого и виртуозного пассажира мира, то его, ей-богу, получат индийцы. Нашим усталым москвичам такое и не снилось. На это, пожалуй, способны лишь каскадеры «Мосфильма». Но ты не волнуйся, я в автобусах не езжу.

А самый распространенный вид транспорта — моторишка. Устройство похоже на мотоцикл с коляской. Только коляска не сбоку, а сзади. И с крышей. Жел-

тый низ, черный верх. Впереди водитель, сзади два пассажира. Жуткий треск, и разоваривать во время движения невозможно. Любой транспорт, за исключением автобусов, должен пропускать «скуттеры», как их здесь называют. Сначала едут автобусы, потому что эти железные громы ненаказуемы, и лихачество в данном случае может кончиться весьма плачевно; за ними уязвимые скуттеры, а потом все остальные. Скуттеры очень украшают города. Каждый водитель — а водители в Индии в основном сикхи — так наряжает свои маленькие коляски, что глазам больно смотреть. Чаще елочными украшениями — блестящей мишурой, золотым и серебряным дождем, а сзади, под кабиной, обязательно висит башмачок на счастье. Вся кабина внутри и снаружи разрисована, приклеены яркие пластмассовые фигурки, на окнах вешают разноцветные занавесочки. И когда подкатывает такое сказочное «нечто» на колесах, становится весело и хочется, чтобы тебе было пять лет.

Но украшают, оказывается, не только для красоты. Так безопаснее. Ведь чем больше ты блисташь, тем ты заметней.

Автобусы, скуттеры, коровы, легковые машины, пешеходы. Иногда попадаются буйволы, верблюды и совсем редко — слоны. Тропуаров нет, и поэтому вся эта фыркающая, ревушая, гудящая, кричащая и дымящая толпа безо всякой рядности стоит на светофоре. Светофоры, кстати, тоже редкость. Их решили ввести несколько лет назад, к азиатским играм, но сначала основная масса водителей и пешеходов расценила их как оригинальное украшение на перекрестках. А как же — мигает! Красненький, желтенький, зелененький... Красиво! У кого был любимый цвет красный, тот ехал на красный. Вскоре около каждого светофора появился полицейский-учитель. Своим жезлом, как учительской указкой, он тыкал в верхний красный сигнал, а другой рукой подавал знак, что при этом свете положено остановиться. При зеленом быстро гнал мимо себя машины, не забывая одновременно показать на сигнал — смотрите, не забывайте. А когда загорался желтый, делал характерный жест: мол, сейчас, подождите, я вам все устрою, и вы опять сможете поехать. В общем, детский сад. Но через несколько лет вроде ничего, научились. Хотя на красный можно проехать и сейчас — мало ли что, вдруг ты очень торопишься. Нарушение-то небольшое.

А сигналы, которые подают водители? Это отдельный разговор. Мигалки есть на всех машинах, но ими не пользуются. Чего проще — высунуть из окошка руку и показать, мол, едешь направо. Или попросить пассажира высунуть левую руку — едешь налево. Хочешь обогнать — гуди. Не хочешь пропускать — высунь руку ладонью к спешащей машине. Хочешь пропустить — опять же высунь руку и помаши, проезжай, мол, можно. Просто и развивает человеческое общение. Сигнализировать не запрещается. Наоборот. На всех грузовиках и автобусах написано крупными буквами: «Гудите, пожалуйста». Представляешь? С грузовика или автобуса водитель может и не увидеть маленькую легковушку, но услышит-то обязательно! Звук клаксонов придает городу своеобразный железнодорожный шум. На большинстве машин, в основном на грузовиках, стоят сигналы от... электрички. Поэтому, когда выезжаешь в город, невольно вздрагиваешь, если за тобой вдруг раздастся истеричный электричкин крик. Едешь-то не по шпалам...

А что если послать в Дели московского гаишника? Хотя бы в короткую командировку. Жалко мне его, пять минут не продержался бы...

Большой привет маме и тете Маше. Пиши.

Твоя Ася».

Красный Форт

В Красный Форт, крепость, окруженную глубоким ровом и высокой красной каменной стеной, можно попасть через два входа — один центральный, который смотрит на знаменитую Чанди Чоук, главную торговую улицу старого Дели, другой — правее, с высокими железными воротами, защищенными вдобавок острыми шипами от нападения вражеских слонов.

Через эти «слоновые» ворота мы и въехали вскоре после приезда в Дели. Гидом был Андрей Стругалин, который совершенно неожиданно для нас оказался дальним родственником наших московских знакомых.

Красный Форт — город в городе. У ворот стоит специальная охрана, правда, одетая несколько театрально: зеленая форма с золотой перевязью и огромный головной убор — яркий, ало-бело-зеленый с высоким красным веером на макушке, делающий солдата похожим на райскую птицу в период брачных игр.

В форте свои жители. Вдоль тенистых улиц тянутся двухэтажные однотипные дома, на окнах которых развешены пеленки и детская одежда разных размеров — в каждой семье не меньше пяти детей. А для индийской семьи пять детей — как один ребенок для нашей.

В Красном Форте есть все, что нужно маленькому городку. Даже своя тюрьма. Для особо опасных преступников. Хотя принадлежит она, конечно, не исключительно Красному Форту, а всему Дели.

В крепости имеется и маленький цирк, и, хотя его репертуар довольно прост, зрителей всегда хватает. А где еще можно понаблюдать сеанс левитации? Обыкновенная левитация: человек ложится на землю и аккуратно, медленно поднимается сантиметров на пятьдесят, от силы — на метр. И не привязан вроде никакими веревками, и зрители близко стоят. Зато когда этот человек приземляется — а исполняет «номер» всегда один и тот же довольно потрепанный индиец, — то сильно пыхтит и отдувается, показывая всем своим видом, что нелегкое это дело — стать на несколько минут невесомым. На вопросы не отвечает, потому что английского, урду и хинди не знает. И подниматься может отнюдь не каждый день, а только раз в неделю, когда у него хорошее летательное настроение.

Красный Форт — гиблое место. Особенно для женщин. Не сам форт, конечно, он исторический символ независимой Индии. А главное зрелище, ради которого в Красный Форт съезжаются все туристы, — ювелирная улица. Около каждого магазинчика обязательно стоит крохотный прилавок с дешевыми бусами, сувенирами и всякой мелочью. У каждого прилавка курятся палочки с благовониями — надо ведь создать загадочно-задумленную обстановку.

— Давайте заглянем сюда, — предложил Андрей и показал на вывеску с русскими буквами: «Магазин № 1 для советских покупателей. Добро пожаловать!»

Внутри — полумрак, подсвечен только застекленный стол. За витринами огромные слоновьи бивни, на которых вырезаны подвиги и бытовые сценки из жизни раджей. Стоят бивни баснословно дорого и покоятся так годами для украшения лавки, желтея и пылясь, но отнюдь не становясь дешевле.

Старый продавец в белом дхоти полулежал на полу. Рядом с ним на прилавке, у стены, фотография космонавта Берегового и одеколон от комаров «Гвоздика».

— Здравствуйте, мистер Гопал, — сказал Андрей. — Познакомьтесь, пожалуйста, это мои друзья, они будут работать в Дели.

Гопал довольно кивнул — клиентура растет. Он улынулся и указал на мягкую лавку.

— Что вы желаете? — услужливо спросил он.

— Просто посмотреть. Сейчас ведь все равно покупать ничего не будем, — предупредила я.

Продавец достал из-под прилавка большие плоские футляры, открыл их и любовно взглянул на украшения, стараясь зрительно запомнить их количество и место.

— Вот, посмотрите, — сказал он. — Этот красивый черный камень называется «блэк стар» — черная звезда. У вас в стране его нет.

Я рассматривала кольцо с черным овальным камнем. Он был хорошо отполирован, и в нем, как живое существо, бежала и переливалась яркая четырехугольная белая звездочка. Этот крестик жил сам по себе, загораясь на солнце и совсем умирая без света.

— Может, выпьете чаю или чего-нибудь холодного? — вежливо спросил Гопал.

В Индии такой обычай. Долг хозяина — предложить гостю чай с молоком или содовую и кампулолу.

— Нет, спасибо, в другой раз, — сказал Никита. — Нам пора.

— Вот вам сувенир от старого Гопала. — Старик протянул мне крупный розовый агат. — На память.

— Спасибо, — поблагодарила я. — До встречи.

— До встречи. Все женщины ко мне возвращаются, — ухмыльнулся он и опять завалился на подушки.

У магазина деревянных изделий — большая выставка фигурок, в основном «хэппи мэна» — «счастливого человечка». Его очень любят на Востоке. Этот смеющийся человечек с большой серьгой в ухе приносит удачу. Стоит только загадать желание и погладить ему три раза толстый живот — глядишь, желание исполнится. Поэтому у большого «хэппи мэна», стоящего при входе, настолько отполированный и потертый живот, что из здорового толстяка он превратился в тощего, но помолодевшего. Зато сколько исполненных желаний!

Я подошла к деревянному человечку и провела пальцами по холодному гладкому животу.

— Может, поедем домой? — вдруг решила я. — Я что-то устала от впечатлений.

— Честно говоря, первый раз вижу, чтобы женщины уходила отсюда сама по доброй воле, — засмеялся Андрей.

Холи

Официально весна приходит с праздником Холи. Хотя сама весна об этом не знает и приходит намного раньше. А к Холи уже набирает силу и по темпераменту не может сравниться ни с каким самым жарким нашим среднеазиатским летом.

Итак, Холи.

Холи — это праздник красок. Праздник, когда на тебе рисуют, как на стене или на листке бумаги. Причем сделать это может любой. И совсем не обязательно знакомый. Первый же прохожий, как только вы выйдете на улицу, сразу подскочит к вам с радостным криком и с невинностью младенца сыпанет в лицо горсть сухой краски, а потом подставит свою голову и будет ждать, когда же вы наконец догадаетесь последовать их примеру. Некоторые выводят на чужом лице совершенно непонятные знаки и линии и делают это с видом великого художника или с усердием первоклассника. Приходится терпеть.

Но начинается все накануне. Целый день перед Холи женщины собирают хворост и складывают его недалеко от дома. Чаще всего этим занимается несколько семей, а иногда и вся деревня или целый городской район. Горы веток растут на глазах. Еще бы, чем сильнее и выше будет костер, тем быстрее сгорит демоница Холика. Она была заколдована от огня и не могла сгореть. Решила она однажды погубить мальчика Прахлада, который был страстным приверженцем бога Вишну. Зная, что заговорена она от огня, взяла Холика на руки мальчика Прахлада и взойшла на костер. Взмолился тогда мальчик богу Вишну, прося о помощи. Не смог отказать бог Вишну Прахладу и снял чары с демоницы. Сгорела Холика, а мальчик вышел невредимым из огня. С тех пор, говорят, и празднуют в Индии день смерти страшной и коварной Холики.

Всю ночь по всей Индии горят костры. В каждом, даже самом маленьком пылает Холика. К следующему утру, можно считать, Холика истреблена по всей стране на целый год. Теперь можно начинать праздник.

Краски — зеленые, красные и желтые — продаются повсюду на лотках. Водяные пистолеты и огромные пластмассовые шприцы тоже — это орудия для специальных водных красок, которые не смываются ни одним стиральным средством. На этот счет, чтобы разноцветно облитый пострадавший не очень расстраивался, можно купить простую полотняную одежду, которая так и называется — «Холи-костюм».

Холи — абсолютно необычный праздник. В нем столько эмоций и темперамента, столько наивности и терпения, столько дружелюбия и смеха, что кажется, все вместе, разом — такое увидеть невозможно. И тем не менее это так. Ни в какой другой день нельзя подойти на улице к совершенно незнакомому человеку, облить его краской с головы до ног, а в ответ услышать не ругательства и угрозы, а заливистый счастливый смех. Обижаться никто не имеет права. Да и зачем — это же так весело!

Холи не спутаешь ни с каким другим праздником.

Холи — это когда выходишь утром из дому в белоснежной рубашке и штанах, а возвращаешься к вечеру весь измазанный, с ярко-зеленым лицом, красными волосами и разноцветным нарядом, словом, выглядишь, как в страшном сне художника-абстракциониста.

Холи — это когда приходит весна, буйно зацветают деревья и человек хочет хоть в чем-то стать похожим на них, хоть самую малость, хоть ненадолго.

Холи — это когда все вокруг друзей. Любой, совсем незнакомый человек становится самым близким другом. В Холи нельзя делать подлости, совершать плохие поступки.

Холи — это радость, которая выплескивается на людей вместе с красками, охватывает тебя, заражает все вокруг и идет, идет, передаваясь от человека к человеку, от семьи к семье, из дома в дом.

Холи нельзя сравнить ни с чем.

А нужно ли сравнивать?

«Дорогая бабуля!

Как ты там? Как наши? Как Москва? Знаю, что на все эти вопросы сразу не получу ответов, и поэтому пишу про нас.

Вчера ходили с Никитой на рынок. Я была на рынке и раньше, так, больше для экзотики, но ничего не покупала — все овощи и фрукты мы брали в магазине. Но сейчас уже обжилась и знаю, что покупать, хотя половина продуктов, которые продаются на рынке, совершенно мне не известны. Одни овощи, например, нужно замачивать на день в подкисленной воде, тогда из них уходит какое-то вредное вещество и они становятся жутко полезными. Поди знай! Другие совсем нельзя есть сырыми — лишь засаливать, а третьи вообще идут на корм скоту.

Местный рынок похож чем-то на наши восточные, только все разложено на земле, а продавцы, в основном мальчишки, кричат — один громче другого. И все очень терпко пахнет. Из-за жары, наверное, запах становится резче. Ряды длинные, и пока дойдешь до середины, солнце так нагреет, что нужно в тень.

Еще я видела, как обедают торговцы. Подходит индеец с огромным подносом на голове, заставленным разными баночками. Вместо тарелки — широкий высушенный лист какого-то растения. На него кладут рис, вареные овощи и поливают все очень острыми соусами из баночек. Вот и весь обед, который съедается в считанные минуты. А потом можно съесть банан, и не просто запихнуть в рот, как я это обычно делаю, а со знанием дела. Банан раздевают с одной стороны (другая получается как подносик), глубоко надрезают вдоль, густо посыпают красным перцем и поливают ранку лимонным соком. Я попробовала дома — так здорово и совершенно необычно. А после обеда все обязательно чистят зубы. Не щеткой, а просто пальцами. Индийцы считают, что при этом не повреждается эмаль. Им можно верить — таких белых зубов я нигде ни у кого не видела. Очень смешно смотреть, как они стоят после обеда, полощут рот и тщательно чистят зубы. Нам бы так за собой следить.

Еще я заметила, бабуля, что здесь совсем другое солнце. Оно ярко-белое, почти бесцветное и на вид жутко холодное. Если, например, смотреть на него по телевизору, можно подумать, что светит оно на Северном полюсе. Хотя жжет неумоვნно. Тут совсем нельзя загорать — загара не получается, сплошной ожог. Солнце скорее похоже на полную луну, которая иногда видна перед вечером. Не то что у нас — желтенькое, мягкое и не такое искусственное. А ме-

ся, кстати, очень смешно к небу подвешен — рожами вверх, как обгрызенная арбузная корка на столе.

А еще очень мало животных. Я имею в виду домашних. Не так, как в Москве, — каждый второй с собакой. Тут их почти нет, только у очень богатых, европеизированных. Содержать собаку здесь, конечно, намного труднее. После каждой прогулки надо обирать клещей. А такую жару, честно говоря, и не каждая собака выдержит.

У нас есть свои домашние животные — пара геккончиков. Они поселились в доме сами, без разрешения, но выгонять их нельзя: говорят, это к счастью. Пусть живут. Гекконы — такие ящерки, которые ползают только по стенам и потолку. Я назвала их Машкой (в честь тети Маши) и Федей. Хотя, может быть, они оба — мальчики. Они очень смешные и одновременно серьезные, тихонько топают своими пальчиками-прилипалами по стенке и вылезают из укрытий (а живут у нас в люстре) лишь к вечеру. Машка, между прочим, недавно очень напугала Никиту. Он сидел на диване, подняв ноги на спинку кресла около стены. Вдруг я слышу жуткий вопль. Прибегаю в комнату — Никита прыгает на одной ноге и сдерживает с себя штаны, при этом что-то тихо бормоча. Оказывается, Машка (у нее черная полоска на голове) вползла Никите в штанину и стала карабкаться вверх по ноге, решив, что нашла прекрасное укрытие. Бедный Никита, как он перепугался! От неожиданности и от страха — мало ли кто это мог быть, может, змея какая. Но лично я не могла сдержаться от хохота. Ты представь себе эту картину! Больше всего, конечно, досталось бедной Машке — она после этого случая не появлялась несколько дней.

Вот, бабуль, как мы весело живем. За нас не волнуйся, мы здоровы. Ты читала Никитину статью от 21 сентября?

Крепко тебя целую.
Твоя Ася».

Приусадебные джунгли

Никита диктовал по телефону:

— «Ученые института плантационных культур в штате Керала, диктую расшифровку — Ксения, Екатерина, Роберт, Алла, Лидия, Алла, — вырастили саженцы-клоны из ткани листьев кокосовых пальм. Обычно кокосовые пальмы на юге Индии дают в среднем до 30 орехов в год. Но встречаются экземпляры, приносящие от 200 до 400 плодов. Получение от этих рекорсменов саженцев-клонов, как полагают ученые...»

Я просматривала утренние газеты и слушала, как Никита читает. Я всегда старалась быть рядом во время диктовки и внимательно следила за каждым Никитиным словом, короче, была для него редактором-выпускающим. Я гордилась. Никита вообще хотел приобщить меня к своей работе — брал с собой на открытие выставок, таскал на митинги, а потом требовал от меня «письменного отчета». Я старалась, пытала над каждым словом, как школьница, грызла карандаш и смотрела в потолок. На первых порах все-таки садилась за «домашнее задание», чтобы не огорчать Никиту, который по-настоящему расстраивался, когда у меня не шло дело. Но быстро поняла, что нужно это не ему, а мне самой. Поэтому, когда в газете прошла маленькая заметочка А. Борисовой об открывшейся в Дели экспозиции из Эрмитажа, это стало для нас с Никитой целым событием.

— Вот теперь мы настоящая журналистская семья, — заявил Никита. — Так над чем, коллега, вы сейчас собираетесь работать? — спросил он и дернул «коллегу» за хвост.

Никита кончил диктовать и теперь внимательно слушал, как стенографистка перечитывала текст.

— Спасибо, все правильно. Да, Борисов, Дели. И еще одна просьба, Леночка. Позвоните, пожалуйста, нашим, скажите, что у нас все хорошо, все здоровы, и передайте привет. — Никита улыбнулся чему-то. — Везет же людям, а у нас плюс 34° и дождь стеной... Да нет, это вам только кажется, что благо-

дать. Как в турецкой бане, ходишь постоянно мокрый. Спасибо... Когда вызывать будете? Хорошо, тогда до субботы... — Телефон беспомощно звякнул. — Аськ, отделился легким испугом, два раза не пришлось перечитывать, а то с прошлого раза горло еще болит. Спасибо, связь была хорошая. А в Москве настоящее бабье лето...

Я выглянула в окно. Долгие муссоны, иссякающие уже и истратившие всю свою яростную силу, насытили наконец землю, и оттуда так буйно полезла молодая зелень, что меньше чем за месяц перед окном вырос кусочек девственных джунглей, к которым я очень бережно относилась. В этом «лесу» уже завелись свои обитатели. Самый занятным был подросток-хамелеон, не совсем хорошо понявший, что такое мимикрия и как ею пользоваться. Хамелеончик то ли не набрался еще опыта, то ли не видел никогда настоящих врагов, то ли просто страдал от одиночества и очень хотел, чтобы его заметили. Сидя на ветке и зацепившись за нее мощным закрученным хвостом, он принимал сначала исходный цвет — скромненький серовато-песочный. После этого сразу заболел желтухой и, когда видел, что на него мало кто обращает внимание, зеленел от злости. Потом он светлел, светлел и вдруг, поднатужившись, заливался румянцем с головы до хвоста, будто стыдясь своего поведения. С зеленым, желтым и красным все было хорошо — хамелеон репетировал этот светофор довольно часто и совершенно без нужды, сидя на скромной темной ветке. Совсем плохо дело обстояло с синим. Это, вероятно, было верхом хамелеонского искусства и поэтому недоступным молодежи. А малыш честно старался добиться своего — казалось даже, что он пыхтит от напряжения, пытаясь хоть на секунду стать синеньким. Но только бурел, грязнел, изредка голубел какой-нибудь частью тела и уходил, сконфуженный, в глубь листьев. Дождь он не любил.

Колибри, те чувствовали себя совершенно спокойно в дождевом воздухе, ловко увертываясь на лету от крупных капель. Эти подобные бабочкам птицы всегда были при деле — совали длинненький, чуть изогнутый клювик в растущие на деревьях цветы, с большим наслаждением, закатив глазки, пили нектар и так же бесшумно и легко перелетали к другому цветку. В отличие от мухающего дуры хамелеона эти крошки выглядели вполне работающими.

Я смотрела в окно на этот «мир животных» и мечтала, что вдруг подойду как-нибудь к окну, а в садике под зонтиком сидит на мокром плетеном стульчике Дроздов или там еще кто и говорит: «Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас есть хорошая возможность познакомиться вас с представителями отряда пресмыкающихся...» — а сам неловко так держит в руках кобру или удавчика, зажав зонтик, как телефонную трубку, между плечом и ухом...

На улице и дома

Темнело быстро, почти моментально, и был едва заметен переход от дня к ночи. В этом было что-то ужасное, скорее сверхъестественное, и в первые минуты темноты все живое вокруг — и деревья, и люди, и святые коровы — утихло на мгновение, как бы примериваясь к новому состоянию, физически ощущая темноту. А через минуту сказочное оцепенение проходило, чтобы прийти на следующий день с новым солнечным затмением. Небо давило, фиолетовое, густое, душное, не дающее вздохнуть полной грудью, но заслонившее такое жаркое солнце.

Машина свернула с главной улицы и поехала по переулку, уступая дорогу возвращавшимся с работы раджахстанцам. Они были из касты неприкасаемых, но до того красивые, яркие и веселые, что хотелось непременно их коснуться. Зубы сверкали в темноте, монисто и серебряные браслеты на босых ногах тихо позвякивали, широкие цыганские юбки колыхались при ходьбе. Большая толпа состояла почти целиком из женщин и детей, хотя работа была совсем не женской — рядом, за поворотом, шла стройка, и эти пятнадцатилетние и двадцатилетние женщины носили на голове гирпичи, привязав ребенка за спину. И дела-



ли это с такой грацией, что, казалось, несут на голове не двенадцать кирпичей, а изящный серебряный кувшин. Женщины шли, смеялись, покрикивали на детей и махали, как в цыганских танцах, невозможно яркими юбками. Дети пяти-шести лет, невыразимо чумазые и лохматые, обвешанные малолетними братьями и сестрами, хохотали и бежали за машиной.

Недалеко от дома по дороге плелся индеец, стараясь держаться тени. Он был старым, согнутым, каким-то обшарпанным и потрепанным. В руке у него был чемоданчик, наверное, приходящийся ровесником самому хозяину. Через каждые три-четыре шага старик останавливался и громко, но хрипло кричал какую-то длинную фразу. А потом с тоской заглядывал во двор и, подождав несколько секунд, шел дальше, самозабвенно крича, видно, что-то очень важное.

Никита прислушался к словам индийца и громко рассмеялся.

— Ты знаешь, что он орет? «Вскрываю нарывы, вырезаю мозоли, прокалываю носы и уши и делаю другие мелкие операции!» А? Здорово, правда?

— Кто ж ему дастся, такому старенькому? — удивилась я. — И выглядит он, честно говоря, не слишком стерильно.

Машина остановилась около дома, индеец-хирург подоспел как раз вовремя, вежливо поклонился и завопил, не снижая голоса, о нарывах, мозолях, носсах и ушах.

— Спасибо, не надо, — ответил Никита на хинди.

— О, сэр, я могу сделать любую операцию, все инструменты у меня с собой. — Старичок для убедительности встряхнул чемоданчиком, в котором что-то слабо звякнуло.

— Нет-нет, у нас все в порядке, — попытался отвязаться от него Никита.

— Но я ведь делаю еще и косметические операции, — заявил хирург, подходя к Никите поближе и внимательно рассматривая его лицо, ища какой-нибудь изъян.

— Я же сказал «нет». — У Никиты лопнуло терпение.

— Договорились, сэр, я приду завтра. Вас устроит это же время? — Старичок еще раз поклонился и, не дожидаясь ответа, пошел дальше. Через несколько шагов он остановился и с явным расчетом на Никиту заорал: — Опытный врач-хирург! Делаю пластические операции! Обновляю людей, делаю их красивыми! Могу вырезать все, что вы считаете ненужным!

Мы с Никитой влетели в дом, еще чувствуя на себе цепкий взгляд хирурга-одиночки и ощущая даже некоторую неполноценность от довольно бестактных предложений «отрезать все лишнее». Дверь сильно хлопнула и прищемила лиану растения-ползуна, доставшегося нам от уехавших в Москву друзей. Я освободила ветку и устроила непослушную лиану на карнизе двери.

Этот зеленый ползун был от природы довольно капризным и, как только его поставили на новое место, прижился сразу, заняв всю стену и устроившись не так, как я его укрепила — на гвоздиках и ниточках, а как ему самому нравилось. По его длинным корявым стеблям с большими зелеными листьями и воздушными корнями можно было, словно по ладоны, отгадать всю его жизнь: вот очередные хозяева ползуна уезжали в отпуск, а растение стояло на жаре, без воды, целых два месяца, — листья становились мельче и светлее у основания. Но оно продолжало жить. Вот его перевозили на новое место — одна из лиан приплюснута посередине, и из этого раненого участка появилось два новых, теперь уже трехметровых ростка. Но оно все равно продолжало жить. Даже можно было сказать, когда приходили гости: на одном листе, почти на самой середине лианы, просвечивала обугленными краями дырка — видно, кто-то промахнулся и не там потушил сигарету. Хорошие времена для ползучего дерева начинались в июле. Подходили муссоны, стояла душная влажная жара, ползун расцветал на глазах всеми оттенками зеленого, вырастали листья, раны быстро заживались. И растение, как старая собака, поменявшая много хозяев, но хорошо

служившая, нежилась под теплым южным дождем, смывая с себя все обиды и думая, наверное, только о чем-то хорошем... Ползун действительно знал свое дело и превратил большую, несколько казенную комнату в уютную и домашнюю.

Вскоре за горшком на полке, в темном влажном уголке, поселился маленький геккон, вероятно, вылупившийся совсем недавно, и смотрел по вечерам недоуменным взглядом с потолка на двух огромных животных, которые передвигались по полу, издавали непонятные ему звуки, а иногда даже изо рта пускали дым.

Через неделю после того, как новый геккон обжил свое место за горшком, появилась старая Машка с отгрызненным кончиком хвоста. Она поползала по стенке, залезла на люстру и к вечеру, когда оба троглодита захотели есть, Машка вдруг увидела своего молодого соперника. Замирая на секунду, они стали короткими, но быстрыми перебежками сближаться с разных сторон потолка. Когда между ними осталось меньше полуметра, Машка принялась нервно из стороны в сторону крутить куцым хвостом, как бы показывая юному геккону: смотри, не на гулянке, небось, потеряла, сейчас и тебе врежу — костей не соберешь. Молодой тоже было попробовал так вертеть хвостом, но у него это туговато выходило. Тогда он стал как-то по-особенному выворачивать хвост напоподобие штопора, что, по его мнению, должно было вселить ужас не только в Машку, но и во все живое вокруг. После двух-трех минут таких хвостовых упрямлений гекконы, как по команде, кинулись друг на друга. Молча, без единого звука и даже не падая с потолка. Молодой, но, как выяснилось, ранний, вцепился Машке челюстями в бок и брезгливо выплюнул на пол кусочек гекконьего мяса. Машка — надо было видеть ее «лицо»! — не от боли, которую, наверное, гекконы не чувствуют, а от растерянности и наглости этого подростка прекратила моментально хвостовращения и бегом, просто галопом, ринулась по потолку за спасительные шторы. Но молодому проходивцу надо было все-таки закрепить свою победу.

Мало ли, одумается завтра Машка и опять хвостом перед мордой начнет вилать. Он решил применить другую тактику. Он стал гонять Машку по стенам и потолку до тех пор, пока Никита, устав от этого зрелища, не попытался разнять разбушевавшихся мини-крокодилов мухобойкой. Как только Никита поднес к ним мухобойку, оба драчуна сразу замерли, глядя друг на друга. Не двигаются, не дышат, даже не моргают — муляж. Какая может быть драка, когда к тебе идет что-то гороподобное с палкой в руке?

«Бабуля, дорогая, здравствуй!

У нас опять лето. Уже второе. Чего-чего, а мне совсем не верится, что мы живем здесь почти два года. Никогда бы не подумала, что смогу столько прожить без тебя, безо всех наших, без Москвы. Хотя живу я частично здесь, а половина моя — наверное, лучшая — живет все равно с вами. И сейчас я вижу, как ты сидишь на кухне, читаешь письмо, улыбаешься и плачешь. Уверена, что плачешь, потому что так устроена. Не плачь, а? И выключи чайник, он, наверное, уже весь выкипел. А потом пойдешь звонить маме и тете Маше и будешь подробно им пересказывать мое письмо. Именно пересказывать, а не читать. Потом будешь долго искать очки, чтобы начать писать мне ответ. Про тетю Веру, как она поражается твоим знаниям об Индии, про подружек-соседей, которые приходят к тебе пить чай и ждут очередной рассказ. Ты, бабуль, будешь смеяться, но мне все это очень важно. Я бы без этого не вытерпела. А так, прочитаю письмо, представлю себе все это — и намного легче становится. Никитка меня утешает, но ведь еще так долго ждать — до февраля...

Здесь уже зацвели деревья. И не чахлыми, еле заметными блеклыми цветочками, а нагло и крупно. Как если бы на березе расцвели тюльпаны, на осине — васильки, а на дубе — желтые одуванчики. Представляешь? Ты бы была в восторге! Тут есть одно дерево, которое облетает самым последним. Оно, хотя и имеет, вероятно, какое-то научное название, зовется среди индийцев очень романтично — «Смерть



европейца». И совсем не потому, что его огромные красные цветки пахнут, мягко говоря, чем-то неземным. а тяжелые плоды, созрев, падают с десятиметровой высоты и могут действительно если не убить, то покалечить неосторожного прохожего, и не обязательно европейца. Дело совсем в другом. Дерево цветает в конце апреля — начале мая. В это время, считается, приходит настоящее лето. Безо всяких побряжек. Без единого облачка. Без одной капли дождя. Зато начинаются пыльные бури, которые всегда застают врасплох, от которых не найти укрытия. За несколько секунд все вокруг темнеет, птички голоса замолкают. И вдруг — у-у-ух! — тебя обдает с головы до ног пылью, грязью, песком. Причем с такой силой, что кажется, все это должно войти в кожу, и никак потом не отмоешься. Пыльная буря прекращается так же внезапно и резко, как и началась. Будто вырубил гигантский вентилятор.

День намного удлиняется. Кажется, он никогда и не кончится. Он и не кончается. И продолжается ночью. Солнце заходит, жара остается. Воздух становится тяжелым, вязким и масляным. Чтобы вдохнуть его, нужно усилие. Все лето состоит из усилий. Ну, ничего, надеюсь, что лето уже последнее. Только считается, что еще десять месяцев осталось, на самом деле время пролетит — не заметишь. Это я не столько тебя, сколько себя успокаиваю. Никита работает сейчас очень много. Пишет статью о положении индийских женщин. В общем, пишет, положение неплохое. Так что за них не переживай.

Крепко тебя целую. Напомни маме, чтобы она мне ответила, я волнуюсь, как она.

Твоя Ася».

К священному Гангу

Заскрипела, заняла входная калитка. Никита давно порывался ее смазать, но я не давала — по оглушительному скрипу всегда было слышно, что к нам кто-то идет, а это, по моему мнению, было куда приятнее, чем вздрагивать от неожиданного звонка.

— Ась! Ты где? — громко позвал Никита. — Завтра в командировку едем, разрешили!

— Куда? Ты меня с собой берешь?

— Значит, так. Завтра едем в Хардвар. Это примерно в двухстах километрах к северо-востоку от Дели, — сказал Никита.

— На машине?

— Да, хотя это и долго. В один конец — около шести часов езды. Но так даже интереснее, чем лететь на самолете. Я вот книжку купил, посмотри ее.

Никита положил на стол толстую желтую книгу, которая называлась довольно странно: «Индия. Пособие путешественника по выживанию». Несмотря на такое отпугивающее название, книга читалась, как детектив, и была настолько интересной, что я забыла про все на свете. Помимо подробнейших сведений обо всех штатах и почти о каждом городе в этих штатах, в книге имелись интересные разделы о том, как путешествовать одиноким женщинам, что необходимо брать с собой из вещей в путешествие по Индии, специальная глава о воровстве, о том, что в каком штате и городе покупать, об индийских экзотических болезнях и о том, как по возможности их избежать, в каких отелях останавливаться европейцам — в зависимости от бюджета, — от простых (но лучших!) ночлежек до шикарных пятизвездных гостиниц, об индийской кухне и о европейских ресторанах и даже о смешных опечатках в ресторанных меню! А в главе, посвященной транспорту, не только рассказывалось, как можно путешествовать по стране — поездом, самолетом, на автобусе, на велосипеде, на машине, по рекам и пешком, — но и давались точные сведения, что сколько стоит, где находится вокзал или автобусная остановка, где прокат велосипедов и сколько ехать, идти или лететь до нужного вам города. Коротче, изучение путеводителя заняло остаток всего дня, и я едва успела подготовиться к поездке.

От Дели до Хардвара, как я узнала из путеводителя, 222 километра. Дорога проходит через пять горо-

дов — Газиябад, Модинагар, Мирут, Музаффарнагар и Рурки. Они мало чем отличались друг от друга. А может, так показалось, потому что мы не останавливались и из машины не вылезали. Каждый город начинался одинаково — спидбрейкером, большим наростом на асфальте, который принуждает машину сбросить скорость. А если скорость вовремя не погасить, то машина взлетает на метр вверх, как с трамплина, и не очень мягко приземляется, оставляя за собой на дороге часть деталей. При въезде и выезде из города — авторемонтные мастерские и столовые для водителей грузовиков. Потом — длинная главная улица города, заставленная лавками, заваленная товарами, перекрытая спящими коровами. Слева и справа на протяжении всей улицы — маленькие храмики, фигурки святых, украшенные живыми цветами. Вдруг срочно надо что-то попросить у бога? В воздухе дым, запах прогорклого масла, навоза, выхлопных газов, сандалового порошка. А в конце улицы — опять авторемонтные и традиционный прыжок со спидбрейкера. Город позади...

Святыню Хардвара — купальню Хар-ки-пури — было уже трудно разглядеть в сумерках. Внизу, у самой воды, горел фонарь, и его неровный желтый свет отражался в дрожащих волнах. Белый мрамор набережной тускло поблескивал. Кто-то шумно плескался и отфыркивался. Солнце уже давно зашло. Слух в темноте обострился. Можно было только догадываться, что происходит внизу у воды.

— Спустимся? — спросила я.

— Лучше утром, а то еще наступишь на кого-нибудь, — сказал Никита, и я, напрягая зрение, увидела, что вся лестница, ведущая к воде, была занята спящими людьми, которые оставили для прохода лишь узкую тропку.

Пройти к Гангу утром оказалось еще труднее, чем вечером. Больные, прокаженные, наскakивали один на другого, а все вместе на тебя, требуя подачки. Несчастных, совсем съеденных лепрой, без ног и рук, на маленьких тележках возили другие, менее пострадавшие от страшной болезни. Они протягивали руки, выставя напоказ завязанные грязными тряпками обрубки пальцев, и при этом требовательно кричали что-то. Мне казалось, что если до меня кто-нибудь дотронется, то я лягу и тут же умру от ужаса перед неизбежной участью. Но никто не дотрагивался, только кричали: «Сааб! Мэм-сааб! Бахмиш!» — и снова демонстрировали свои изуродованные тела.

Я старалась не смотреть по сторонам и продвигалась за Никитой вниз по ступенькам, к воде. Пройдя наконец сквозь строй нищих, мы подошли к реке. Ступеньки уходили прямо под воду. Вдруг за нами раздался топот босых ног, и я успела разглядеть что-то большое, летящее в воду. Это «что-то» вынырнуло и оказалось толстым мужчиной, лицо которого выражало ужас, счастье, страх, радость и торжественность одновременно. Ехал, наверное, издалека, специально, чтобы окунуться в Ганге и смыть с себя все грехи, накопившиеся за много лет.

Я решительно направились к ступеням.

— Ты куда? — спохватился Никита.

— Я только воду потрогаю.

Вода была холодная и тяжелая. Казалось, ее можно взять в руку и она не вытечет. В нескольких шагах от себя я увидела мальчишку, стоящего по пояс в ледяной воде. Он стоял, согнувшись, и смотрел в ведро без дна, которое было наполовину погружено в воду. Мальчишка внимательно разглядывал дно и, когда находил монетку или еще что-то, аккуратно подбирал, опускался иногда в реку с головой. Неподалеку от него стоял другой паренек с ведром, за ним еще и еще. Они постоянно нагибались, собирая со дна «улов», и опускали его в большую набухшую сумку-карман у пояса. Мальчишки медленно двигались вперед, и у каждого, вероятно, была своя вотчина, за пределы которой он не смел переступить, но и к себе никого не пускал. Они зыркали друг на друга исподлобья, как звереныши.

Я выпрямилась и огляделась.

Хардвар, священная купальня, Ганг были освещены ярким солнцем, краски были сочными, по-восточному богатыми, на запястьях индианок сверкали украшения, душно пахли подвявшие цветочные гирлянды.

От воды тянуло холодом и свежестью, как из колодца, и вся река была похожа на громадное живое существо, сильное и могучее, но чуть притаившееся и притихшее в этот жаркий час утра.

Кашмирская шаль

— Да, я вас понял! По-нял! Сообщу через два дня! Послезавтра! Думаю, что будет готова на следующей неделе. Не слышу! Все, до свидания! — Никита повесил трубку и вытер пот со лба.

— Ну что?

— Заказали статью, которая, кстати, тебя очень заинтересует. И в прямом, и в переносном смысле. Про кашмирские шали, если я правильно понял.

— В Кашмир поедem?

— Времени нет. Просили в конце той недели уже готовую статью продиктовать. Собирайся, поедem сейчас же в Кашмирский торговый центр. Чего тянуть?

К вечеру, когда солнце едва виднелось за деревьями, его присутствие все равно чувствовалось повсюду. Каждый дом, нагревшись за день, дышал жаром, словно печка. Разморенные и усталые от зноя люди шли медленно и осторожно, не ускоряя шага даже перед едущими машинами. И водители вели машины не так быстро, как утром, а будто бы по инерции, чтобы лишний раз не нажимать на тормоз.

Добраться до улицы импориторов — улицы торговых центров всех индийских штатов — было нелегко через всю эту вечернюю жару, едкую раскаленную пыль, толпы людей, идущих с работы или ожидающих вечно переполненные автобусы. В такие часы все магазины обычно пустынные. Импориторы тесно жались друг к другу и в то же время старались перещеголять один другого богатыми витринами и необычными входными дверями-воротами, огромными для таких маленьких магазинчиков и удивляющими своей росписью, чеканкой, резным деревом и литыми медными украшениями. Такая дверь должна вести во дворец, замок или по меньшей мере в тронный зал. Но за массивной дверью кашмирского импоритора оказался довольно скромный и уютный, отделанный мягким серым ковром магазинчик. Большая закругленная лестница вела наверх. От нафталиново-сандалового запаха хотелось чихать. Продавцы, шумно обсуждавшие что-то, тотчас замолкли, увидев возможных покупателей, приветливо поздоровались и встали по своим местам.

— Добро пожаловать, мадам, сэр, мы очень рады, что вы зашли к нам, — пропел улыбающийся низенький человечек, сверкая зубами. — Мадам, наверное, желает приобрести шубу из рыжей лисы? Лучший мех идет из Кашмира. Мадам, конечно, это знает.

Прежде чем я успела открыть рот, Никита уже ответил:

— Мадам это знает, но лиса ей не нравится.

— Тогда, вероятно, мадам хочет посмотреть прекрасный ковер из шелка? — «Сэр» явно в расчет не принимался. — У нас большой выбор шерстяных и шелковых ковров. О, это как картина великого мастера — можно вешать на стенку и любоваться... — Человечек восхищенно зажмурился и опять улыбнулся во весь рот.

— Нет, спасибо, мы предпочитаем оригиналы великих мастеров, — заявил Никита.

— Тогда я знаю, за чем вы пришли, — догадался продавец. — Мадам, вероятно, хочет приобрести великолепную кашмирскую шаль. У нас, как вы изволили заметить, только оригиналы. В любом другом магазине в Дели я не смог бы вам гарантировать подлинность кашмирской шали. Не хотите ли посмотреть? — вежливо спросил он.

— Да, шаль я посмотреть могу, — вставила я свое слово.

— О, — глубоко вздохнул продавец, — прошу наверх. Эти шали на втором этаже. Такое сокровище мы просто не можем держать внизу.

Весь второй этаж занимали прилавки с шальями и одеждой с кашмирской вышивкой. Индеец указал нам на круглые плетеные стулья, а сам встал на маленькое возвышение, как на сцену, перед прилавком.

— Вы желаете что-нибудь конкретное — стиль, цвет, рисунок — или хотите просто посмотреть? — заинтересовался продавец.

— Покажите сначала, что у вас есть, — попросила я, взяв инициативу на себя.

Человечек доставал шали с разных полок, расстилал перед нами, мял материал в руках, показывая, что он практически не мнется, набрасывал на себя, будто опытная манекенщица, прохаживался по «сцене», завернувшись в шаль, как в сари, цокал языком и щелкал пальцами, а главное — улыбался.

— У вас одни шерстяные шали? А есть шелковые? — спросила я.

— О, мадам, вероятно, забыла, что настоящие кашмирские шали только из шерсти, — тактично сказал продавец. — И то не из любой шерсти, а из особенной, которую дают центрально-азиатские горные козы. Есть всего два типа кашмирских шалей — один называют «кани», когда шаль сшита из отдельных кусочков, а другой — «амликар», когда на шерстяной основе каждой кашмирской шали — «пашмине», как она называется, — иголкой вышивается определенный рисунок. Вот шаль амликар. — Продавец достал белую тонкую шаль с изящным рисунком бежево-зеленых тонов по краю. — А на самых уникальных образцах можно различить более пятидесяти оттенков!

— Но ведь такой рисунок можно вышить и на машине, — заявил Никита.

Продавец даже перестал улыбаться, удивившись невежеству иностранцев. Сказать такое о настоящей кашмирской шали! Но Никита все подначивал словоохотливого продавца, чтобы тот рассказал как можно больше.

— Наверное, такую шаль вышивают за несколько дней, — предположил Никита.

— Сэр, вы не совсем правы. Если шаль вышивается машиной даже в Кашмире, совсем не значит, что это кашмирская шаль. Хорошая, добротная, но не лучшая кашмирская шаль требует работы трех человек в течение целого года! Причем сбор шерсти, ручная сортировка, чистка и обработка рисовой пастой, то есть вся «черная» работа, выполняется только женщинами. А за ткацкий станок и вышивание уже садятся мужчины, — объяснял индеец.

— Почему же такая несправедливость? — возмутилась я. — Ведь шали делают для женщин! Почему они должны выполнять самую тяжелую работу?

— О, мадам, так повелось истару. Кашмирские шали ткались исключительно мужчинами и для мужчин. А первыми женщинами, кто стал носить кашмирские шали, были отнюдь не индианки, а римлянки при дворе Цезаря. Вы знаете Цезаря? — вдруг спохватившись, спросил продавец.

— Да, припоминаю, — ответил Никита.

— Кстати, эта шаль, — продавец осторожно развернул во всю ширину белую с вышивкой шаль и бережно накинул мне на плечи, — самая лучшая, что мы имеем сейчас в магазине. О, мадам, вы похожи сейчас на махарани со старинных индийских фресок!

Шаль действительно была красивой. Белый тон так оттенял вышивку, что, казалось, лучшего цвета подобрать нельзя. По краю шел характерный кашмирский шалевый рисунок чуть удлинненной капельки.

— О, мадам, неужели вы сможете уйти без этой шали? — с придыханием и очень нежно спросил человечек.

— Никита, как ты думаешь, я смогу уйти без этой шали? — в свою очередь, заинтересовалась я. — Я думаю, когда ты будешь писать статью, образец кашмирской шали тебе не помешает, а?

— Подожди минутку, надо разобраться до конца, — сказал Никита и спросил продавца: — Это самая лучшая шаль, а есть ли у вас дороже?

— О, несомненно, — восхищенно улыбнулся продавец. — Мы можем вам предложить удивительные об-

разцы. Музейные. Вы подождете сорок минут? Что вы пьете — чай или кофе? Может, что-нибудь холодненькое? Подождите, вы не пожалеете. Самые ценные шали лежат в банке. Но какие! Я вижу, вы настоящие ценители! Я это понял сразу. Всего сорок минут — и настоящая пашмина будет лежать здесь, у ваших ног! Кольцовые шали! Тонкие, мягкие, согреют вас в любую зиму, даже в самую холодную, если на улице ноль градусов! — Индеец угрожающе пожегил, представляя себе самую холодную делийскую зиму.

— А сколько стоят такие шали?

— О, мадам, это не вопрос. Речь идет об уникальных образцах. Шали такие, что им цены нет! При чем вы можете выбрать согласно вашему бюджету — от четырех до пятнадцати тысяч рупий одна шаль. А если вы предпочитаете что-нибудь дороже, то можно сделать запрос в Кашмир. Так что вы будете пить — чай или кофе?

Тревожить ценные шали в банке, а тем более в Кашмире не имело смысла. Никита постарался убедительно объяснить, что сорок минут мы, деловые люди, ждать не можем, хотя, конечно, хотелось бы купить кашмирскую шаль тысяч эдак за десять.

— А сейчас мы возьмем вот эту, белую, — сказал Никита.

— Спасибо, — ослепительно улыбнулся продавец. — Будем счастливы видеть вас еще. Заходите. Скоро нам завезут партию чудесных шелковых ковров. Ковры для знатоков — шестьдесят узелков на одном квадратном дюйме! Уверен, что они вам понравятся!

— ...«Чем тоньше и легче была ткань, тем богаче и знатнее ее владелец. А одно из первых упоминаний о кашмирской шали можно найти в «Махабхарате», эпической поэме древней Индии, написанной в IV тысячелетии до нашей эры...» — Никита диктовал громко, надрывая голос. — «Но шали наивысшего класса, которые нельзя сравнить ни с чем, ткнуты из шерсти «шах тус», которую собирают не летом, а зимой, высоко в горах. Именно эти кашмирские шали известны тем, что их можно пропустить сквозь женское обручальное кольцо, поэтому их еще называют «кольцовыми шальями». Первые кашмирские шали были не так ярки и красочны, как сегодняшние. Они были скучного натурального бело-серого цвета, иногда в черно-белую полоску. И так до середины XVI века. Рассказывают, что однажды у ткача, который делал обыкновенную серую шаль, пошла носом кровь, и он, испугавшись, что испортил шаль, хотел спрятать ее. Но управляющий кашмирского визиря увидел эту шаль и, вместо того чтобы наказать, наградил испуганного ткача. А сам приказал на сером фоне отныне вышивать красные, а затем зеленые рисунки. Так несчастный ткач с разбитым носом, сам того не зная, стал основателем одного из направлений кашмирских шалей — «кани»...»

— Тебе долго еще? — шепотом спросила я.

— Минут десять. Да, да, я продолжаю! Секундочку! — Никита глотнул воды и снова взял текст.

Тадж Махал

Мне редко удавалось поехать с Никитой по стране. Билеты на самолет и поезд стоили довольно дорого, а платить приходилось бы из своего кармана. Я сидела дома, терпеливо ждала мужа из очередной командировки в Калькутту или Мадрас, а потом жадно слушала рассказы Никиты и пыталась увидеть то, о чем он говорил, — пройти пешком несколько километров через джунгли, чтобы сфотографировать какой-нибудь праздник полудикого племени, расположиться в шикарном номере гостиницы и всю ночь гоняться за огромными шуршащими тараканами, потолкаться на чайном аукционе и нанюхаться восьмьюдесятью сортами чая, побывать в храме, в котором почитают крыс, и увидеть там откормленные экземпляры величиной с огромную кошку.

Никита хорошо рассказывал, а я любила его слушать. Иногда, если мне было трудно представить что-то, я задавала ему вопрос, спрашивала о какой-нибудь детали, и сразу все становилось на свои места.

Когда он вернулся из Морадабада, города, где изготавливают только разную утварь и украшения из меди, то, слушая Никиту, я долго не могла представить себе комнату, в которой выплавляли медные подсвечники. Прямо в полу, в небольшом закрытом углублении, рассказывал Никита, горел огонь...

— А какого цвета был огонь? — вдруг спросила я.

— Зеленого, — сказал Никита, и сам удивился своему ответу. — Надо же, действительно зеленого.

И я сразу же увидела маленькую темную комнату с каменным полом и двумя горящими и мигающими зелеными глазами, из которых вылетали оранжевые брызги. И двух мальчиков — взрослые в этой комнате не поместились бы, — делающих механически тяжелую работу, трудно дышащих в белесом дыму и сидящих в полутьме, как два маленьких колдуна около груды только что родившихся, тускло поблескивающих, еще не отполированных медных подсвечников.

Единственно непреодолимая мечта — поездка в Тадж Махал. На ее осуществление никак не хватало времени, а довольствоваться на сей раз рассказами Никиты я просто не желала.

— Ведь это так близко, несколько часов на машине от Дели. Я понимаю, у тебя работа, но устрой себе хоть раз выходной, — пыталась я уговорить Никиту.

Тот всегда обещал. А выбрать для этого день никак не мог. Нужно брать шофера-индийца, расстояние все-таки порядочное, да и с ним спокойнее. Заказывать номер в гостинице, чтобы ночью увидеть Тадж Махал при свете луны. И все хлопоты, хлопоты. Не до этого сейчас.

Но я дождалась.

Добрались к полудню, в самую жару. Въехали в старую Агру, некогда столицу великой империи, а ныне разбитую, обветшалую и задымленную большую деревню, живущую единственным своим доходом — Тадж Махалом. Люди называют его по-разному — «памятник любви», «музей», «чудо света», «усыпальница Мумтаз Махал», «мавзолей», — и можно всему этому верить, это правда. Но верить издали, не видя Его, не почувствовав глухого биения сердца, когда дотрагиваешься рукой до прозрачного мрамора надгробья, где покоится Любовь; верить издали, не вздрогнув от неестественного крика женщины, пришедшей за тридцать земель молиться именно сюда, в Тадж Махал, совсем не религиозный храм. Верить понаслышке. Человеку, увидевшему Тадж Махал своими глазами, и слепому, дотронувшемуся рукой до прохладного мрамора, не нужно ни одно из этих названий. Потому что каждый увидит его по-своему. А потом, возможно, и удивится, узнав, что мавзолей возводили всего двадцать лет, и не поверит, что так быстро построили это чудо. А другой ухмыльнется, прочитав где-то, что Тадж Махал был построен Шах Джаханом в память о его любимой жене Мумтаз Махал, умершей во время ее четырнадцатых родов. «Тоже мне любовь, — скажет он. — Четырнадцать родов! Представляю, на что она была похожа!»

Людей много, все разные.

Тадж Махал стоял перед нами, как сказочный ледяной дворец, чуть подтаявший сверху, отчего купола его сделались еще более округлыми, и, казалось, был перенесен сюда только-только, по чьему-то чудесному волшебству, и скоро его не станет совсем, он весь растает... Вровень с его куполами плыли белые, такие же, как и он, облака — он парил над землей, будто так и не нашел себе ни опоры, ни пристанища, парил, искрсясь белизной сахарного мрамора, и никуда не исчезал, лишь слепил глаза. На него трудно было смотреть, как трудно и больно смотреть на жгучее солнце, но солнце висело высоко в небе и было таким маленьким и блеклым по сравнению с ним.

Больно было смотреть, но невозможно отвести взгляд. Кто бы раньше предположил, что горячее индийское солнце станет среди бела дня таким же незаметным, как дневная луна, а храм, построенный когда-то людьми, будет затмевать светило своей красотой и блеском? Длинный, вытянувшийся бассейн, будто лунная дорожка в море, отражал светлые, чуть подрагивающие в воде купола и солнце, казавшееся маленькой далекой звездой. Водная дорожка, наверное, предназначалась для святых — рядом с Тадж Махалом можно поверить во что угодно.

Люди все шли и шли, но никто не замечал друг друга, все смотрели вперед. И каждый взгляд, а их были тысячи, оживлял мерцающий камень, и тот начинал дышать. И приблизившись, можно было услышать его дыхание — глубокое, усталое, чуть с хрипотцой. Может, так дышала Мумтаз Махал? Или человек, построивший для своей любимой этот храм? Или камень, обыкновенный мрамор, отдающий звук человеческих шагов?.. А может, это было мое дыхание, услышанное вдруг так остро, или дыхание старого индийца, стоящего рядом с закрытыми глазами и беззвучно шевелящимися губами? Или, слившееся в одно, дыхание всех — единое, захватывающее и такое живое?

Скорее всего так оно и было.

Ночь настала почти мгновенно, как будто в жарко натопленной комнате выключили свет. Теперь уже все вокруг, даже самое обычное, было нереальным. С заходом солнца Тадж Махал медленно опускался на землю, словно небо темнотой своей давило на него, а когда солнце исчезло совсем, то храм встал, прочно и тяжело, как мощная ледяная глыба, вечная, как сама земля.

Полная луна светила в небе беспомощным фонарем — казалось, не будь ее, Тадж Махал сам стал бы источником света. А может, если бы не было луны, то ему, чтобы ожить, хватило бы самой далекой звезды, светящей на землю. Оплывшие купола его застыли, но оставались белыми, ослепительно белыми, и опять было трудно смотреть на них, как трудно смотреть на снежное поле в яркий солнечный день.

На несколько дней, а вернее ночей в месяц Тадж Махал становится по-настоящему одушевленным существом. Это ночи полной луны. Есть много на свете чудес, связанных с лунной. Одно из них — ночной Тадж Махал в полнолуние. Наверное, человеку, не видевшему его в это время, подобное утверждение покажется смешным и несерьезным. Может быть. Но, по моему, мавзолей был построен именно ради этих нескольких ночей.

Ночной Тадж Махал в полнолуние сине-белый. Точнее, от белого, по возрастающей, до всех оттенков голубого, синего и фиолетового. Экзотические, почти черные деревья, восточное грозное небо с блестящими, как новые монетки, звездами, круглая ленивая луна с задумчивой поволокой — лишь дополнение к самому важному, самому живому. Постепенно, сантиметр за сантиметром, оживает бездушный мрамор. Белый камень с восходом белой луны становится все прозрачней и прозрачней. Инкрустированные цветы из зеленого оникса, черного агата, розового, красного и оранжевого сардоника, разноцветной яшмы перестают быть плоскими и начинают прорастать. Они растут из глубины, из мраморных стен, пытаются невидимыми корнями достать до земли, и не существует для них препятствий в такие ночи. Оживают каменные цветы, шевелятся от ветра, растут и оплетают прозрачный мавзолей. И рука тянется дотронуться до них, дотронуться, не сорвать, потому что сердцем чувствуешь, что перед тобой — чудо. Живой камень подсвечен, будто изнутри для каждого цветка светит своя маленькая, но вполне настоящая полная луна. И совсем вблизи живой мрамор, гладкий, с мелкими голубыми прожилками, становится похожим на кожу новорожденного ребенка.

А луна щедро обливает купола своим светом, и кажется, этот свет, как нечто вполне материальное, наплаивается наверху, густо, по-сказочному, и Тадж Махал растет, растет, растет... и делается таким

прозрачным, что через него, как через чуть подтаявшую льдинку, можно взглянуть на просвет. Это странно, ведь источник света наверху, вне его. А может, там, где посредине внутреннего зала стоят два надгробья — одно, чуть поменьше, Мумтаз Махал, а другое, побольше, где похоронен человек, который бесконечно любил ее, — может, там источник света? Источник, который нельзя увидеть и у которого нельзя погреться — свет его проникает прямо в душу. Источник Любви.

К этим белым, торжественно-печальным могилам идут молиться, хотя знают, что похоронены в них не святые. Приходят ночью, в час луны, и молятся, чтобы у бездетной родилась ребенок, чтобы старая мать выздоровела, а сын вернулся домой. И дотрагиваются рукой до священного надгробья. И начинают верить.

«Асеня, дорогая моя!

Только что приехала из больницы, но не волнуйся, бабушке уже лучше, врачи обещают, что все будет хорошо. Пока она еще не двигается, но взгляд стал не такой мутный, как раньше. Это было так страшно, ты себе представишь не можешь. Я должна была прийти к ней в среду, звоню, никто не открывает. Спрашиваю старушек внизу, проходила ли мама. Взломали дверь, она, бедняжка, лежит на кухне, чайник весь выкипел и расплавился, слава богу, что пожар не начался. Сразу отвезли ее в больницу. Там сказали, что инсульт. Уже три недели прошло, мы тебя тревожить не хотели, чем бы ты из такой дали помогла, только разнервничалась бы. Но сейчас ей лучше, честное слово. Каждый день мы ходим к ней, читаем и перечитываем твои письма, она их так любит! Показывает глазами на тумбочку, где они лежат, и просит, чтобы ей почтали. Пиши ей побольше, она очень ждет. Что у вас? Как здоровье? Пишите.

Крепко вас целую.

Твоя тетя Маша».

У тибетки

— Говорят, она лечит все. Гималайская медицина, травы, это же потрясающе! — Никита говорил возбужденно. — Она врач в пятнадцатом поколении. Представляешь? У них в семье не было ни одной другой профессии, и это целительство передавалось по наследству только женской половине. Мужчины не в счет. Поедем к ней, возьмем лекарства, я уверен, что поможет.

— Но ей нужен диагноз, причем точный, или выписка из истории болезни. Нельзя же просто прийти и потребовать лекарство от инсульта. Наверное, и инсульт бывает разный, — слабо возразила я, не веря уже ни в какую медицину.

— Да она диагноз по пульсу узнает! — заявил Никита.

— Тем более, ей пульс не твой нужен, а бабулин. — Все равно поедем, — решительно сказал Никита. — Мы ничего не потеряем. Мало ли что, вдруг поможет? Мне ее очень хвалили, тем более что она не делает ничего сверхъестественного. Поедем, а?

— Ты меня так упрашиваешь, будто я не хочу. Когда поедем?

— Завтра в восемь утра, с ней Шарма договорился. Помнишь, мы его на открытии выставки видели, корреспондент с индийского телевидения. Просил не опаздывать, а то будет много народу, — объяснил Никита.

Повернув в переулок за современной церковью из красного кирпича, проехав мимо стадиона с теннисными кортами, Никита уверенно повел машину по узкой улочке с одноэтажными игрушечными домами. Было рано, но почти все хозяйки уже проснулись и начали заниматься домашними делами, и прежде всего это проявлялось в огромном, едином облаке пыли, стоящей, как туман на улице, и идущей с земли, крыш и из дверей. На крышах выколачивали ковры,

коврики, покрывала и одеяла. Пыли было столько, что она с каждым ударом палки вбивалась и въедалась еще глубже в избитый ковер, но запыленные и одухотворенные хозяйки этого не замечали — так начинался день. Разномастными метелками и вениками подметался маленький дворик у каждого дома-квартиры. Дворовая пыль шла вверх, ковровая — вниз, и они встречались у самых окон, заслоняя от проснувшихся обитателей дома ослепительно яркое утро. На нетвердых ногах выходили из домов старухи — это был их час. Они гордо и молча оглядывали улицу, уцепившись за ворота, ограду или калитку, и долго, кто сколько может, стояли так, глядя на мир, который в их годы обычно начинался и кончался этой пыльной улицей. Старухи следили за проходящими мимо незнакомцами, за проезжающими торговцами, бездомными собаками и висящей в воздухе пылью. Они, все такие разные и одинаковые, были похожи на птиц — крючковатыми носами, движением головы, цепкой хваткой — и с высоты своих лет оценивали все окружающее их и исполняли одну, придуманную ими самими миссию — быть стражами. Так стояли они, одинокие, утренные, немощные старухи-птицы, охраняя от злых взглядов детей, внуков, правнуков, свой дом, маленький садик, свою молодость и будущее всего того, что находилось за их спиной в этот час. Потом, глубоко вздохнув о чем-то, старухи шли в дом, тяжело переступая затекшими ногами, чтобы на завтра, рано утром, выйти опять, кто сможет, к воротам. Дожить бы, думали они...

Белый миниатюрный домик, к которому подъехал Никита, был похож на все остальные, только в садике вместо тропических растений были стулья для посетителей. На двери висела надпись: «Врач принимает с девяти утра до часу дня и с пяти до семи вечера ежедневно, кроме понедельника. Консультация бесплатная. Не забудьте взять порядковый номер», — и стрелка прямо в ящик с номерами.

— Нам номер брать? — спросила я.

— Нет, мы так пойдем.

Никита постучал, и ему открыли сразу же, как будто ждали под дверью.

— Подождите минуточку, доктор сейчас придет, — сказал мальчик-индеец. — Садитесь, пожалуйста.

В маленькой приемной стояли стол, два кресла и лежанка. Над столом висела большая картина с зеленокожим буддой — покровителем врачей. Из-за двери, откуда-то из глубины дома, слышалась нежная китайская музыка — звон колокольчиков и гулкие удары незнакомых инструментов. Открылась дверь, и в комнату вошла молоденькая девушка в джинсах, длинной белой блузке. Она поздоровалась и протянула два желтых картонных листка.

— Заполните, пожалуйста, — имя, пол, возраст, — попросила она.

— Дело в том, что мы не сами будем лечиться, — сказал Никита. — Нам бы с врачом поговорить. Вы не знаете, она лечит инсульт?

Девушка мягко улыбнулась. Ее раскосые глаза весело блеснули.

— А я совсем на врача не похожа? Ведь вы пришли ко мне на прием. Это о вас мне говорил Шарма? — спросила она вконец ошарашенного Никиту.

— Да, — промямлил Никита, — я, простите, как-то растерялся. Вернее, я совсем не ожидал увидеть такого доктора.

— Ничего, стаж учебы и работы у меня большой — двадцать лет. Я с пяти лет ежедневно сидела около мамы, когда она принимала больных. А сейчас мама живет в горах, так у нас принято. Так что вы говорили про инсульт? — спросила она.

Пока я рассказывала о бабушке, тибетка записывала что-то на желтую картонку, изредка задавая вопросы.

— Я дам вам три разных лекарства, — наконец произнесла она, — их принимают с теплой водой. Первое — за полчаса до завтрака, второе — через час после обеда и последнее — перед сном. Курс рассчитан на два месяца. Думаю, должно помочь.

— Скажите, пожалуйста, а это правда, что вы ста-

вите диагноз безо всяких анализов и осмотра? — не вытерпел Никита.

— Вы хотите убедиться? — спросила тибетка.

— Мне интересно чисто профессионально, я журналист.

— У меня нет никаких секретов. Сначала я вам объясню. Я слушаю пульс. Только надо делать это очень внимательно, сконцентрироваться, лучше даже закрыть глаза. — Девушка положила руку перед собой ладонью вверх. — Вот эти три пальца — указательный, средний и безымянный — дают информацию обо всем, что происходит в организме. Каждый из этих пальцев мысленно делится еще вдоль. Таким образом надо постараться прослушать двенадцать оттенков пульса. Я по очереди слушаю сигналы каждого органа — печени, сердца, легких, почек. Если есть какие-то отклонения, об этом сразу говорит пульс. Дайте-ка мне вашу руку.

Никита боязливо, как ребенок незнакомому человеку, протянул руку.

Тибетка взяла его за запястье, сильно надавила пальцами, постепенно ослабляя захват. Она прислушивалась — глаза были закрыты, губы что-то шептали, голова наклонена вперед. Потом взяла другую руку — и то же самое.

— У вас с левой ногой ничего не было? — спросила девушка.

— Было, — ответил Никита. — Я ее ломал.

— Она у вас по утрам болит, — категорично заявила тибетка. — А так вы здоровый человек, если не считать, что у вас начинается гастрит. Вам надо за желудком следить.

Никита беспомощно взглянул на меня.

— Не волнуйтесь. — Тибетка перехватила Никитин взгляд. — У вас пока все нормально, но самое слабое место у вас в организме — желудок. И тем более вам необходима диета в местных условиях. Никаких лекарств, только диета, самая простая. Теперь что касается вашей бабушки. Я дам вам лекарство сразу на два месяца. Но через месяц, пожалуйста, придите ко мне, надо знать, стала ли двигаться рука, общее состояние, как речь, в общем, все подробно, хорошо?

Убили Индиру

Убили Индиру.

Ощущение страха, почти физическое, витало над Индией. Страшно видеть крушение, крах, панику. Когда выходишь из дому и стараешься не смотреть в заплаканные лица людей. Когда не видишь ни одной улыбки, не слышишь смеха. А вокруг — везде — ощущение тревоги. Как невыносимо больно оказаться в самом сердце чужого горя, во тьме белого индийского солнца, которая опустилась на города и реки, деревни и горы и стала национальным бедствием. Это было не землетрясение, не наводнение, не пожар. Это было не предусмотренное природой явление. Это было предательство.

Убили Индиру.

Ее не называли по фамилии. Какая Индира могла быть, кроме нее? «Индира — это Индия, Индия — это Индира» — так говорили индийцы.

Убили Индиру...

Неужели умрет и Индия?..

Было действительно страшно. Видеть, как Смерть, внезапная и насильственная, одной женщины вселила в людей столько чувств одновременно, что казалось, ничтожная человеческая оболочка не в состоянии вместить их.

Многие не любили ее. Многие боялись. Но она была символом независимой Индии.

О гибели Индиры Ганди узнали задолго до официального объявления по радио. Мало кто поверил. Но к Всеиндийскому институту медицинских наук, в который привезли ее тело, скоро стали сходить огромные толпы людей. Никто не кричал. Все молчали. Надежались.

А люди все подходили и подходили, молчаливые, заплаканные. Все переместились в одну точку — к Савдарджанскому институту, и если б Дели был огромным кораблем в океане, то его не стало бы — горд утонул бы от несоответствия баланса.

...Индиру убивали наверняка — профессионально и беспощадно. Охранники. Ей давно предлагали убрать сикхов из охраны, настолько серьезными оказались проверенные слухи о существовании заговора против премьер-министра. Она отказалась, желая показать свою лояльность и не вызвать ненависти у всех сикхов. Если бы сикхов из охраны убрали, Индира Ганди, вероятно, была бы жива. Но недоверие, оказанное несколькими десятками солдат из охраны, сразу перешло бы на тринадцать миллионов сикхов по всей стране.

Она шла в то утро из своей резиденции в секретариат, где, как обычно, принимала посетителей. Не нужно было выходить на улицу, не нужно садиться в автомобиль, не нужно надевать пуленепробиваемый жилет. Какая опасность в собственном доме?

— Доброе утро, мадам, — отдал честь охранник.

— Доброе утро, мадам, — поприветствовался другой.

Они решили быть вежливыми. А потом открыли огонь по живой мишени. 18 выстрелов. И все — в цель. Оранжевое сари, ее любимый цвет, тотчас пропиталось кровью.

Выстрелы слышали в доме. Через несколько минут Индиру Ганди, еще со слабо бьющимся сердцем, доставили в институт. Операционная на третьем этаже была подготовлена: кровь для переливания, рентгеновский аппарат, установки для замены живых органов — искусственное сердце, искусственные легкие, искусственная почка, — все самое современное, по самому последнему слову техники и медицины.

Реанимация началась прямо в лифте, и в операционную «пострадавшую» уже ввели подключенной ко всем возможным приборам.

Операция шла недолго, полтора часа. Испробовано было все. Потом консилиум врачей пришел к выводу, что множественные повреждения органов не совместимы с жизнью пострадавшей, иными словами — что толку делать операцию на практически мертвом теле. Пули смертельно заделали все важные органы, ведь стреляли не новички — охрана целилась расчетливо...

А к институту тем временем все подъезжали и подъезжали белые «амбассадоры» с министрами, членами парламента, близкими, родственниками. В два часа дня печальный человек в белом дхоти вышел из дверей института и тихо произнес: «Индиры Ганди больше нет с нами». Он произнес это тихо, но услышали все.

В три часа дня сообщение было передано по радио. Люди собирались группами на улице, негромко обсуждали подробности убийства, гадали, кто станет новым премьер-министром. Улицы были удивительно спокойными, притихшими, но в воздухе уже несло что-то яростное, зловещее, недоброе. Люди, как животные перед землетрясением, ощущали тревогу.

К шестичасовым вечерним новостям мы были у телевизора. Заплаканная и опухшая дикторша в белом траурном сари мрачным монотонным голосом сообщила подробности убийства. Показали институт, окруженный десятками тысяч людей. В Дели из поездки по южным штатам вернулся сын Индиры, Раджив Ганди, который стал новым премьер-министром. В Индию из поездки по арабским странам вернулся президент Индии Зайл Сингх... По дороге из аэропорта Палам машину президента забросали камнями... Слух о том, что дети Раджива Ганди погибли в автомобильной катастрофе, неверны. Приянка и Рауль лишь слегка пострадали — у мальчика ушиб ноги, у девочки легкое сотрясение мозга... Тело шримати Индиры Ганди будет выставлено в здании Тин Мурти с шести часов утра завтрашнего дня... Слухи о том, что вода в делийском водопроводе отравлена, неверны, химический анализ воды делается через каждые полчаса... В Индию из поездки по Никобарским островам вернулся министр...

Всю ночь что-то бухало и трещало. Заснуть было невозможно. Под утро в спальню пробрался такой едкий дым, что у нас с Никитой разом полились слезы.

Промучившись так до рассвета, Никита встал и начал куда-то собираться.

— Ты куда?

— На работу, не волнуйся. Сначала в Тин Мурти поеду, потом аккредитацию на похороны возьму. Ты только дома будь, не выходи никуда, ладно? — попросил Никита.

— И не подумаю. — Я быстро вскочила с кровати. — Я еду с тобой. Тебе будет спокойно за меня, если я останусь дома, а мне будет спокойно за тебя, если я поеду с тобой.

— Тебя могут не пропустить в Тин Мурти, у тебя нет пропуска, — попытался возразить Никита. — И потом там будет миллион человек, давка, крики, толкотня, а ты все это после увидишь по телевизору. Это же не развлечение. Это действительно опасно.

— Ну вот, я готова. — Я сделала вид, что не слышала возражений мужа.

Утро было обычным — безветренным и солнечным. Но в воздухе стоял стойкий и едкий туман, черно-желтый и какой-то маслянистый.

Отъехав от дома несколько десятков метров, мы увидели на обочине перевернутую, почти полностью сгоревшую машину. Тлели остатки сиденья, распростирая вокруг неприятный запах горячей пластмассы.

— Ты посмотри, сколько их!

На дороге с разным интервалом лежали каркасы сгоревших машин, особенно много было грузовиков. Некоторые из машин уже догорали, другие ухали пустотой бензиновых баков, поднимая высоко вверх снопы искр. Вокруг таких металлических костров суетились кричащие люди, подталкивая палками в огонь еще не занявшиеся части машины.

— Почему нет полиции? — испуганно спросила я.

— Вон полицейский, смотри, но что он может сделать? Ты знаешь, я, кажется, понял, в чем дело. Ведь большинство водителей — сикхи, а машину легко остановить и расправиться с сикхом. Заодно жгут и машины. Это ведь месть. Но водители же ни в чем не виноваты. Да-а, похоже на гражданскую войну... — Никита ехал, лавируя между остатками машин, как фронтовой водитель во время бомбежки.

До Тин Мурти было совсем недалеко, когда машину остановил армейский кордон.

— Дальше частным машинам нельзя, стоянка вправо, — сказал офицер.

Никита поставил машину на огромном пустыре, превращенном в гигантскую стоянку.

К зданию Тин Мурти вела широкая улица. Улица и площадь Трех Сипаев, на которую выходит Тин Мурти, были покрыты, как казалось издаലെка, снегом — белый траур был повсюду. И теперь эта раскаленная снежная площадь, этот центр печали, притягивала к себе всех. Люди-снежинки шли сюда со всех концов города, шли — не таили. Лишь изредка вспыхивали на белом фоне яркие гирлянды оранжевого цвета: белый и оранжевый — два цвета из трехцветного индийского флага.

Пройти на территорию Тин Мурти оказалось довольно сложно. За высокие железные ворота солдаты пускали по одному, тщательно обыскивая. Очередь шла по левую сторону, к белому двухэтажному зданию с колоннами, стоявшему в глубине лужайки. Там, за колоннами, в маленькой, как показалось, комнатке — а на самом деле это был зал приемов, — стоял гроб с телом Индиры Ганди.

Подходя к гробу, молчаливая толпа, как по команде, взрывалась криком: «Да здравствует Индира!», «Да здравствует Индия!», «Индира будет вечно!», «Мы отомстим за тебя!», «Смерть убийцам!», «Смерть сикхам!». Гортанный незнакомый язык резал слух.

Женщина в белом сари, скорее всего христианка и явно не совсем нормальная, стояла на коленях посредине толпы с поднятой вверх правой рукой. Охранники уводили ее за ворота, но она появлялась вновь на том же месте, опять вставала на колени и молча призывала к чему-то. Часто толпа валила ее, она падала, отползала в сторону и снова становилась на колени.

Люди шли группами и поодионочке, целыми семьями, с грудными детьми, приходили вереницы слеп-



цов, классами шли школьники, отрядами — военные, толпами — монашки. Многие, увидев серое лицо Индиры, падали в обморок. Два здоровых охранника быстро оттащивали их в сторону — упавших могли легко затоптать. Почти все несли цветы — или лепестки роз, или оранжевые бархотки, или венки. К цветам тоже были приставлены двое — как только цветов накапливалось слишком много, их собирали в мешок и выносили на задний дворик.

Людей становилось все больше и больше, через ворота уже проходили не поодиночке, а толпами.

— Ася, нам пора уходить, — сказал Никита. — Посмотри, какая толкучка.

Кто-то перелезал уже через высокий металлический забор, а на огромном дереве посреди лужайки гроздьями висели люди. «Мы найдем их!», «Мы отомстим за тебя!».

Нам едва удалось пройти за ворота, как мы услышали за собой скрежет железных запоров. А вечером по телевидению объявят, что как только были закрыты ворота в Тин Мурти, толпа прорвалась с площади внутрь, сломав литые ворота. В саду возникла давка. А люди все ломались, не слушая ни полиции, ни армейских офицеров. Отступили лишь тогда, когда полиция применила гранаты со слезоточивым газом. Итог: 11 затоптанных насмерть, в основном дети, сотни раненых.

На обратном пути Никита заехал в посольство. Его предупредили, что начались беспорядки и нужно по возможности быть дома, а в город выезжать в случае крайней необходимости.

Весь вечер просидели у телевизора. Показывали только прямой репортаж из Тин Мурти, прерываемый через равные промежутки времени пятиминутными молитвами, которые читали представители разных религий — индусы, мусульмане, христиане и сикхи. Иногда вместо молитв звучала классическая индийская музыка — нередко монотонная и тяжело воспринимаемая на слух. Такую музыку обычно поют, подыгрывая на индийском национальном инструменте — ситаре, поют, завывая и произнося несуществу-

ющие слова и необычные звуки, помогая себе при этом руками, вытягивая звук с губ и выпуская его куда-то вверх. Слушать ее было трудно, но она, как никакая другая, очень точно передавала настроение.

В шесть часов вечера по национальному телевидению впервые выступил новый премьер-министр Раджив Ганди. На стене, прямо над ним, висел портрет, с которого улыбалась его мать. Раджив, печальный и подавленный, тихим голосом произнес на двух языках свою первую речь. Пора прекратить беспорядки и убийства, сказал он, полиция, действовавшая до сих пор не в полную силу, будет с настоящего момента подкреплена армейскими подразделениями и станет пресекать любые попытки нарушить стабильность, спокойствие и мирную жизнь нации. Потом добавил еще тише: «Если бы жила была моя мать, она бы не допустила братоубийственного кровопролития».

В восьмичасовых новостях, на хинди, диктор что-то долго говорит, а потом показывают номера каких-то телефонов. Через час в английских новостях идут снятые сегодня в Дели кадры о беспорядках и поджогах. Только в Дели за день убили более ста человек. По городу, однако, ходят слухи, что цифра резко занижена. В Дели стало опасно, особенно сикхам. При полицейских участках им организуют лагеря беженцев, но сикхи, в основном богатые, предпочитают уехать из столицы. Говорят, что из Дели в Чандигарх, столицу Пенджаба, пришел поезд, в котором не осталось ни одного живого человека. Но это опять же слухи. Далее диктор перечислил наиболее опасные в Дели районы и назвал номера телефонов полиции, по которым надо срочно звонить в случае поджога, нападения или хулиганства. Я быстро сбегала за ручкой и записала телефон местной полиции, поскольку наш район стоял на третьем по беспорядкам месте. А в конце новостей несколько раз сообщили, что в Дели вводится комендантский час. Все, кого задержат в комендантский час на улице без пропуска, будут доставлены в полицейские участки для выяснения личности и причин нарушения приказа.

Район был действительно беспокойным. Через пять-

шесть домов от нашего жилья сикхи устроили штаб-квартиру, куда набилось несметное количество людей, все с семьями, чтобы при нападении обороняться кто чем может. Около этой маленькой крепости и днем и ночью ходили вооруженные палками и железными прутами люди, которые в случае опасности поднимали на ноги весь дом.

Создавались и комитеты сопротивления. В них входили люди всех религий, в том числе обязательно сикхи. Они и созданы были из-за сикхов. Такой комитет обычно охватывал всю улицу, а участвовали в нем и мужчины, и женщины, и дети. Женщины дежурили на балконах и предупреждали мужчин о приближении автобуса, машины или группы людей. Мужчины быстро оценивали ситуацию и решали, хватит ли у них своих сил, чтобы защитить людей, или же надо звонить в полицию. И чем больше росли беспорядки, тем многочисленнее и организованнее становились комитеты сопротивления.

Похороны

«...Настал день похорон, — я быстро перепечатывала Никитину статью. — В восемь часов утра доступ к телу Индиры Ганди закрыли. Люди шли круглосуточно пешком из отдаленных штатов, и опоздавшие, усталые и измученные долгой дорогой, толпились на площади.

К половине десятого к Тин Мурти подъехал торжественный эскорт, а к десяти гроб с телом бывшего премьер-министра был возложен на лафет. За орудием, украшенным цветами, тянулась длинная колонна белых «амбассадоров». О маршруте, по которому повезут гроб, было известно заранее, об этом сообщили по радио и телевидению, а план напечатали все газеты.

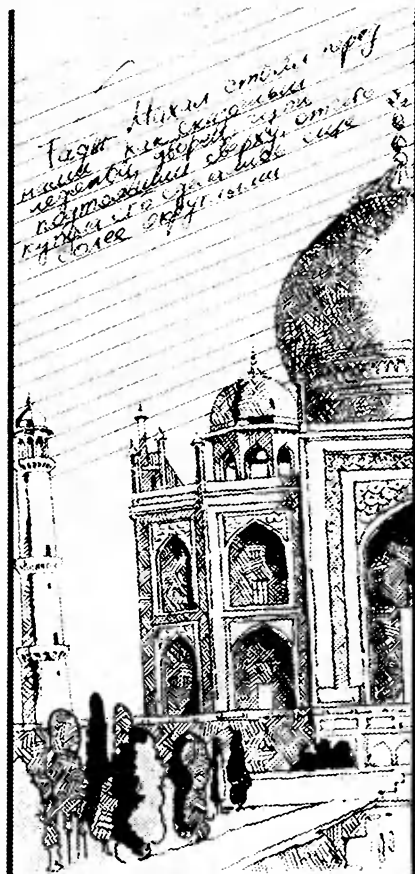
Вот колонна прошла мимо президентского дворца и вступила на Радж Патх. Несмотря на то, что это самый широкий проспект во всей Азии, нигде нет свободного пространства, везде стоят люди. Путь до места кремации долг, четыре часа. Но именно там, на

пути к Красному Форту, хоронят великих индийцев — Махатму Ганди, Джавахарлала Неру. Здесь похоронят и Индиру...»

Посреди огромного поля — я сама видела это перед глазами — установили каменную платформу с возвышением, где произойдет торжественная церемония. Индийцы странно относятся к смерти. Смерть для них так же торжественна и возвышенна, как и рождение. Ведь нередко, умирая, человек освобождается от многих мук и забот. И кто знает, кем или чем станет он в следующем рождении. Зачем горевать заранее?

Вокруг платформы расположены гостевые места. Под солнцем в самое жаркое время дня сидят премьер-министры, короли, королевны, президенты, принцессы и принцы крови, председатели и заместители. Приезжие черным пятном выделяются на огромном белом траурном поле. Как схлестываются два цвета траура! Как противоположны они друг другу — белый, для нас радостный и счастливый, для индийцев — печальный цвет прощания, и черный, мрачный цвет мглы, исстари единственно траурный, а для них — обыкновенный, ничем не примечательный, черный и черный.

Сильные мира сего нетерпеливо обмахиваются веерами и шляпами — великая покойница заставляет себя ждать, чего никогда не делала при жизни, будучи неукоснительно четкой и аккуратной. А гости сидят, как зрители перед помостом, в ожидании страшного, непривычного и совсем не театрального представления. И вот процессия въезжает на поле, и гроб переносят на высокую площадку, на которой уже сложены для костра бревна. Без лишних раздумий служители приступают к делу. Церемонию начинает самый старый гуру с длинными, до пояса, волосами и в одной набедренной повязке. Он бормочет что-то, спешно кланяясь на все стороны света. Кроме него, на платформе много народу, каждый занят делом, и кажется, что готовится грандиозный пир, а не похороны. Один проверяет содержимое глиняных мисочек, другой переливает масло из сосуда в сосуд, третий смотрит, достаточно ли сух сандаловый порошок. И



вот главный гуру заканчивает свою затянувшуюся молитву и дает знак. Тотчас гроб обкладывают толстыми розовыми сандаловыми бревнами — сандаловое дерево горит «чище» любого другого. В руки сыну — костер должен зажечь ближайший родственник — гуру передает сандаловую щепку и горшочек масла. Сын встает у изголовья матери, льет масло на бревно и поджигает... Хорошо промасленное дерево быстро воспламеняется. Торжественный костер зажжен. Белая часть траурного поля всколыхнулась и зашептала... Черная — притихла и сжалась...

Служители, специально обученные церемонии сожжения, следят, чтобы костер разгорался равномерно, подливают в огонь молоко, масло, сыплют сандаловый порошок, мелко нарубленные бананы, благовония. Делают свою работу спокойно, безо всяких эмоций. И потом такова традиция древних, а без этой церемонии какой можно обрести покой?

Мучительное торжество продолжается, и оранжевый костер горит любимым цветом Индиры Ганди посреди бело-черного поля, будто само солнце спустилось проститься с ней. И от костра, как от самого солнца, становится невыносимо жарко, и слезы выступают на глазах...

Бхопал

...Черная полоса, в которую вошла Индия с убийством Индиры Ганди, расширялась и темнела с каждым днем, поглощая еще не охваченные места. Она, эта чернота, владела людьми, застилала свет и поднималась туманом над их домами. Ровно через месяц после похорон, день в день, новая беда пришла в Индию.

Первые страницы всех утренних газет 3 декабря 1984 года начинались одним словом — «БХОПАЛ».

— До чего же не везет, одно за другим. Послушай, Ась.— Никита стал читать вслух:

— «Ночью со второго на третье декабря произошла авария на химическом заводе концерна «Юнион карбайд» в столице штата Мадхья Прадеш городе Бхопале. Высокотоксичный газ метилизоцианид (МИЦ) по невыясненным обстоятельствам вырвался наружу из 15-тонной цистерны, и смертоносное облако пошло на город. По предварительным данным, около тысячи человек погибло, многие находятся в больницах. Всего пострадало около сорока тысяч человек...»

— Господи! Сорок тысяч! Да ведь это целый город! А что это за газ такой?

— Газ, вернее, вещество, которое перерабатывают в пестициды. Это, кстати, был один из самых крупных заводов в Индии. Да-а, ну и дела...— вздохнул Никита.

— А что же теперь будет? Газ ведь может и на Дели пойти.

— Да нет. Во-первых, он не дойдет. До Бхопала, по моему, около семисот километров. Во-вторых, я прочитал, что МИЦ нейтрализуется при соприкосновении с водой или паром. Многих в Бхопале это спасло. Вот почитай, очевидец пишет — обмотал себе все лицо мокрым полотенцем и остался в живых, только глаза пострадали.— Никита передал мне газету.— Читай, я в посольство съезжу.

Никита вернулся через несколько часов, усталый, будто с тяжелой работы. Тем не менее лицо его было торжественно, как в тот самый день, когда ему сообщили о предстоящей поездке в Индию.

— Что случилось? Почему ты такой подозрительно счастливый?

— Ни за что не догадаешься! — заулыбался Никита.

— Во всяком случае, у тебя такой вид, будто ты едешь в Москву.

— Ну уж, скажешь тоже. В Москву! Сейчас дела поважнее есть,— заговорщицки сказал Никита.

Я все поняла.

— Бхопал?..

Никита подошел и обнял меня за плечи.

— Неужели тебе было бы приятнее, если бы я сидел дома, смотрел телевизор, читал газеты, а потом

перекладывал все новости кондовым языком на бу-магу?

— Я поеду с тобой,— только и смогла произнести я.

— Нет,— твердо сказал Никита.— У тебя даже не будет повода обо мне волноваться, я еду всего на один день.— Никита показал билеты, за которыми успел уже съездить.— Вот смотри, вылет в 5.30 утра, а обратный рейс в 10 вечера, значит, около 12 ночи буду дома. Да, и самая главная просьба — в 16 часов выйдет Москва, а я позвоню тебе из Бхопала где-то в два часа дня, чтобы передать готовый текст. В Москву ты сама продиктуешь, ладно? Это очень срочно.

— Я только одно не пойму: как тебе разрешили поездку? Еще ведь ничего не проверено, почему так надо рисковать?

— Как мне разрешили! Мне не разрешили, я ее выбил, эту командировку! Четыре раза к послу ходил! А он мне, знаешь, что сказал? Вы, говорит, у жены спросите.

— А может, тебе прививку какую-нибудь перед отъездом сделать? И вода там заражена, я читала...— Я не знала, что придумать.

— Там сейчас не так опасно, как ты думаешь. Газ улетучился, а новой утечки не будет, это же понятно, Асенька, всего один день, ты даже не заметишь, как он пролетит!

Проводив его, я затеяла генеральную уборку. Расслабляться было нельзя. Если бы я легла, то пролежала бы в напряжении весь день, целиком поглощенная мыслями о Никите, тревожась и представляя, где он сейчас, что делает, с кем разговаривает. Хотя начинать генеральную уборку в пять часов утра было довольно непривычным делом, но именно так можно было отвлечься и убить бесконечно тянущееся время.

К семи часам утра весь дом был перевернут с ног на голову, мебель составлена в одном углу комнаты, а я стояла на стуле и чистила люстру каким-то составом.

И тут меня осенило. Плохая примета! Как же я могла затеять уборку, да еще генеральную! Неужели что-нибудь случится? Хорошо хоть, что мусор не выбросила... Еле удержав равновесие, я оглядела комнату сверху. Да, больше убирать нельзя, и Никита придет в настоящий разгром. Ничего не поделаешь.

Я взяла утренние газеты. Заголовки стали еще крупнее.

«Смертоносный газ унес 2500 жизней», «Ведется расследование причин аварии», «Заражено 50 000 человек». И фотографии. Улицы, заваленные трупами людей и коров. Ослепшая мать с мертвым ребенком на руках. Огромный пылающий костер, в котором сжигают десятки людей сразу, а рядом — братская могила — хоронят мусульман. И лица бхопальцев, трагические, суровые, растерянные...

Завонил телефон. Я вздрогнула, посмотрела на часы. Для Никиты еще рано.

Голос его возник издали и был чуть слышен.

— Аська, милая, все в порядке, не волнуйся,— я скорее догадывалась, чем слышала.— Записывай, я тороплюсь...

Я, не веря еще, что слышу Никитин голос, не дала себе даже удивиться:

— Пишу, диктуй громче!

...Бхопал. С этого слова начинаются сегодня сотни статей, репортажей, комментариев. Оно вселяет ужас в миллионы людей, заставляет задуматься о будущем. Слово, ставшее нарицательным.

Бхопал. Старинный индийский город. Географический центр Индии. Столица самого крупного в Индии штата Мадхья Прадеш. Крупнейший культурный центр страны. Город мечетей и минаретов.

3 декабря 1984 года Бхопал приобрел еще одно название — «химическая Хиросима».

...Ночь со второго на третье декабря выдалась довольно прохладной для Центральной Индии. Город уже спал, когда вдруг взревела сирена химического завода транснациональной корпорации «Юнион карбайд». Проснувшись, люди выбегали из домов и падали тут же, на пороге, от удушья и резкой боли в легких. Многие, решив, что на химическом заводе случился пожар, бежали на вой сирены, к верной ги-

бели. Невидимая смерть настигала их повсюду. Дети умирали на руках у родителей. Ослабевшие старики захлебывались от кашля. Вымирали целыми семьями. За несколько часов цветущий город превратился в гигантскую газовую камеру... До 3 декабря лишь некоторые специалисты-химики в Индии знали о том, что представляет собой высокотоксичный газ МИЦ.

Опыты с метилизоцианидом никогда не ставились даже в лабораториях, так как газ обладает высокой летучестью и может «утекать» даже из плотно закрытой пробирки. Двух частей МИЦ на 100 миллионов частей воздуха достаточно для того, чтобы вдохнувший эту смесь человек погиб или остался калекой. 3 декабря о существовании метилизоцианида узнали жители Бхопала, потом всей Индии, а затем и всего мира. М.И.Ц. Эти буквы вселяют в людей ужас. Газ, за несколько часов получивший печальную известность, стал символом смерти...»

Он все диктовал и диктовал...

— Целую тебя, я скоро приеду! — прокричал Никита, и я машинально записала его слова.

Я так и сидела у телефона. В Москве уже настоящая зима. Снега много-много. Как давно я не видела снега! Целых две зимы. Никогда бы раньше в голову не пришло, что будет не хватать таких простых вещей — снега, мороза, сосулек...

В Москве идет снег. Крупный, сухой, и все улицы завалены сугробами. Как я любила в детстве плюхнуться со всего размаху в высокий мягкий сугроб. И приходила домой обязательно с сосулькой в кармане. А если забывала о ней, то та превращалась в маленькую лужицу под вешалкой. Но чаще я, скидывая на ходу пальто, бережно несла ее, как живое существо, чтобы продлить ей жизнь в морозильнике, и оберегала ее там, чистила от инея, чтобы она была живой и блестящей, и сердилась, когда, не дай бог, сверху ставили миску с мясом. Мама знала об этой моей страсти и старалась не обижать сосулек, каждой из которых я давала имя и отчество. Когда сосулька становилась совсем старенькой, я хоронила ее, избрав самый гуманный, как казалось, способ — наливая в глубокую тарелку холодной воды и укладывала туда несчастную старушку, следя за тем, как она тает, тает, тает, как заостряется и делается прозрачным ее носик, а потом исчезает вообще. Мое лилипутское снежно-сосульчатое королевство ютилось в морозильной камере старенького ЗИЛа. Если маме вдруг вздумывалось размораживать холодильник, я не находила себе места. Я почти что заболела. А после того, как я однажды действительно заболела, мама договорилась с соседями, что они на два дня приютят снежных королей, министров и принцев.

В Москве сейчас наверняка идет снег. Там глубокая ночь, и в нашем переулке тихо-тихо. Снег ложится мягко, на улицах никого, и ему, нетронутому, быть таким еще целых два-три часа. Это утром его сгребут, счистят, утрубуют, а пока — пока его время. Снег падает бесшумно, ветра почти нет. Все спят. В одних окнах свет недавно погас, в других скоро зажжется. Высоко на столбах горят фонари, желто и ярко освещая переулочек в этот поздний час. Снег идет просторно и щедро, еле слышно шелестя по сонным окнам. Снежинки падают, выпущенные из одного облака, — та, что упадет на фонарь, растает до срока; те, что соберутся на крыше, будут таиться там до оттепели, а потом рухнут тяжеленным шматом вниз; некоторые стремятся в тень, подальше от фонарного столба, а другие лягут на самом виду, посередине пути.

Снег сыплется с неба, то усиливаясь, то замирая. Все спят.

Как вы там, в Москве, в снегу, как вы там?

Поскорее бы проснуться.

1985 год

Поэзия



Икрам
АТАМУРАДОВ

Дебют в
ЮНОСТИ

☆☆☆

Там, где издали степь — голуба,
а вблизи — василькова,
на зеленой-зеленой,
на выжженной солнцем траве,
человечек. Мальчишка.
Закинуты руки за голову.
Распрекрасные мысли гуляют
в его голове.
Голубеют мечты,
зеленеют желания чистые.
Он уставился в небо,
наполнил глаза синевой,
обалдел оттого,
что оно голубое, лучистое
и такое большое
уставилось прямо в него.
И какое прозрачное —
небо под пристальным взглядом!
И какое бескрайнее —
небо под пристальным взглядом!
И какое далекое —
небо под пристальным взглядом!
Этот мальчик — один.
И лазурное это — одно.
Человечек и небо,
сегодня они заодно,
ненасытно и жадно
глядятся друг в друга готовы
там, где издали степь — голуба,
а вблизи — василькова.

☆☆☆

Заставляй же меня тосковать.
Так меня тосковать заставляй,
как волна, без которой река —
лишь стеклянное око тоски,
как цветок, без которого степь —
лишь развернутый образ тоски,
как дожди, без которых пустыня —
лишь зыбкая сущность тоски,
как стрижи, без которых просторное небо —
лишь зона тоски.

А иначе не станет меня.
Деревянное тело — не я.
Будут ветры напрасные дуть,
будут бури напрасные гнать
и напрасные молнии жечь.

Перевела с таджикского
А. ШИРОНИНА

Лидия ГИНЗБУРГ

НИКОЛАЙ ОЛЕЙНИКОВ

Николай Макарович Олейников, 1930-е годы. Фотография из фондов музея Пушкинского Дома (ИРЛИ).



К величайшему сожалению, у нас до сих пор нет издания Олейникова. Существуют только публикации отдельных его стихотворений в ленинградском «Дне поэзии», «Литературной газете», «Вопросах литературы» и других газетах и журналах.

Николай Макарович Олейников примыкал к литературной группе Обериу — «Объединение реального искусства» (Заболоцкий, Хармс, Введенский, Бахтерев и другие), сложившейся в Ленинграде в конце 1920-х годов. Олейников не входил формально в это объединение и никогда не принимал участия в публичных выступлениях обериутов. Но он постоянно с ними общался и, главное, писательски был гораздо ближе к обериутам, чем, например, участник объединения Вагинов.

На рубеже 20-х и 30-х годов я много встречалась с этим необыкновенным человеком; Евгений Шварц в своих «Воспоминаниях» назвал его «демоническим».

Свободный от староинтеллигентских навыков в бытовом общении, в своей жизненной манере (он происходил из донской казачьей семьи) Олейников вовсе не был свободен от культурного наследия; он знал русскую поэзию XIX и XX веков. У его собственной поэзии были источники — Мятлев, Козьма Прутков (Олейников называл себя внуком Козьмы Пруткова, посвящал стихи его памяти), шуточные стихи А. К. Толстого, поэты «Искры» и поэты «Сатирикона»¹. И одновременно Хлебников. Поэтической практике Олейникова многое в Хлебникове чуждо — его мифологизм, славянская стихия, корнесловие, его утопии и философия истории. Казалось бы, важнейшие слагаемые хлебниковского мира. И все же традиция Хлебникова живет в олейниковском понимании слова, в принципе его словоупотребления. Этот принцип объединял Олейникова с обериутами.

Козьма Прутков, Саша Черный и Хлебников — что могло получиться из такого скрещения? Получилась система чрезвычайного единства, принадлежащая поэту, узнаваемому по любой строчке (узнаваемость — вообще неотъемлемое свойство настоящего поэта). Признаки этой системы: умышленный примитивизм, однопланный синтаксис при многопланной семантике, гротескные несовпадения между лексической и стилистической окраской слова и его логическим содержанием. Целостность, но образуемая сложно соотносением слагаемыми.

Поэтический язык Олейникова несет разные функции, порождающие разные типы стихотворений.

Есть у него стихи прямо шуточные.

Олейниковской шутке присуще то, что Тынянов, применительно к арзамасскому и пушкинскому кругу, называл *домашней семантикой*. Домашняя семантика зарождалась в атмосфере Детгиза, где в редакции прелестных детских журналов «Еж» и «Чиж» работали Олейников, Евгений Шварц, юный Ираклий Андроников; Детгиз постоянно посещали обериуты. Это была атмосфера непрекращающейся блестящей буффонады, розыгрышей, мистификаций. Николай Чуковский вспоминал Детский отдел Госиздата: «Там постоянно шел импровизированный спектакль, который ставили и разыгрывали перед случайными посетителями Шварц, Олейников и Андроников». Разыгрывался этот спектакль и на других площадках. Например, Т. Липавская в воспомина-

¹ Вот, например, очень «олейниковские» строки из стихотворения сатириконеца П. Потемкина «Влюбленный парикмахер» (1910):

Невертепж мне дух жасминный,
Хоть всегда я вижу в нем
Безусловную причину,
Что я в Катеньку влюблен...
...Жду, когда пройдешь ты мимо...
Слезы каплют на ус...
Катя, непреодолимо
Я к тебе душой стремлюсь.

ниях о Заболоцком рассказывает о том, что Заболоцкий, Хармс, Олейников и Л. Савельев решили вчетвером организовать по воскресеньям «Клуб малограмотных ученых».

В «домашних» стихах Олейникова (стихи этого типа писали и Шварц, и Заболоцкий) присутствуют постоянно всплывающие персонажи из детгизовского окружения. В первую очередь Шварц, с которым Олейникова до конца его жизни связывала тесная дружба.

Я влюблен в Генриетту Давыдовну,
А она в меня, кажется, нет,
Ею Шварцу квитанция выдана,
Мне квитанции, кажется, нет.

Ненавижу я Шварца проклятого,
За которым страдает она!
За него за умом небогатого
Замуж хочет, как рыбка. она!

и т. д.

В шуточных «детгизовских» стихах Олейникова намечается уже его травестийный метод — игра сменяющимися масками. Есть у Олейникова маска высокопарного обывателя и есть маска резонера — «мудреца наблюдателя», «служителя науки».

Маски Олейникова — языковые маски. Их образуют разные пласты его лексики. Но в основе этих стилистических вариантов — единый олейниковский язык, какими-то своими существенными признаками восходящий к традиции Хлебникова.

Напомню некоторые характеристики языка Хлебникова. «Детская призма, инфантилизм поэтического слова... — говорит Тынянов, —...детский синтаксис, инфантильные «вот», закрепление мимолетной и необязательной смены словесных рядов — последние обнаженной честностью боролись с той нечестной литературной фразой, которая стала далека от людей и ежесекунтности». В книге о Хлебникове Н. Степанов писал: «Стихи Хлебникова можно сравнить с картинами художников-примитивистов». Такая же наивная композиция, лишенная перспективы, условная линейная схема в изображении фигур...» О том же пишет и Берковский в посвященной Хлебникову статье сороковых годов: «Сплошные именительные падежи, устранены косвенные отношения, каждая вещь вставлена в группу отдельно, лицом прямо к зрителю...»

Итак, инфантилизм и примитивизм, линейность, честная обнаженность слова. В какой-то мере эта модель применима к стихам Олейникова, хотя осуществляется она иначе и на другом материале.

У Олейникова короткая фраза, синтаксический примитивизм, словосочетания, которые прикидываются прямолинейными. Имитация первозданного названия сопрягается притом с необычайно резкой лексической, семантической фактурой слова. В его стихах слова тоже — лицом прямо к зрителю». А между тем все не совпадает — содержание с выражением, стилистические уровни с ценностной окраской. Одним из самых активных средств этой бурлескной неадекватности является для Олейникова «галантерейный язык» — в новой своей формации.

Галантерейный язык — это высокий стиль обывательской речи. В среде старого мещанства его порождало подражательное отношение к быту выше расположенных социальных прослоек. В галантерейном языке смешивались слова, заимствованные из светского обихода, из понаслышке освоенной литературы (особенно романтической) со словами профессиональных диалектов приказчиков, парикмахеров, писарей, вообще мелкого чиновничества и армейского офицерства.

Смесь ложноромантической высокопарности и «красивости» с элементами галантерейного языка характерна для вульгарного романтизма 1830-х годов. На этой основе сложилась своеобразная, сокрушающая нормы поэтика самого талантливого его представителя — Бенедиктова.

Олейников обратился к новой, современной формации галантерейного языка, — в другом социальном варианте к ней обращался и Зощенко. Галантерей-

ный язык XIX века и галантерейный язык 1920—1930-х годов — это, конечно, разные исторические явления, но их объединяет некий тип сознания. Это сознание не производит ценности, оно их берет, хватает, где попало. Поэтому оно не может понять, что ценности требуют ответственности, что они должны быть гарантированы трудом, страданием, жертвованием низшим высшему. Отсюда непонимание несовместимости разных уровней, разных форм человеческого опыта, воплощенных в слове. Совмещение несовместимого, как принцип словоупотребления. Принципиальная стилистическая какофония.

Из стилистической какофонии проступает во всем своем великолепии галантерейный персонаж. Он любит красивое и путает словесные ряды.

Над системой кровеносной,
разветвленной, словно куст,
воробьев молниеносней
пронеслася стая чувств...

И еще другие чувства...
Этим чувствам имя — страсть.
— Лиза! Деятель искусства!
Разрешите к вам припасть!

(«Послание артистке одного из театров»)

Кровеносная система и любовь до гроба, страсть и деятель искусства, к которому автор просит разрешения *припасть*, — все это слова не на своем месте. Анализируя словоупотребление раннего Зощенко, М. О. Чудакова говорит, что его «интересует... слово испорченное, слово-монстр, употребленное не по назначению, не к месту».

У Бенедиктова стилистическая какофония — результат путаницы ценностных представлений — была неосознанной, простоудушно серьезной. У Олейникова она сознательная, умышленная и потому комическая. Это его устойчивая маска.

Эту маску тут же оттесняет другая; Олейников сам определил ее как образ «мудреца наблюдателя». Этот персонаж — «служитель науки», натурфилософ, математик. Здесь травестируется исследовательское мышление — абсурд в оболочке научных формулировок.

Хвала изобретателям, подумавшим о мелких
и смешных приспособлениях:
о шипчиках для сахара, о мундштуках для папирос.
Хвала тому, кто предложил печати ставить
в удостоверениях,

кто к чайнику приделал крышечку и нос...
...Хвала тому, кто первый начал называть котов
и кошек человеческими именами,
кто дал жукам названия точильщиков,

могильчиков и дровосеков,
кто ложки чайные украсил буквами и вензелями,
кто греков разделил на древних и на просто греков.

(«Хвала изобретателям»)

В этих стихах — в гротескной форме — подчеркнута присутствует хлебниковская традиция. Вещи, освобожденные от «косвенных отношений», стоят «отдельно, лицом прямо к зрителю». Традиция доведена до абсурда сопоставлением синтаксически подобных формул, уравнивающих вещи, взятые из самых различных, несопоставимых смысловых рядов. Хлебниковская традиция служит здесь гротескно-пародийной маске «мудреца наблюдателя».

Зачем нужны эти маски? Они нужны были в той борьбе, которую литературное поколение двадцатых годов вело против еще не изжитого наследия символизма с его потусторонностью и против эстетизма 1910-х годов. В начале 1928 года была опубликована («Афиши Дома печати» № 2) декларация обернута, призывавшая поэтов освободиться от «литературной и обиходной шелухи». У обернутов это хлебниковская установка. По словам Тынянова, «новое зрение Хлебникова... не мирилось с тем, что за плотный и тесный язык литературы не попадает самое главное и интимное, что это главное оттесняется «тарю» литературного языка...»

Олейников пародировал не определенные произведения, не узнаваемых авторов, но именно «краси-

вость», эстетство и вообще слова, не отвечающие за свое значение.

Социальные адресаты насмешки Олейникова скреплялись с адресатами литературными. Издательское словоупотребление Олейникова, его образы, выпадающие из своих языковых рядов, — это реализация борьбы с системой буффорских значений, литературной «тары» для уже не существующих ценностей. Но поэтическая система Олейникова сложна и не замкнута его масками. Олейников — настоящий поэт, и за масками мелькает, то проступая, то исчезая, лицо поэта.

Олейников сформировался в двадцатые годы, когда существовал (наряду с другими) тип застенчивого человека, боявшегося возвышенной фразеологии, и официальной, и пережиточно-интеллигентской. Олейников был выразителем этого сознания. Эти люди чувствовали неадекватность больших ценностей и больших слов, не оплаченных по строгому социальному и нравственному счету. Они пользовались шуткой, иронией как защитным покровом мысли и чувства. И только из толщи шуток высвобождалось и пробиивалось наружу то подлинное, что они хотели сказать о жизни. На высокое в его прямом, не контролируемом смехом выражении был наложен запрет.

Но у поэта есть свой язык, существующий наряду с языками его масок. В стихах Олейникова совершается как бы непрестанное движение от чужих голосов к голосу поэта и обратно. Поэтому язык Олейникова не только выворачивает наизнанку сознание его бурлескных персонажей, но в какой-то мере и сознание самого поэта.

Сквозь маски Олейникова просвечивало и саморазоблачение и самоутверждение поэта. Самоутверждение в неотторгаемых от поэзии ценностях, — скрытых толщей шутки, — в лирическом и трагическом восприятии мира. Об этом уже говорили люди, хорошо знавшие Олейникова и его творчество. Николай Чуковский писал: «Чем ближе подходило дело к середине тридцатых годов, тем печальнее и трагичнее становился юмор Олейникова». И. Бахтерев и А. Ракумовский пишут в статье «О Николае Олейникове»: «За острым словом, за шуткой чувствуется лирическая взволнованность, душевная сила подлинного поэта».

Между голосами масок и голосом поэта граница порой размыта. Серьезное, подлинное мерцает на грани смешного. Поэтому серьезное тоже как бы взято под сомнение. Порою трудно уловить, зафиксировать эти переходы.

От экстаза я болею,
Сновидения имею;
Ничего не пью, не ем
И хую вместе с тем.

Вижу смерти приближенье,
Вижу мрак со всех сторон
И предсмертное круженье
Насекомых и ворон.

Это две соседние строфы стихотворения. Первая из них — откровенная буффонада. Во второй строфе уже движение между буффонадой (постоянная у Олейникова тема насекомых) и подлинным разговором о смерти.

В стихотворении «Ольге Михайловне» среди гротескного текста возникают лирические строки, которые как будто хотят и не могут до конца освободиться от буффонады:

Так в роще куст стоит, наполненный движеньем.
В нем чижик водку пьет, забывши стыд.
В нем бабочка, закрыв глаза, поет в самозабвении
И вс: стремится и летит.
И я хотел бы стать таким навек,
Но я не куст, а человек.

Здесь удивительное переплетение и взаимодействие разных ценностных уровней, скрещение травестированного с настоящим. Куст, «наполненный движеньем», вокруг которого «все стремится и летит», — в самом деле прекрасен. И начинает казаться, что поэт

в самом деле хочет, чтобы его ласкали, но не смеет об этом сказать другими, нетравестированными словами.

Те же соотношения в заключительной строфе стихотворения «Служение науке»:

Зовут меня на новые великие дела
Лесной травы разнообразные тела:
В траве жуки проводят время в занимательной
беседе,

Спешит кузнечик на своем велосипеде,
Запутавшись в строении цветка,
Бежит по венчику ничтожная мурашка...
Бежит... Бежит... Я вижу резвость эту, и меня
берет тоска,

Мне тяжело!

Строфа вышла из буффонады и многое в ней (в частности, несерьезное слово «резвость») тянет туда обратно. Но лесные травы и жуки живут своей странной, инфантильной жизнью хлебниковского примитива. Но прорывается прекрасный стих:

Запутавшись в строении цветка...

Он борется с гротескным контекстом, с тем, чтобы настроить его лирически. И читателю уже мерещится, что «Мне тяжело!», что тоска — это лирическое высказывание.

Стихотворение «Скрипит диванчик...» (озаглавлено «Любовь») — кульминация галантерейного языка и соответствующих предвещаний о любви («Ушел походкой / В сиянии дня...»). Последние его строфы:

Вчера так крепко
Я вас любил —
Порвалась цепка,
Я вас забыл.

Любовь такая
Не для меня.
Она святая
Должна быть, да!

Опять все двойится. Может быть, это гротескная гримаса, а может быть, в самом деле это о высокой любви. Ведь олейниковский поэт не мог бы произнести словосочетание «святая любовь» прямо, не погрузив его в защитную среду буффонады.

У Олейникова есть стихотворение «Посвящение»:

Ниточка, Иголочка,
Булавочка, Утюг...
Ты моя двуколючка,
А я твой битюг.

Ты моя колючка,
Розовый букет.
У тебя есть крылышки,
У меня их нет...

Непредсказуемый подбор вещей, становящихся атрибутами женского начала, — им противопоставляется битюг. Двуколючка, колючка — метафоры нежности, колеблющиеся на острие шутки. Так возникает олейниковская лиричность, избавленная от традиционной лирической «тары» (по выражению Тынянова).

Предвижу, что со мной могут не согласиться. Существует восприятие Олейникова как поэта только комического, пародийного, осмеивающего обывательскую эстетику с ее красотой и лексическим сумбуром. Все это несомненно присутствует у Олейникова, но все включено в сложную систему семантической двупланности, целомудренно маскирующей чувство. О двупланности поэзии 1820-х годов Тынянов писал, что ей свойственно «за стиховым смыслом прятать или вторично обнаруживать еще и другой».

Именно так автор сам понимал свои стихи.

Я сказала как-то Олейникову:

— Я люблю ваши стихи больше стихов Заболоцкого... Вы расшиблись в лепешку ради того, чтобы зазвучало какое-то слово... А он не расшибся.

Он ответил:

— Я только для того и пишу, чтобы оно зазвучало.

Это свидетельство — ключ к самым значительным стихотворениям Олейникова, выступающим из ряда блистательных домашних шуток.

Одно из таких стихотворений «Чревоугодие». В нем представлены оба словесных начала Олейникова — слово, умышленно скомпрометированное, и слово, наконец-то зазвучавшее. «Чревоугодие» имитирует балладное построение, интонацию. Но это поверхностный аспект. В 1930-х годах пародировать балладный жанр было бы бесцельно и совсем несвоевременно. Суть же стихотворения — в скрещении разных пластов поэтического языка Олейникова.

Олейников убежден в том, что предшествующая поэзия не способна больше выразить современное сознание. Это у него общеобернутое. Но Заболоцкий, Хармс связаны с хлебниковской системой ценностей природы и познания и через Хлебникова с прошлым. Олейников пошел дальше. Он начинает с уничтожения наследственных сокровищ. Для того чтобы расчистить дорогу новому слову, ему нужно умертвить старые. Этому служат его языковые маски. Прежде всего маска пошляка, галантерейного человека, потому что язык подложных ценностей самый разрушительный для любых ценностей, к которым он прикасается.

Однажды, однажды
я вас увидал,
Увидевши дважды,
я вас обнимал.

Это первые строки «Чревоугодия». Синтаксис их подчеркнут примитивен, семантика обманчиво линейная. На самом деле она игровая, искривленная. *Дважды, пыл, откровенно, заявил* — все это слова, перемешанные из разных смысловых рядов, «слова не к месту».

Дальше разворачиваются характерные для баллады темы любви и смерти. К ним присоединяется тема голода, столь актуальная для людей, прошедших сквозь годы гражданской войны. Тема голода оборачивается вдруг неудовлетворенным обывательским желанием «покушать».

И снова котлета —
Я снова любил.

Галантерейно мыслящий персонаж проговорился — обнаружил свое истинное отношение к любви.

В «Чревоугодии» трагестируется традиционное тематическое сочетание любви и смерти. Тема смерти была Олейниковым продумана, по свидетельству Л. Савельева, он говорил: «Я видел несколько раз во сне, что я умираю. Пока смерть приближается, это очень страшно. Но когда кровь начинает вытекать из жил, совсем не страшно и умирать легко».

Смерть героя предстает в скрещении романтического ужаса с мрачной буффонадой. Мертвец по ходу баллады становится все галантерейнее, он требует «красивых конфет», лимонада. Бурлеское преломление лермонтовской «Любви мертвеца»:

Я перенес земные страсти
Туда с собой.

И вдруг смешное кончается и начинается тоска —

И нет мне ответа,
скрипит лишь доска.
И в сердце поэта
вползает тоска.

Это настоящая тоска, и принадлежит она настоящему поэту. Но это уже не та тоска и не тот поэт, какие завещаны нам поэтической традицией. Высокие слова прошли сквозь галантерейное растение, предназначенное предохранить непрочное чувство современного поэта от губительной инерции подложных ценностей в «красивой» оболочке.

Это я и имела в виду, когда сказала Олейникову, что он «расшибся в лепешку» ради того, чтобы «завучало какое-то слово»...

«Чревоугодие» имеет подзаголовок «баллада». Такой же подзаголовок присвоен стихотворению «Пере-

мена фамилии». В нем та же двупланность, и комическое причудливо дублируется серьезным. Своим синтаксическим строем стихотворение напоминает экспериментальный примитивизм некоторых вещей Хлебникова. Инфантильно построенными фразами рассказывается о том, как герой, внося в контору «Известий» восемнадцать рублей, переименовал и фамилию.

Козловым я был Александром,
А больше им быть не хочу,
Хочу быть Орловым Никандром,
За это я деньги плачу.

А дальше на том же бурлескном языке речь идет о потере собственной личности, о раздвоении сознания. Герой видит в зеркале чужое лицо, «лицо негодяя», его окружают отчужденные, враждебные вещи. Герой кончает самоубийством —

Орлова не стало, Козлова не стало.
Друзья, помолитесь за нас!

Стихотворение до конца сохраняет пародийную оболочку. Но очевидно — смысл его не в том, чтобы пародировать уже малоактуальный балладный жанр, но чтобы сказать о страхе человека перед ускользающей от него, двоящейся личностью — старая тема двойника, воплощения таящегося в личности зла.

В большом стихотворении, героиней которого является блоха мадам Петрова, — разные языки Олейникова, разные его обличья переплетаются и неуследимо переходят друг в друга. Стихотворение адресовано приятелю, человеку из мира детской литературы начала 30-х годов, особого мира со своими правилами игры. Соответственно начало стихотворения — шуточная «домашняя семантика».

Дальше в гротескной форме возникает хлебниковски-обернутое явление — насекомое.

В последующих строках в текст просочился галантерейный язык. Галантерейный язык разворачивается и строит сразу после этих строк возникающую тему влюбленной блохи Петровой.

Это галантерейное существо с его миропониманием, его эстетикой и искривленными представлениями о жизненных ценностях. Но убогое сознание переживает свою убогую драму. «Прославленный милашка» затоптал блоху Петрову «ногами в грязь».

Значение слов двойится, буффонада становится печальной. В этом можно было бы усомниться, если бы не непосредственно следующие строки; в них маска сдвигается, появляется от себя говорящий автор, поэты. Эти строки ретроспективно перестраивают смысл повествования о блохе Петровой:

Плачет маленький теленок
под кинжалом мясника.
Рыба бедная спросонок
лезет в сети рыбака.

Блоха мадам Петрова включается таким образом в ряд незащитных, беспомощных существ. Они гибнут от руки человека, и в то же время они сами трагически ведут человека, обреченного гибели.

...Дико прыгает букашка
с беспредельной высоты,
разбивает лоб бедняжка,
разобьешь его и ты.

Что это — пародия на лермонтовский перевод из Гете: «Подожди немного / Отдохнешь и ты»? Но пародия на Гете и Лермонтова не имела бы исторического смысла. Скорее это реминисценция, возвращающая трагестированным образом их человеческое значение.

Беззащитное существо, растоптанное жестокой силой, — это мотив у Олейникова повторяющийся. Герой стихотворения «Карась» построен по тому же принципу, что блоха мадам Петрова; то же чередование животных и человеческих атрибутов. Вплоть до авторского обращения к карасю на «вы».

Жареная рыбка, —
Маленький карась, —
Где ваша улыбка,
Что была вчера?

Так же, как блоха Петрова, карась возникает из толщи галантерейного языка, несущего убогие представления о жизни. Карася обожали «карасихи-дамочки». Однажды ему встретила «В блеске перламутра / Дивная мадам». Потерпев любовную неудачу, герой ищет смерти и бросается в сеть. И тут начинается рассказ о жестокости: карася отправляют на сковороду.

Бытовая лексика рассказа о жестокости ведет за собой неожиданную фольклорную интонацию.

Белая смородина,
Черная беда!
Не гулять карасику
С милой никогда.

Фольклорная интонация несет в себе лиричность. Но это лиричность олейниковская — двоящаяся, дублированная бурлеском — карась, смотрящий на часики, «корюшка» в качестве слова любви...

Еще явственнее мотивы жестокости и беззащитности в стихотворении «Таракан». Ему предпослан эпиграф: «Таракан попался в стакан (Достоевский)». Привожу эпиграф в том виде, в каком он дан в публикации «Таракана» сыном поэта А. Н. Олейниковым («День поэзии», Л., 1966). Но и при чтении «Таракан попал в стакан» оказывается, что такой строки у Достоевского нет.

У Достоевского:

Жил на свете таракан,
Таракан от детства,
И потом попал в стакан,
Полный мухоедства...

Олейникову не нужна была точность цитаты; ему нужно было установить связь между гротескным обличьем своей поэзии и гротеском Достоевского. Хотя он, конечно, не думал, что пишет «как капитан Лебядкин, который, впрочем, писал превосходные стихи» (так отозвалась о стихах Олейникова Ахматова). В «Таракане» опять двоящийся животнo-человеческий образ, с помощью которого Олейников рассказывает о насилии над беззащитным. Рассказывает гротескным языком, потому что не умеет, не хочет пользоваться традиционными наречиями поэзии, по его убеждению, уже потерявшими способность означать.

Коллизия жестокости и беспомощности заострена все больше нагнетаемой гиперболичностью — на ма-

ленького таракана направлены огромные, многообразные орудия пытки и убийства.

К таракану подходит палач —

И проткнувши, набок валит
Таракана, как свинью.
Громко ржет и зубы скалит,
Уподобленный коню.

«Таракан» Олейникова вызывает неожиданную ассоциацию с рассказом Кафки «Превращение». Это повествование о мучениях и смерти человека, превратившегося вдруг в огромное насекомое (некоторые интерпретаторы считают, что это именно таракан). Совпадают даже некоторые сюжетные детали. У Кафки труп умершего героя служанка выбрасывает на свалку, у Олейникова —

Сторож грубою рукою
Из окна его швырнет...

Скорее всего это произвольное сближение двух замыслов, потому что в те времена Кафка не был еще у нас популярен, и Олейников едва ли его читал. Между тем историческое подобие между Олейниковым и старшим его современником, несомненно, существует.

Классическая трагедия и трагедия последующих веков предполагала трагическую вину героя или трагическую ответственность за свободу им выбираемую судьбу. XX век принес новую трактовку трагического, с особой последовательностью разработанную Кафкой. Это трагедия посредственного человека, бездумного, безвольного («Процесс», «Превращение»), которого тащит и перемалывает жестокая сила.

Это коллизия и животнo-человеческих персонажей Олейникова: блохи Петровой, карася, таракана, теленка, который плачет «под кинжалом мясника». Сквозь искривленные маски, буффонаду, галантерейный язык с его духовным убожеством пробивалось очищенное от «тары» слово о любви и смерти, о жалости и жестокости.

Олейников — сам человек трагического мироощущения и трагической участи. Он был незаконно осужден и погиб. О своем настоящем поэтическом слове он сказал:

— Я только для того и пишу, чтобы оно зазвучало...

«Юность» предлагает своему читателю некоторые стихотворения Н. Олейникова и его поэму «Пучина страстей», печатаемые по автографам, хранящимся у сына поэта, Александра Олейникова.

Николай ОЛЕЙНИКОВ

Муха

Я муху безумно любил!
Давно это было, друзья,
Когда еще молод я был,
Когда еще молод был я.

Бывало, возьмешь микроскоп,
На муху направишь его —
На щечки, на глазки, на лоб,
Потом на себя самого.

И видишь, что я и она,
Что мы дополняем друг друга,
Что тоже в меня влюблена
Моя дорогая подруга.

Кружилась она надо мной,
Стучала и билась в стекло,

Я с ней целовался порой,
И время для нас незаметно
текло.

Но годы прошли, и ко мне
Болезни сошлись толпой —
В коленках, ушах и спине
Стреляют одна за другой.

И я уже больше не тот.
И нет моей мухи давно.
Она не жужжит, не поет,
Она не стучится в окно.

Забутые чувства теснятся
в груди,
И сердце мне гложет змея,
И нет ничего впереди...
О, муха! О, птичка моя!

Влюбленному в Шурочку (Надклассовое послание).

Неприятно в океане
Почему-либо тонуть —
Рыбки плавают в кармане,
Впереди неясен путь.

Так зачем же ты, несчастный,
В океан страстей попал,
Из-за Шурочки прекрасной
Быть собою перестал?!

Все равно надежды нету
На ответную струю,
Лучше сразу к пистолету
Устремить мечту свою.

Есть печальные примеры —
Ты про них не забывай! —
Как любовные химеры
Привели в загробный край.

Если ты посмотришь в сад,
Там почти на каждой ветке
Неселые сидят,
Будто запертые в клетки,
Наши старые знакомые
Небольшие насекомые:
То есть пчелы, то есть мухи,
То есть те, кто в нашем ухе
Букву Ж изговлаляли,
Кто летали и кусали
И тебя и твою Шуру
За роскошную фигуру.

И бледна и нездорова
Там одна блоха сидит,
По фамилии Петрова,
Некрасивая на вид.

Она бешено влюбилась
В кавалера одного!
Помню, как она резвилась
В предвкушении его.

И глаза ее блестили,
И рука ее звала,
И близка к заветной цели
Эта дамочка была.

Она юбки надевала
Из тончайшего пике,
И стихи она писала
На блошином языке:
И про ножки, и про ручки,
И про всякие там штучки
Насчет похоти и брака...

Оказалось однако,

Что прославленный милашка
Не котенок, а хам!
В его органах кондрашка,
А в головке тарарам.

Он ее сменил на деву —
Обольстительную мразь —
И в ответ на все напевы
Затоптал ногами в грязь.

И теперь ей все постыло —
И наряды, и белье,
И под лозунгом «могила»
Догорает жизнь ее.

...Страшно жить на этом свете,
В нем отсутствует уют, —
Ветер воет на рассвете,
Волки зайчика грызут,

Улетает птица с дуба,
Ищет мяса для детей,
Провидение же грубо
Преподносит ей червей.

Плачет маленький теленок
Под кинжалом мясника,
Рыба бедная спросоник
Лезет в сети рыбака.

Лев рычит во мраке ночи,
Кошка стонет на трубе,
Жук-буржуй и жук-рабочий
Гибнут в классовой борьбе.

Всё погибнет, всё исчезнет
От бациллы до слона —
И любовь твоя, и песни,
И планеты, и луна.

И блоха, мадам Петрова,
Что сидит к тебе анфас, —
Умереть она готова,
И умрет она сейчас.

Дико прыгает букашка
С беспредельной высоты,
Разбивает лоб бедняжка...
Разобьешь его и ты!

О нулях

Приятен вид тетради

клетчатой:
В ней нуль могучий помещен,
А рядом нолик искалеченный
Стоит как маленький лимон.

О, вы, нули мои и нолики,
И вас любил, я вас люблю!
Скорей лечитесь,

меланхолики,
Прикосновением к нулю!

Нули — целебные кружочки,
Они врачи и фельдшера,
Без них больной кричит
от почки,
А с ними он кричит «ура».

Когда умру, то не кладите,
Не покупайте мне венков,

А лучше нолик положите
На мой печальный бугорок.

Послание, одобряющее стрижку волос

(Наташе Шварц)

Если птичке хвост отрезать —
Она только запоет.

Если сердце перерезать —
Обязательно умрет!

Ты не птичка, но твой локон —
Это тот же птичий хвост:
Он составлен из волокон,
Из пружинок и волос.

Наподобие петрушки
Разукрашен твой овал,
Покрывает всю макушку
Волокнистый материал.

А на самом на затылке
Светлый высыпал пушок —
Он хорошенькие жилки
Покрывает на вершок.

О зови, зови скорее
Парикмахера Матвея!
Пусть означенный Матвей
На тебя прольет елей*.

Пусть его ножи стальные
И машинки застучат,
И с твоей роскошной выи
Пух нежнейший удалат.

Где же птичка, где же локон,
Где же чудный птичий хвост,
Где волос мохнатый кокон,
Где пшеница, где овес?

Где растительные злаки,
Обрамлявшие твой лоб,
Где волокна-забияки,
Где петрушка, где укроп?

Эти пышные придатки,
Что сверкали час назад,
В живописном беспорядке
На полу теперь лежат.

И дрожит Матвей прекрасный,
Укротитель шевелюры,
Обнажив твой лоб атласный
И ушей архитектуру.

Машинистке на приобретение пелеринки

Ты надела пелеринку,
Я приветствую тебя.
Стуком пишущей машинки
Покорила ты меня.

Покорила ручкой белой,
Ножкой круглою своей,
Перепискою умелой
Содержательных статей.

Среди грохота и стука
В переписочном бюро
Уловил я силу звука
Ремингтона твоего.

Этот звук теперь я слышу
Днем и ночью круглый год,
Когда град стучит по крыше,
Когда сверху дождик льет,

Когда птичка распевает
Среди веток за окном,
Когда чайник закипает
И когда грохочет гром.

Пусть под вашей пелеринкой,
В этом подлинном раю,
Застучит сильнее машинки
Ваше сердце в честь мою.

Перемена фамилии

Пойду я в контору «Известий»,
Внесу восемнадцать рублей
И там навсегда распрощаюсь
С фамилией прежней моей.
Козловым я был Александром,
Но больше им быть не хочу.
Зовите Орловым Никандром,
За это я деньги плачу.
Быть может, с фамилией новой
Судьба моя станет иной
И жизнь потечет по-иному,
Когда я вернусь домой.
Собака при виде меня

не залает,
А только замашет хвостом,
И в жакте меня обласкает
Сердитый подлец управдом.

Свершилось! Уже не Козлов я,
Меня называть Александром
нельзя,

Меня поздравляют,
желают здоровья

Родные мои и друзья.
Но что это значит? Откуда
На мне этот синий пиджак?
Зачем на подносе чужая

посуда?
В бутылке зачем вместо
водки коньяк?

Я в зеркало глянул стеное,
И в нем отразилось чужое
лицо.

Я видел лицо негодяя,
Волос напомаженный ряд,
Печальные, тусклые очи,
Холодный, уверенный взгляд.
Тогда я ощущал себя,

свои руки,
Я зубы свои сосчитал,
Потрогал сукожные брюки
И сам я себя не узнал.
Я крикнуть хотел —

и не крикнул,
Заплакать хотел — и не смог.
Привыкну, — сказал я, —

привыкну.
Однако привыкнуть не мог.
Меня окружали привычные
вещи,

И все их значения были
зловещи.
Тоска мое сердце сжимала,
И мне же моя же нога
угрожала.

Я шутики шутил! Оказалось, —
Нельзя было этим шутить,
Сознание мое разрывалось,
И мне не хотелось жить.
Я черного яду купил

в магазине,
В карман положил пузырек, —
И вышел оттуда шатаясь,
Ко лбу прижимая платок.
С последним коротким

сигналом
Пробьет мой двенадцатый час!
Орлова не стало,

Козлова не стало,
Друзья, помолитесь за нас!

* Примечание: под елеем подразумеваются одеколон.

Среди лауреатов Государственной премии СССР за 1987 год

в области литературы и искусства — поэты

Евгений ВИНОКУРОВ и Игорь ШКЛЯРЕВСКИЙ.

*Своей творческой судьбой они давно и прочно связаны
с нашим журналом, не случайно именно редколлегией «Юности»
они были выдвинуты на соискание этого высокого
знака общественного признания.*

*От имени читателей «Юности» и всех любителей поэзии
мы горячо поздравляем лауреатов, желаем им
новых книг, новых открытий в поэзии.*

Признание к Евгению Винокурову пришло сразу. В 1946 году он поступил в Литературный институт. В 1948 году, предвзяв подборку его стихов в журнале «Смена», И. Г. Эренбург писал: «Кажется, одним поэтом стало больше». В 1951 году вышла первая книга поэта «Стихи о долге», а после выхода второй книги, «Синева», позвонила Анна Ахматова, прислал письмо Борис Пастернак. В 1953 году было написано стихотворение «Серёжка с Малой Бронной», которое, став песней, известно всем.

— Чем является для вас поэзия?

— Поэзия — не профессия, а состояние души. Мне давали два противоположных совета: «Ни дня без строчки» и «Пиши только тогда, когда не можешь не писать». Я за второе. Сейчас преподаю в Литературном институте. Чему можно научить? Поэзия — это род искусства, где техника ничто, а личность — всё. Учу их не соглашаться со мной, вырабатывать ЛИЧНОСТЬ.

— Как вы относитесь к теперешнему молодому поколению?

— Могу сказать одно: есть молодежь талантливая и неталантливая. К первой отношусь очень хорошо.

Юность Евгения Винокурова пришлась на военные годы. Осенью 1943 года принял артиллерийский взвод. Ему не было еще и восемнадцати... И поэтому тема войны проходит красной нитью через все творчество поэта.

— Евгений Михайлович, вами пройден немалый творческий и жизненный путь, написано больше тысячи стихов, сотни переводов, двадцать ваших книг издано за рубежом. Вам присвоена Государственная премия. Можно ли подвести какой-то итог?

— Ни в коей мере! Существуют новые планы, новые замыслы. И пока у меня будут силы, я буду работать.

Расспрашивал поэта Георгий ИЛЬИЧЕВ



— Игорь Иванович, ваш поступок необычен: все денежное вознаграждение за Государственную премию вы отдали на посадку леса на берегах Припяти. Но, читая ваши стихи, понимаешь, что это не просто благородный жест. Наверное, пришло время «отдавать долги»?

— Я хочу свои стихи о лесах продолжить живым зеленым лесом. Однажды я приехал в город своего детства — развалины уже снесли, люди ходили в нарядной одежде. А взойшел на днепровскую кручу, посмотрел вокруг — леса истрепались, луга износились, и небо протерлось. Как будто все это не наше — за пределами личных квартир. И все мы Землю жалеем, а ей от этого не легче.

Из сознания человека выпало пространство, он незаметно смирился с тем, что бессмертное стало смертным, он уже не знает, как он близорук в своей любви к ближним. Последний кусок хлеба отцы отдавали детям, деды — внукам: «Пусть за нас поживут», а воду у этих же внуков сейчас отнимаем. Хлеб — святыня, а вода — мать людей и цветов, зверей и колосьев — не святыня. Ведь это же нелепость! Пропало физическое ощущение времени как живой воды. В детстве, в юности сильнее всего меня волновала бесконечность. Ночью у костра мы говорили о ней, и не могли ее понять, и не могли смириться с этим непониманием. Это доводило нас до какого-то иступления, сладостного отчаяния, и, обессилив, мы засыпали с надеждой, что время еще есть, что мы еще поймем...

— У вас большая радость. С кем вы разделите ее?

— Я хочу разделить мою радость с моим городом, с улицей детства, с моей днепровской кручей и с журналом «Юность», где печатались первые мои стихи.

— И еще один вопрос, Игорь Иванович: Вы и «Юность»?

— «Юность» для меня больше, чем журнал. Это и моя юность, и публикация первых стихов, и милосердные иомандировки, когда не было денег доехать домой. Я их честно отработывал. Это — юный Олег Чухонцев и незабвенный Сергей Дрофенко, красивый, умный, благородный...

В другие журналы я приходил со стихами, а в «Юность» — и без стихов, и просто так. И повесть «Тень птицы», и книга заметок о поэзии, и отблески «Слова о полку Игореве», и стихи из книги «Слушаю небо и землю», и «Слово о мире» — все это печаталось в «Юности». У меня такие есть строчки:

Лес над рекою зеленой склонился —

Желтый в реке отразился.

А с «Юностью» у меня все наоборот. Мой желтеющий лес склонился над рекой времени, а мой зеленый — отражается!

Интервью взяла Инна МИХАЙЛОВА



Марк
ЛИСЯНСКИЙ

Кукареку

Всей музыкой стиха
Прославим петуха!
Он утро возвещает
И, что таить греха,
Он душу возвышает,
Когда она глуха,
Прославим петуха!

Чтоб сумрак превозмочь
И опрокинуть лень,
Он превращает ночь
В обыкновенный день.

Подъем играет он:
Постель свою оставь!..
Он превращает сон
В сиятельную явь.

Он требует: не спать,
На всю катушку жить,
И осчастливить мать,
И к другу поспешить.

Я слышу сквозь тоску
И сквозь мою строку:
Кука-кукареку!
Кука-кукареку!

Приближение к будущему

Сплетение противоречий
Нас в жесткий берет переплет.
Речами сменяются речи,
Заботы ложатся на плечи,
И движется род человеческий
Вперед, и вперед, и вперед.

Меж кромкой земною и светом
Небесным струится струна,
То нить горизонта продета
Сквозь сумрак над нашей планетой.
Чем ближе мы к линии этой,
Тем дальше и дальше она.

Сегодня мы внемлем пророку,
А завтра не вспомним о нем.
Дорога находит дорогу,
Тревога сменяет тревогу,
И мы говорим: слава богу,
Еще мы на свете живем!

На свете морозно и грозно,
О сыне тревожится мать,
На свете и горько и слезно,
Но верится: рано или поздно

С небес, где просторно и звездно,
На нас снизойдет благодать.

Памяти Бориса Пастернака

Безмолвствовал июньский теплый день,
А он лежал под траурною сенью.
В его саду лиловая сирень
Соседствовала с белою сиренью.
И яблони, роняя вешний цвет,
Протягивали ветки в окна дачи,
Где прожил он без мала сорок лет,
Где каждый лист ему сулил удачу.
А в комнате соседней — вздох и стон,
То стонет и вздыхает фортепьяно,
И Рихтер, без вина — от горя — пьяный,
Опережает похоронный звон.
И кажется, в раю, а не в аду,
Сидит в саду под яблоней, как Ева,
Задумчивая женщина, а слева
Рыдает Паустовский в том саду.
1960 г.

Прошу тебя

Жизнь, женщина, желание и жалость
Во мне слились в один комок огня.
Я так прошу тебя, чтоб ты осталась
Жить на земле, когда исчезну я.
И, вспоминая о судьбине бедной,
О непутевой думая звезде,
Не будь жестокой и немилосердной
К чужому счастью и к чужой беде.
Я так желаю, так повелеваю,
Я так. — прости, пожалуйста, — хочу.
Во тьме горит ромашка полевая,
И бабочка из тьмы летит к лучу.
Продлись любая в этой жизни жалость,
Любая малость света и тепла.
Молиться буду, чтобы ты осталась,
И драться буду, чтобы ты была.



Владимир
ЛЕОНОВИЧ

Серая желтуха

— Не разжигайте страсти, Леонович, —
мне выговаривал редактор Мамин
и этим страсть во мне он разжигал,
и без того горевшую надежно,
и, чтобы уберечь от лишнего мыслей
себя и всех читателей газеты,
абзац нечистый осенял крестом
осьмиконечным. — Пишете заумно,
подумайте...
Я думал: что за блажь
заставила завхоза пожилого,
а некогда работника охраны,
заканчивать редакторские курсы —
Сощурился день синеглазый,
Земной покидая предел.

Дуэт соловьиный в экстазе
 Бушует, невидимый глазу,
 А небо еще не в алмазах,
 Как этого Чехов хотел.
 и он теперь заведует газетой
 и мыслями моими и вообще...
 И рисовало мне воображение
 огромный склад, где мысли, где идеи,
 обшитые досками, руберойдом,
 огромные стоят, а в уголку
 сидит завхоз — и ни себе, ни людям.
 Хоть воровал бы, что ли...
 На столе оригинал изрубленной статьи:
 кресты на ней стоят, как на погосте,
 и, под крестом своим изнемогая,
 редактор Мамин ищет вредный смысл
 в не перечеркнутых еще абзацах,
 и древняя железная болезнь
 в лице его — как серая желтуха,
 глаза ожесточились, и рука
 зажала карандаш железной хваткой.
 Так время побеждает человека
 и останавливается на нем,
 как след от колеса...
 И ты — позволил,
 и оправдал его, и не пытался
 на нем — оттиснуть душу!
 Оправданий у вас достаточно. У вас их столько,
 что мне придется вас благодарить...
 Снимайте — всю статью. В корзину кинем
 обрубки! Время терпит до поры,
 и долг русский долг, товарищ Мамин, —
 и я вам не товарищ.

☆☆☆

Гроза очевидная и безнадежно сухая
 подходит и топчется, глухо ворча и перхая.

Гроза без грозы — утомительная душегубка —
 вся хмарь — без характера, без лица

и поступка.

Не эта долина, не эта зазубрина Грени,
 а это повинно такое бездарное время —
 такая усталая и безнадежная мякоть,
 от коей так хочется пить и не можется
 плакать.

...Живу на задворках, куда гуляют застоля.
 Там славят — потом обругают — эпоху застоя.

И то, и другое, я думаю, дело пустое,
 стихи продолжая и твердо обеими стоя

и в семидесятых, и в нынешних
 восьмидесятых —
 единых, коротенькой этой дефиской разъятых.
 Годы 70—80-е.

Чем земля красна

Река была утомлена
 своей борьбой терпеливой
 и шла, прозрачна и черна,
 и повторяла кропотливо
 левобережный дальний бор,
 стволами золота и черни
 лежащий поперек течения,
 и древний крепостной собор,
 разрушенный перед войною,
 но золотом и белизною
 мерцающий на лоне вод,
 пока идет последний лед
 и рассыпает бредина
 по щебню золотые купы,
 и туристические группы
 внимают, чем земля красна,
 хотя полу-Калязин с борта
 и выглядит весьма негордо.
 Где Волга делает дугу,
 запечатлеют колокольню
 в воде на правом берегу,

и по весеннему раздолью
 и с песней проплывают мимо...
 А колокольню ту сберег,
 сломав ненужный алтарек,
 кружок Осоавиахима:
 оставил для прыжков и риска,
 но девочка-парашютистка
 разбилась там. Молва темна:
 де, отомстила старина
 несправедному Волгострою.
 Теперь библейской стариною
 звучит Осо-ави-ахим
 (когда не вовсе быть глухим) —
 как Авраам, как Досааф...
 Самих себя не опознав,
 живем в предании, как дома —
 в сознании дремучих прав
 уничтоженья и разгрома.
 Последний лед из-под Дубны
 плывет, не зная глубины,
 плывет, и льдина-лебеда
 на отмель нехотя садится —
 на щебень крепостной стены,
 где нежно купа золотится
 медовой ивы-бредины.

Позимуй да полетуй

Век живет у оврага
 березина вниз головой.
 Стройны отпрыски: только и правды,
 что на березе кривой.
 Бабка, кошка, козлуха
 в деревеньке лесной.
 Разговаривает старуха
 с Тишиной.
 Это слыше
 ей дар таковой.
 Опирается на косовище,
 клонится над травой.
 У худого покоса
 гнет тебя пополам...
 Знак вопроса,
 не ясного нам.
 Позимуй да полетуй,
 не пыли прямоюй
 возле спиннушки этой
 либо — той.

Гефсиманская сонливость

Чтоб душа моя осталась
 с Господом наедине,
 чтобы мука обо мне
 совестью продолжалась;
 чтобы славная продлилась
 жизнь апостолов моих,
 гефсиманская сонливость
 одолела их.

Чтобы длилась совесть-мука
 и сердечная излука
 никакая чтоб
 обо мне не соблазнилась...

Что же им, однако, снилось,
 омрачая лоб?

Тем же часом легионы
 ангелов наготове
 трепетали полусонно
 в голубой листве

и в тяжелом полудужье
 плыл отцовский лик...
 Никого не звал к оружию
 наш архистратиг.

Лучший замысел господа,
 горький мой урок —
 лучшим временам угоден,
 а пока — невпрок...

Олег
КОКИН

АМЕРИКА ЭНДРЮ УАЙЕТА

Можно ли изобразить сквозняк, открывший вашу дверь, или написать акварелью звук шагов по сухой траве? Можно ли услышать шорох мыши в картине, на которой изображен чердак с косыми бликами солнца из слухового окна? Можно ли почувствовать вкус ледяной воды в ведре около дома, глядя на пейзаж? Да. Можно. Если он написан художником Эндрю Уайетом.

Он родился семьдесят лет назад в Чадс-Форде, штат Пенсильвания, в семье известного американского художника Ньюэлла Конверс Уайета.

Эндрю, начавший рисовать очень рано, не имел другого учителя, кроме своего отца, славившегося знаменитым иллюстратором к произведениям Роберта Стивенсона и Фенимора Купера.

Среди сверстников друзей у Эндрю почти не было. Это отчасти объяснимо тем, что он рос слабым ребенком и учился только дома. Педагогический метод отца сочетал железную дисциплину и уважение к основам рисования с призывом учиться у окружающей природы. «Надо много работать и просто жить», — говорил Уайет-старший. Его сын следует этой творческой позиции.

В 28 лет Эндрю внезапно потерял отца — тот погиб в автомобильной катастрофе.

Начав работать самостоятельно, Эндрю отказывается от масляных красок, которыми писал отец. Его бесило, что приходится ждать, пока краска высохнет, чтобы переписать детали. Он избрал акварель и темпера. Лишь они позволили ему создать неповторимый колорит сумерек, пасмурных дней американской провинции.

В эпоху 50-х годов, когда абстрактное искусство активно заявило о себе на художественном рынке, когда сюрреализм и поп-арт владели умами художников и их меценатов, Уайет не отступил от реализма гуманистического. Он сознательно ограничил географию изображаемого им мира — от предметов на окне своего дома до окрестностей соседних фермеров. В самом деле, вы не увидите на картинах Эндрю Уайета известные всем небоскребы Америки.

Вот акварель «Послеполуденный побег», на которой изображен Джимми Линч — сосед художника. Его обвиняют во многих проделках. Немногим людям он доверяет, и один из них — художник Эндрю Уайет. Вспоминается Уолт Уитмен:

Если тот, кого я люблю, пойдет побродить со мною
или сядет рядом со мною, держа мою руку в своей,
Что-то неуловимо-неясное, какое-то знание без слов
и мыслей охватит нас и проникнет в нас...

Позирующие художнику соседи или родственники отнюдь не чувствуют себя скверно в позе натурщика. Они живут в пространстве картины. Более того: кажется, что кто-то вышел из дома Кернеров или Олсонов или войдет вновь, чтобы взять окаменевшую раковину со стола. Вот она, уайетовская живопись, со всеми шорохами и запахами его изысканных композиций.

В картине «Примятая трава» мы видим собственные ноги художника, шагающего по осеннему полю. Эндрю Уайет считает это полотном своим единственным автопортретом.

В беседах с критиком Э. Уайет говорил: «Когда я писал «Майский день», то долго лежал в лесу на земле, по мне ползали всякие жуки, но мне нужно было чувствовать, как пробивается эта весенняя трава».

В конце шестидесятых годов мы зачитывались романом Сэлинджера «Над пропастью во ржи». Так вот, на обложке этой книги была воспроизведена темпера Уайета «Сын Альберта» — прекрасный портрет мечтательного мальчика, облокотившегося на косяк двери. Это первое — мимолетное — наше знакомство с художником запомнилось. А позже посетители выставок современного искусства США в СССР могли видеть и работы Уайета. Десять лет назад ему было присвоено звание почетного члена Академии художеств СССР, но нашему широкому зрителю он стал известен лишь с весны прошлого года, когда в Москве и Ленинграде состоялась выставка «Три поколения Уайетов» — отца Н. К. Уайета, Эндрю Уайета и его сына, тоже художника, Джеймса Уайета.

Сейчас известно около 500 произведений художника. Многие из них — в частных коллекциях и галереях мира. За последние тридцать лет его выставки в США привлекали огромные толпы, побив все рекорды. Он по праву считается национальным художником. Стали классическими его картины: «Молодая Америка», «Мир Кристины», «Ветер с моря».

Каждый пейзаж Эндрю Уайета тревожит. Сохраним ли мы этот прекрасный мир, в который вводит нас художник?



Э. Уайет. Фото 80-х годов.



Шагающий по сорной траве. 1951 г.

Из произведений
почетного члена Академии художеств СССР
ЭНДРЮ УАЙЕТА (США)



Вдали от дома. 1952 г.

Кернеры. 1971 г.





По течению. 1982 г.

Любовь. 1981 г.





Послеполуденный побег. 1970 г.



**Заметки
о монументальной
скульптуре**

Обсуждение проекта памятника Победы на Поклонной горе взбудоражило общественное мнение и заставило наконец начать разговор о той кризисной ситуации, в которой оказалась наша монументальная скульптура. Правда, разговор этот довольно быстро сошел на нет, и после непродолжительной перепалки между некоторыми группами, вызванной результатами открытого конкурса, а если быть точным — его безрезультатностью, и вовсе прекратился. По крайней мере в печати сейчас встречаются лишь статьи о торжественном открытии того или иного памятника да юбилейные очерки о творчестве маститых скульпторов. Все как в прежние годы. Словно не оставили они нам в наследство бесчисленное количество бесформенных железобетонных кубатур, похожих одна на другую, не украсивших, а изуродовавших лики наших городов, не сохраняющих, а нивелирующих нашу память о славных страницах нашей истории.

Мы пришли к тому, к чему должны были прийти. Вызывающие протест в наших душах памятники «застойных лет» суть тех же явлений, что и поворот северных рек. Бесконтрольное расходование колоссальных средств, узкий, недоступный для критики круг людей, ведающих всеми делами. Друг другу заказывали работу, друг у друга ее принимали. Высокие



ставки авторских гонораров прочно удерживали на Олимпе маститых творцов «человеческих тел».

Были, были удачные работы, которыми можно гордиться. Но были и бездушные надгробья нашей памяти. В латышском городке Валка снесли бульдозерами воинское кладбище с небольшими монументами, на которые пионеры нанесли имена всех, кто был тут захоронен, годами разыскивая имена погибших солдат. Снесли и залили бетоном, взгромоздив невнятные контуры. Подобных примеров можно привести немало, ограничусь еще лишь одним. Стояла на потоке (!), с ГОСТом, как у стройдеталей, серия воинских монументов. По государственному стандарту одели в низкопробный бетон самодельные, с бесхитростной звездочкой, но трогательные своей искренностью памятники погибшим дедам, отцам, сыновьям, братьям. Лишенные духовности, эти глыбы порождают бездуховность сердец.

И в малых городах, и в больших — стандартные, безмолвные, дорогостоящие изваяния. Их больше, чем работ талантливых. Так было. Впрочем, говорить обо все этом в прошедшем времени нельзя, а очень хочется. Но пока многое остается по-прежнему. Даже получившие наконец-то право на существование открытые конкурсы ничего в принципе не изменили.

Конкурсы проектов памятника Победы, памятника декабристам в Иркутске, конкурс на новое место для памятника «Рабочему и колхознице» не дали никаких результатов. Что происходит?

Курская аномалия

Курск. Остановка «Монумент». Десять лет троллейбусы, не сбавляя хода, проносятся мимо. Водители привыкли к тому, что пассажиры здесь не выходят. Неподалеку от дорожного щита с названием остановки ошестинились железной порослью арматуры две огромные бетонные плиты. Остановка и плиты — вот и все, что представляет из себя на сегодняшний день Монумент в честь битвы на Курской дуге.

Рисунки Г. Мурышкина.

О том, что происходит с Монументом, в Курске знают немногие — городское руководство и часть сотрудников «Курскгражданпроекта», которые готовят рабочую документацию для сооружения Монумента. Сам проект создается в Москве. Там круг посвященных людей еще уже — члены авторского коллектива и несколько должностных лиц в Министерстве культуры СССР.

Чтобы избежать лишней огласки, на телефонном канале связи Курск — Москва долгое время действовала строжайшая инструкция. По всем вопросам, связанным с работой над Монументом, курским проектировщикам следовало звонить лишь в приемную ректора Суриковского института, руководителя авторского коллектива П. И. Бондаренко, представляясь секретарше предельно просто: «Из Курска. По делу».

История «дела» кратко выглядит так.

Двадцать лет назад было принято решение соорудить Монумент в честь битвы на Курской дуге. Министерство культуры СССР объявило конкурс — заказное составление нескольких масштабных скульптуров. Результатов конкурс не дал. И тогда Е. В. Вучетич предложил рассмотреть его проект Монумента, над которым он самостоятельно работал уже пять лет. Проект рассмотрели. Одобрили. В Курске по этому поводу установили памятный камень, а местная фабрика выпустила сувениры.

Вскоре, впрочем, и проект Вучетича был признан творческой неудачей. В 1974 году работа над ним была прекращена. Спустя три года проектирование нового Монумента поручили скульптору П. И. Бондаренко.

К этому времени три из шестнадцати миллионов рублей, выделенных на сооружение Монумента, ушли в фундамент. Поэтому главное требование к новому проекту было одно: Монумент должен быть равным преждему по массе — фундамент-то готов. Художественное решение предполагалось найти в процессе работы.

За десять лет ни одно издание, освещающее вопросы изобразительного искусства, архитектуры, строительства, ни строчкой не упоминало о новом проекте. Но за эти годы проект прошел все необходимые комиссии, художественные, прошел и перерегистрацию 1983 года, когда заново рассматривались проекты монументальных сооружений. Тогда же перерегистрировали и проект памятника Победы на Поклонной горе.

Лишь спустя три года стало очевидным, что одним виз и печатей мало, нужно еще и одобрение народа. Обсуждение памятника Победы заставило по-иному посмотреть и на проект Монумента в честь Курской битвы. Точнее, просто посмотреть на него, увидеть, наконец, что он собой представляет.

Несколько эскизов Монумента привезли в Курск и устроили их обсуждение. В небольшом зале Дома офицеров собрался узкий круг представителей широкой общественности. Круг был настолько узок, что пригласительного билета не досталось, например, руководителю областной писательской организации. И все же некоторым писателям, художникам, архитекторам удалось там попристать. Их попытки высказать свое мнение об эскизах грубо обрывались областным руководством: «Проект утвержден, и мы собрались тут не для его обсуждения»...

...После критических выступлений центральной печати пришлось областному руководству и авторам проекта организовать еще одно обсуждение. Летом макет Монумента привезли в Курск и на этот раз установили для всеобщего обозрения в Выставочном зале. В день открытия экспозиции «Курская правда» опубликовала интервью с руководителем авторского коллектива П. И. Бондаренко. Заканчивалось оно вопросом:

— Когда куряне смогут увидеть Монумент не в макете, а в оригинале?

— Проект получил одобрение. Монумент должен быть открыт к 45-летию Курской битвы (август 1988 г. — С. Г.)

— Если все уже решено, зачем же тогда его обсуждать? — спрашивали посетители дежуривших в зале авторов. — Разве за год такую машину можно переделать?

— Если будут дельные предложения, мы можем внести их в проект, — отвечали авторы, — со стороны недостатки виднее.

Со стороны Монумент являет собой огромный наклонный треугольник из шести спускающихся сверху балок-пилонов. На них лежит гигантская звезда. Монумент должен напоминать — привожу словесное описание, данное мне авторами, — триумфальную арку (только почемую-то падающую), залп «Катюши», вздыбленный танк, стрелу, праздничный салют, храм... И немецкий самолет «рама» на взлете — это уже впечатление участника войны.

На подступах к Монументу будет стоять изваяние, на-

поминающее своим силуэтом крест. Напротив — бюст Сталина, отрывающий галерею скульптурных портретов военачальников, принимавших участие в битве. Поодаль — две скульптурные группы: труженики тыла, строящие железную дорогу, и партизаны, готовые дать отпор врагу. Предусмотрены памятники «Воин, уходящий в бессмертие» и музей сферорама, с площадкой для образцов военной техники.

Всем же ясно, что безнравственно создавать Монумент из стандартов, повторов, заимствований! Но создают же. Поставят — и будем безропотно глазеть на него, потому что привыкли к этим стандартам, не удивляемся даже. Так, безразлично созерцаем.

Форсирование сооружения Монумента в Курске местное руководство объясняет необходимостью открыть его к 45-летию битвы, многочисленными просьбами ветеранов войны прекратить всякие обсуждения и приступить к делу. Но ведь не к дате ставим Монумент, а к веку!

Местная интеллигенция — художники, писатели, архитекторы — выступила против предложенного проекта. Но по числу голосов они оказались в меньшинстве. Большинство курян, по сообщению, подготовленному авторским коллективом, одобрили проект. Действительно, большинство было «за». И подборки откликов в «Курской правде» подтверждали это. «Нам, ученикам пятого «Б» курской школы № 5, очень понравился проект монумента, посвященного Курской битве. Хочется, чтобы монумент построили скорее». Я встречался с этими ребятами. Организовано, классом, как и многих других школьников города, водили их на просмотр. Послушали объяснения авторов. Под присмотром учителей оставили свои отзывы.

Так же организовано приезжали на необычный вернисаж колхозники — представлять областную общественность. Смотрели, слушали. Потом руководители групп делали записи, под которыми сельчане согласно подписывались. Запомнилось мне высказывание одного такого посетителя:

— Красиво нарисовано, как настоящая картина.

Комментарии, как говорится, излишни...

Нельзя решать судьбу произведения искусства, к тому же имеющего столь великое гражданское значение, простым большинством голосов. Нельзя! Большинство не всегда компетентно. Настоящую оценку может дать только максимально широкий круг профессионалов. Иначе получается манипуляция «общественным мнением», что достаточно убедительно продемонстрировало обсуждение проекта на собрании в Доме политпросвещения.

Местные художники, писатели возбужденно убеждали меня, что будет аншлаг, что Курск буквально кипит от желания высказаться. Но в зале треть мест остались пустыми. Не так уж многих взволновала судьба Монумента. Да и само обсуждение прошло спокойно, организованно...

— Слово предоставляется представителю молодежи Курска.

— От имени молодежи Курска...

Зал зашумел:

— Не надо от имени всей молодежи. Говори от себя.

— Хорошо. От имени студентов Политехнического института...

Опять зал зашумел:

— Не надо от имени всех студентов. Говори от себя.

— Хорошо, — и скороговоркой выпалил, — от имени студентов первого курса строительного факультета заявляю: мы, молодые куряне, полностью одобряем предложенный проект и приложим все силы для строительства Монумента. Выйдем на субботники...

Зал негодующе заволновался. И тут председатель собрания секретарь Курского обкома партии С. И. Кононова привстала, наклонилась к микрофону и приказала:

— Ти-ише! Соблюдайте порядок, иначе мы все разоидемся. И это «Ти-ише!» было слышно не только в зале Дома политпросвещения — в городе!

Зал притих. На стол президиума легло зафиксированное на бумаге мнение молодых граждан Курска. Записка с тридцатью подписями молодых архитекто-

ров о требовании предоставить им слово осталась без внимания. А им было что сказать.

Субботники — это хорошо. Для святого дела все куры, уверен, выйдут — и мусор уберут, и траву посеют. Но вот где взять высококлассных бетонщиков, хотя бы одну бригаду? Где достать для них бетон особой марки — в Курске такого не бывает. Обычного и того не хватает. Был случай, когда, обрадовавшись вагону со светлым порошком, пустили в дело удобрения вместо цемента.

Написал абзац и поймал себя на мысли, что забочусь о качестве строительства Монумента по этому сомнительному проекту. Неужели все же возведут?! Неужели все останется по-прежнему?!

Почему было не провести Всесоюзный конкурс, чтобы как можно большее число компетентных людей обсудило проекты, чтобы проектов этих было как можно больше. Пусть на это уйдет год, два, сколько потребуется, не будем спешить. И конкурс этот должен проводиться в Москве. Надо считаться с реальностью — провинция до сих пор остается понятием не столько географическим, сколько нравственным. Не надо самообольщаться — культурный уровень, степень социальной активности в провинции еще недостаточно высоки. С огромной надеждой смотрит провинция на Москву, с верой, что здесь можно добиться справедливости. Значит, пока в Москве должны мы решать вопросы, связанные с событиями, важными для каждого из нас. Иначе местнические амбиции могут сыграть столь неожиданно, что впору закричать: «Спросите наши души!» Как это произошло в Иркутске...

Иркутская история

Немного статистики. В сибирскую ссылку, на какому, через Иркутск прошли около ста двадцати декабристов. Плюс к этому несколько жен и невест декабристов. Последовавших за ними участников польского восстания было уже несколько тысяч. Ну, а потом политкаторжан было столько, что и не счесть. Вывод отсюда: значение декабристов для культурно-развития Сибири ничтожно. Мол, и В. И. Ленин говорил о них, что страшно далеки они от народа. Добавим сюда мнение, что восстание на Сенатской площади «было масонским заговором», ставившим целью свернуть Россию с пути праведного, и мы получим полное представление о том, как некоторые относятся к декабристам в Иркутске.

Бред? Нет, реальность. Все эти высказывания прозвучали во время проведения в Иркутске конкурса проектов памятника декабристам, который решено там поставить...

Разговоры о памятнике велись в городе многие годы. Но лишь избранный недавно на пост первого секретаря Иркутского обкома партии В. И. Ситников пустым разговорам предпочел конкретные действия и добился решения о сооружении первого (!) в стране памятника декабристам.

Минкультуры РСФСР утвердило проект памятника, выполненный народным художником РСФСР, лауреатом Ленинской премии А. Тюренковым. Специально созданная комиссия из местных общественных деятелей выбрала место под будущее строительство.

Когда проект был показан в Иркутске, его с негодованием отвергли: он был выполнен в худших традициях нашей монументалистики — все та же безликая огромная стелла. Отвергли проект единогласно, нашли силы воспротивиться бездарной работе. Но...

Разным было отношение к декабристам за годы истории нашего государства... и говорили о них, и умалчивали. Но никогда еще никто не усомнился в величии благородства их гражданского поступка. А тут усомнились. И кто? Местные писатели, историки, краеведы, искусствоведы, журналисты. Разом. Звучал в их речах говорок «Памяти», размноженный магнитофонными кассетами. «Каторга? А они тут на лошадях разъезжали, в домах мебель из красного дерева стояла, салоны устраивали... Вон оно, как жили. И памятник им? Хватит мемориала». И не в кулуарах, не шепотом звучали эти слова. Со страниц областных газет, с экрана телевизора, с трибун представительных собраний.

Разгорелся весь сыр-бор вокруг проекта памятника декабристам, предложенного московским скульптором П. Шапиро. После того, как отвергли проект Тюренкова, он предложил свой вариант памятника. Скульптор, работающий в жанре портрета, до этого он не занимался монументалистикой и не был обременен ее худшими традициями. Поэтому и памятник его отличался прежде всего своей камерностью и высокой духовностью. Абрис колокола — вечного символа русского свободолюбия, — на одной стороне которого отображен Поступок — восстание на Сенатской площади с драматичными в своих раздумьях и призывах к войскам фигурами декабристов. На другой стороне Наказание — сибирская каторга, но не смиренное отбывание назначенного срока, а новый Поступок, наполняющий своим звучанием все тот же колокол. Архитектурная организация пространства передавала своеобразную атмосферу Петербурга, частицу которого принесли в Сибирь на своих кандалах ссыльные революционеры.

Проект был высоко оценен ведущими искусствоведами и декабристоведами страны.

Но свято место пусто не бывает. На место выбывшего из игры маститого скульптора засматривались многие его коллеги по «цеху» монументалистов. Тем более что с некоторыми из них была достигнута предварительная договоренность по личным каналам видных иркутян. Проект П. Шапиро называли «пробивным», «рожденным в кабинетах без участия специалистов — художников и историков».

Областное руководство посчитало, что все возникшие проблемы должен решить конкурс проектов, где проект П. Шапиро примет участие на общих основаниях. А там — пусть победит сильнейший.

Но равного участия не получилось. Выступившая в «Советской культуре» искусствовед А. Анненкова не потрудились разобраться в положении дел, извратила факты и дезинформировала общественность. И общественность возмутилась.

Ни один из представленных на конкурсе проектов не вызвал столь живого участия. В проекте П. Шапиро выискивали, следуя методике «Памяти», знаки насмешки над русским народом, выключали освещение и убеждали посетителей в схождении его с надгробьем, манипулировали с опросными листами, убирая с глаз долой положительные отклики, которых, кстати, было больше, чем у других проектов.

Демократии мы только учимся, и в этот сложный ученический период преимущество голоса получают те, кто выше других и, скажем так, крикливее поднимает над собой знамена гласности и демократии.

Конкурс, в проведении которого виделась возможность поиска действительно достойного проекта, по сути дела, провалился. По тем же причинам, что и обсуждение проекта Монумента в честь Курской битвы. Неграмотность, некомпетентность, безразличие большинства. И внешнее соблюдение демократии путем фиксации мнений представителей народа. Но если в Курске представители были организованы «сверху», то в Иркутске они выдвинулись «снизу», и в такой ситуации неизвестно, что хуже. В том и в другом случае до настоящей демократии далеко, о чем результаты говорят. В Курске строительство продолжается, в Иркутске...

На первую премию выдвигался, но, к счастью, не набрав нужного количества голосов проект Ю. Чернова. Вариант того самого памятника Победы с «черным знаменем», сооружение которого удалось предотвратить. Теперь для Иркутска он предложил тридцатиметровую колоннаду, с той лишь разницей, что скульптурная группа спустилась к ее основанию, но с тем же «черным знаменем». «Добротный, профессионально исполненный проект», как назвал его один из представителей общественности Иркутска — заведующий музеем декабристов Е. Ячменев. Представитель — «за», проект получил поощрительную премию, такой вот результат! Впрочем, еще один результат есть. Второй тур конкурса решено провести в Москве.

Сергей ГРУНТОВ.



Мама купила пальто, и теперь семья сидит на диету. А тебе как назло нужны деньги. Чего же проще — пойти и заработать. Но тебе еще нет шестнадцати, у тебя нет паспорта, да и работать собираешься ты не больше двух месяцев. Такая вот задача. Решать ее пытаются тысячи подростков. Позапрошлым летом и я попыталась ее осилить. На работу устроиться, правда, удалось (секретарем-машинисткой), а вот зарплату за два месяца получила — 44 рубля 63 копейки. Когда оформлялась на работу, от меня потребовали направление от учебно-производственного комбината, направление от исполкома, от районного бюро по трудоустройству, от школы и медицинскую справку. Собирала документы я больше недели. Потом со мной провели инструктаж по технике безопасности, сводившийся к тому, что нельзя одной рукой одновременно касаться батареи парового отопления и клавиш пишущей машинки, иначе будет плохо...

Впрочем, общаясь потом со своими сверстниками, которых НИКУДА НЕ ВЗЯЛИ, я поняла, насколько благосклонна была ко мне фортуна. Неужели всюду так?

ЭСТОНИЯ. ХААПСАЛУ. Небольшой городок на берегу моря. Швейная фабрика «Сулев». Знакомлюсь с самыми юными ее работниками. Моника Лайдна переходит в девятый класс, ей четырнадцать. Лиане Алексеевой столько же. За первый месяц работы (четыре часа в день) Моника получила восемьдесят рублей, Фабрика шефствует над школой, и каждое лето бригада девочек приходит сюда работать. А это позволяет многим работницам отдохнуть именно летом.

Любой труд стоит денег. Даже подсчитали, какую зарплату должна была бы получать домохозяйка, если бы члены семьи вздумали вдруг платить ей деньги. Но вот то, что не учтено, — общественно полезный труд школьников. Ученики старших и средних классов обязаны «отработать» определенное число часов в неделю. Чаще всего ребята выполняют заказ какого-либо предприятия, изготавливая на школьных станках примитивные детали. И если каждый ученик худо-бедно производит в месяц деталей, скажем, на десятку, то,

как минимум, набегает 10—20 тысяч рублей в год общешкольного заработка. Где эти деньги? Если завод не выплачивает их школе, если кто-то кладет их в свой карман, то это — уголовное преступление. Если деньги все-таки выплачены, то администрация школы тратит их по своему усмотрению на так называемые «школьные нужды» (телевизор в кабинет купить, ремонт сделать, новые столы поставить в столовой). Что ж, пусть обучение будет чуть-чуть платным, хотя школы, кажется, на хозрасчет еще не перешли. Но при этом каждый (!) подросток должен знать, сколько денег он заработал и на что пошли заработанные им деньги. Иначе труд в школьной мастерской превратится для него в каторгу, ибо «каторга не там, где работают киркой, а там, где удары кирки лишены смысла» (А. Сент-Экзюпери).

Есть у медали и другая сторона. Работая и не получая за это денег, подросток начинает понимать, что «дурят нашего брата», и, естественно, перестает трудиться (либо вообще в мастерскую не приходит, либо работает спустя рукава). А действительно, как ни работай — эффект ведь один и тот же. Так исчезает «тяга к работе». Так трудовое воспитание становится антитрудовым. А теперь вопрос: так кто же кого обманывает — завод школу или школа учеников?

ПЯРНУ. ЭДШ — это эстонская дружина школьников, отдаленно напоминающая наш ЛТО. Вальтер Парве — заместитель командира Пярнуского округа ЭДШ по городским отрядам. Сейчас поясню, что это означает. Каждому административному району в Эстонии соответствует округ ЭДШ. Всего пятнадцать округов. А сам округ делится на лагеря и отряды. В лагерях работают ребята младше четырнадцати, а в отрядах — подростки постарше. Вальтер Парве: В 4—10-х классах у нас учится около шести тысяч человек, и примерно половина из них летом работают в ЭДШ. Где? В столовых, магазинах, на рыбокомбинате, хлебозаводе, лесокомбинате, льнокомбинате, текстильной фабрике, комбинате бытовых услуг, в домоуправлении, лесохозяйстве, больнице, детских садах.

Работающих подростков не нужно искать: видишь, вот девочка в кафе моет посуду, вот целая компания обслуживает пляж (буфет, прокат), вот мальчишка лет десяти торгует на улице квасом. Самое интересное, что в ЭДШ работают ребята, начиная с четвертого (!) класса. Есть специальное постановление ЦК ЛКСМЭ и Коллегии Министерства просвещения, разрешающее «детям до четырнадцати» трудиться в ЭДШ. Впрочем, разве не интересно ребятам, например, ухаживать в лесохозяйстве за животными или продавать на улице пирожки? А как приятно получить свои первые, честно заработанные деньги! Зарплата, наверно, чисто символическая? Нет. «Малыши» получают за двадцать рабочих дней до 130 рублей. А у старшеклассников средний заработок — триста.

Я вспомнила, КАК ЭТО БЫЛО У НАС, и мне стало стыдно за Москву.

МОСКВА — большой город. Каждый день — два миллиона приезжих. Во много раз больше, чем в Пярну. Почему бы не занять подростков в сфере обслуживания туристов и других приезжих? Ведь студентам разрешено продавать на улицах лимонад, работать в кафе, магазинах, подработать грузчиком, дворником. Почему нельзя подросткам? Два школьника, чей рабочий день по четыре часа, вполне могут заменить одного взрослого, который в это время может взять отпуск и поехать отдохнуть, например, в Пярну и посмотреть, КАК ТАМ У НИХ.

ПЯРНУ. Я спрашиваю у Парве, какие документы нужны, чтобы устроиться на работу? Он протягивает бланк. На одной стороне сведения о подростке и его родителях, на другой — заявление школьника, согласие командира отряда, виза врача, подписи секретаря комсомольской организации, классного руководителя, директора и одного из родителей.

— И это все?

— Да.

В АМЕРИКЕ дети миллионеров в летние каникулы работают газетчиками — состоятельные папаши учат своих сыновей считать деньги, понимать цену каждого цента, ведь из них вырастят будущих владельцев компаний, банкиров, хозяев земли. У нас нет миллионеров, нет и мальчишек-газетчиков — газеты продаются в киосках «Союзпечати». Эксплуатация детского труда у нас запрещена. И остается только ругать жестокие нравы «безумного мира», где даже дети миллионеров лишены летом возможности отдохнуть и из-за скупости родителей вынуждены продавать газеты, мыть посуду в кафе, подметать улицы. А потом приходится удивляться: почему производительность труда у них выше?

Честно говоря, я даже не пыталась со своей десятилетней сестрой сходить в бюро по трудоустройству и попросить устроить ее на работу. Скорее всего нас обеих сочли бы ненормальными. А у вокзала в Пярну восьмилетний мальчишка продавал квас... ТАЛЛИН. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ШТАБ ЭДШ. Сергей Марков, инструктор: К нам конкурс сейчас — три человека на место. Каждую весну у нас звонки, приходят ребята, их родители, просят: возьмите в ЭДШ, — а мы не можем. Выбираем лучших.

ВОСЬМИКЛАССНИКИ сдали экзамены. Одни поступают в техникумы и ПТУ, другие идут в девятый класс. На вручение аттестатов приходит директор школы и заявляет, что тех, кто не поедет в лагерь труда и отдыха, в девятый класс не возьмут. Слезы матерей. Поток писем в редакции газет: а правда ли, будто есть такой закон, чтоб в девятый класс брать только тех, кто отработал месяц в ЛТО? И квалифицированный юрист в десятый, в сотый, в тысячный раз отвечает: неправда, нет такого закона, ЛТО — дело сугубо добровольное. Обрадованные родители бегут в школу с газетой, а директор говорит: газета — газетою, а у нас свои законы, мне надо от школы пятьдесят человек послать, где я буду их брать, если никто ехать не хочет? И начинается формирование: сначала — комсомольские активисты, потом — все остальные. А родители бегут по врачам, и счастливицы достают такие липовые справки, а неудачники со слезами на глазах отправляют детей «в дорогу дальнюю».

Через год история повторяется: директор заявляет, что ребята обязаны отработать летом два месяца (один — практика по профилю УПК, второй — в ЛТО). И снова слезы родителей. И снова поток писем в газеты: а правда ли, что есть такой закон? И снова квалифицированный юрист в десятый, в сотый, в тысячный раз отвечает, что нет такого закона... И снова директор школы объясняет, что «у них своя правда, а у нас своя», мне план по ЛТО выполнять надо.

И все-таки интересно, почему в ЛТО силком заготавливают, а в ЭДШ конкурс три человека на место. Почему наши родители, узнав, что придется ребенку ехать в ЛТО, плачут, письма в редакции пишут и липовые справки достают, а эстонские родители в ЦК ЛКСМЭ ходят, добиваются, чтобы их ребят взяли в дружину? И когда получают отказ, расстраиваются так же, как наши, понимавшие неизбежность поездки в лагерь труда и отдыха.

ТАЛЛИН. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ШТАБ ЭДШ. Сергей Марков: Пора прекратить споры, нужны ли подростку деньги и что деньги могут испортить. Портят только нечестно заработанные деньги. В некоторых отрядах ребята зарабатывают по четыреста рублей. А вообще я не понимаю, как в ваших лагерях труда и отдыха здоровые парни могут зарабатывать по тридцать рублей в месяц. Кстати, если что и портит, так это тридцать рублей, полученные за тяжелый труд.

В школе, где я училась, много мальчишек в добровольно-принудительном порядке ездили в ЛТО. Максимальный заработок передовика, перевыполнившего норму, — шестьдесят рублей. А когда мы, девочки, тоже собрались ради интереса съездить, ребята очень популярно разъяснили, что условия там, мягко говоря, не для нас. Работа адская, «жилье» на жилье не похоже, и окружающая обстановка, так сказать, не способствует культурному развитию личности. И мы

не поехали. И проводили до вокзала наших ребят, уезжавших с рюкзаками, набитыми консервами.

В газете ЭДШ я прочитала вот такие строки:

«И рано или поздно каждый пытается разобраться, что тянет нас, вкусивших не только радости, но и все трудности отрядной жизни, сюда, где каждый день приносит новые испытания? Возможность заработать деньги? Не думаю. Жажда новых впечатлений? Не только. Лично для меня эти два месяца — прежде всего экзамен на самостоятельность, возможность проверить себя, увидеть свои слабые стороны. Помню, как два года назад завидовал парням, которые вечером, собравшись у костра, играли на гитаре. Я не умел. Сразу же начал учиться, и теперь сам выступаю на концертах. Помню, как поначалу не ладил с соседями по комнате. Постепенно научился избегать мелких конфликтов. Мы всегда будем благодарны ЭДШ за те первые уроки самостоятельной жизни, которые мы здесь получили. Михаил Яковлев, отряд «Вайда», Харьковский округ».

Я возвращалась в Москву. И, может быть, потому, что я ехала на верхней полке (ближе к небу), снились мне странные сны. О том, как в отдел кадров некоего среднестатистического предприятия приходит некий среднестатистический подросток и говорит: «Хочу поработать у вас в каникулы». И среднестатистический начальник отдела кадров отвечает ему: «Конечно» — и быстренько, без десятка справок и направлений, оформляет нашего подростка на работу...

Говорят, что сны рано или поздно сбываются. Когда?

Ирина ЛЕЩИНЕР.

Таллин — Москва

ПРИЗ: СТУДЕНЧЕСКИЙ БИЛЕТ

Не успели мы объявить конкурс, как на 20-ю комнату обрушился шквал телефонных звонков и писем: «Какие предлагать темы?» — Интересные, оригинальные. «Когда будет проходить сам конкурс?» — В начале этого года. И вдруг: «Здороваться с вами не хочется, вы — крошечки!»

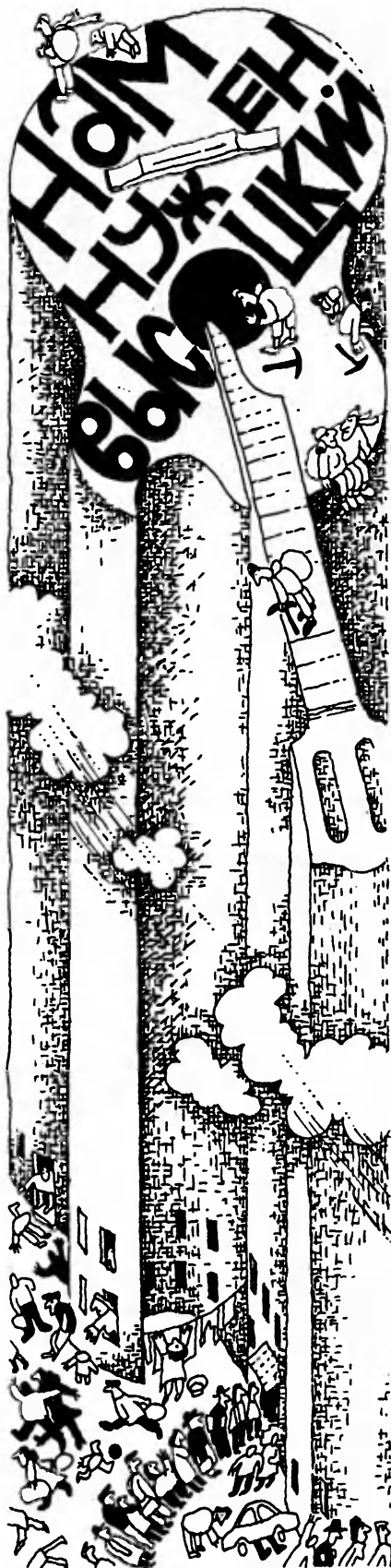
Снимите, пожалуйста, с участников конкурса слово «подписчики» «Юности». Этот журнал, если он будет лучше других, не будет нуждаться в агитации. Своим словом вы можете потянуть талантливых журналистов из абитуриентов-школьников, учащихся ПТУ, у которых нет 8 рублей 40 копеек. Пусть это будут просто читатели журнала, даже случайные.

Перестройтесь!»

Жиль Владимир Тихонович, г. Коломна.

Уважаемый Владимир Тихонович!

Принимаем Ваше предложение и снимаем слово «подписчики». Участниками конкурса могут стать ВСЕ ЧИТАТЕЛИ «Юности»! Подробнее об условиях конкурса читайте в №№ 9, 10 за 1987 г.



Это смертельно почти, кроме шуток,
Песни мои под запретом держать,
Можно прожить без воды трое суток,
семь — без еды,
Без меня только пять...

...Написал когда-то поэт Владимир Высоцкий. В шутку написал, но, видимо, есть в этом доля горькой иронии. При жизни его не очень-то баловали вниманием. И тем не менее именно при жизни он познал громадную славу без какой-либо примеси фальши. Народ сразу признал в нем своего Поэта, с самых первых его песен и баллад.

В чем же секрет его популярности? Да почти во всем! Отчасти он сам ответил в одном маленьком полужизнеописании:

Вы втихари хихикали,
а я давно вовсю.

Но, конечно же, ответ следует искать не в одном, скажем, его актерском мастерстве, песенном или стихотворном, а во всем том, кем и чем был для нас, прошлых и теперешних, Владимир Высоцкий. Он был щедро одарен всеми Музами. Вы только подумайте, как много успел сделать один человек, живший с нами рядом: более 800 песен и стихов, среди которых несколько чудесных поэм, и работа в кино (последнюю из них зрители могли видеть, как ни грустно говорить, в большом фильме «Интервенция», более десятка лет пролежавшего «на полке»), и проба в сценаристике в 1967 г. Высоцкий был написан киносценарий о детях тяжелых послевоенных лет. В 1977 г. он хотел осуществить постановку; теперь спустя еще 10 лет, это сделают другие. В последний год Высоцкий как режиссер готовил на Таганке два спектакля — по Теннесси Уильямсу с А. Демидовой и свой моноспектакль.

Достаточно вспомнить, что Высоцкий написал 2 повести, записано несколько дискооспектаклей, среди которых «Незнакомка» Блока и «Мартин Иден» Д. Лондона. Была задумка снять собственный фильм — «Зеленый фургон», начало съемок было запланировано на октябрь 1980 г. Не успел.

Вениамин Смехов рассказывал, что в Болгарии, куда они трупой ездили выступать, крестьяне в знак благодарности подняли автобус, а спел-то им Высоцкий всего 4 песни, но вот как спел. Люди эти трудовые сразу поняли, что перед ними такой же «тудяга». На смерть Высоцкого благодарный народ откликнулся огромным количеством стихотворений и посвящений памяти поэта. Сейчас их уже где-то за 6000. Точную цифру назвать невозможно.

Владимир Высоцкий активно проповедовал свою поэзию. Он отлично знал себе цену и осознавал, как нужен он был людям. И пел с немыслимым неренапряжением, и жил с ужасающей быстротой, изматывая и без того больное сердце.

Тем более становится обидно, когда перевирают, передергивают его стихи, создают нездоровый ажиотаж вокруг его имени. Даже в «Нерве» умудрились вставить это самое —

Но если надо, выстрелю в упор...
(«Я не люблю»)

А ведь всегда пел: — Я также против выстрелов в упор...

А из песни «Водитель МАЗа» и вовсе выкинули два куплета, видимо, посчитав их нетипичными, и это тем более странно, что почти в каждом доме записи Высоцкого. От кого скрывать да и что?! А уж эти пошленькие календарики с его фотоснимками и «Последним приютом», приписываемым ему вот уже восьмой год, и вовсе надо запретить! Это действительно большой соблазн торгашам и услада обывателям.

Олег ТЕРЕНИН

20-я комната вместе со всеми любителями и поклонниками творчества Владимира Высоцкого отмечает сегодня день его рождения, его 50-летие и предлагает вашему вниманию малоизвестное стихотворение поэта.

Владимир ВЫСОЦКИЙ

Мне судьба — до последней черты, до креста
Спорить до хрипоты, а за ней — немота,
Убеждать и доказывать с пеной у рта,
Что не то это вовсе, не тот и не та,

Что лабазники врут про ошибки Христа,
Что пока еще в грунт не вляжалась плита,
Триста лет под татарами — жизнь еще та:
Маета трехсотлетняя и нищета.

Но под властью татар жил Иван Калита,
И уж был не один, кто один против ста.
Вот намерений добрых и бунтов тшета —
Пугачевщина, кровь и опять нищета.

Пусть не враз, пусть сперва не поймут
ни черта,
Повторю, даже в образе злого шута.
Но не стоит предмет, да и тема не та,
Суета всех сует — все равно суета.

Только чашу испить не успеть на бегу,
Даже если разлить — все равно не смогу,
Или выплеснуть в наглую рожу врагу, —
Не ломаюсь, не лгу — все равно не могу.

На вертящемся гладком и скользком кругу
Равновесье держу, изгибаюсь в дугу.
Что же с чашею делать — разбить? Не могу!
Потерплю — и достойного подстерегу,

Передам — и не надо держаться в кругу.
И в крошечную тьму, и в неясную згу,
Другу передоверивши чашу, сбегу.
Смог ли он ее выпить — узнать не смогу.

Я с сошедшими с круга пасусь на лугу,
Я о чаше невыпитой здесь — ни гугу,
Никому не скажу, при себе сберегу,
А сказать — и затопчут меня на лугу.

Я до рвоты, ребята, за вас хлопочу!
Может кто-то когда-то поставит свечу
Мне за голый мой нерв, на котором кричу,
За веселый манер, на котором шучу.

Даже если сулят золотую парчу
Или порчу грозят напустить — не хочу!
На ослабленном нерве я не зазвучу —
Я уж свой подтяну, подновлю, подвинчу.

Лучше я загуляю, запылю, заторчу,
Все, что ночью кропаю, — в чаду растопчу.
Лучше голову песне своей откручу,
Но не буду скользить, словно пыль по лучу.

Если все-таки чашу испить мне судьба,
Если музыка с песней не слишком груба,
Если вдруг докажу, даже с пеной у рта,
Я уйду и скажу, что не все суета!

20 информбюро 20

В Софии по инициативе газеты «Софийские новости» и журнала «Юность» состоялась встреча болгарских и советских социологов, писателей и публицистов по проблемам молодежи.

Готовы ли молодые к демократии? Какова роль молодежи в перестройке? Что делать с неформальными объединениями? Каким должен быть комсомол сегодня? Как бороться с наркоманией и алкоголизмом? Что изменить в обществе, чтобы молодой человек как можно раньше мог реализовать свои способности? Таков примерный круг тем, которые были обсуждены на встрече.

С болгарской стороны во встрече участвовали ученые Института молодежи, врачи клиники по лечению наркомании и алкоголизма в Суходоле, болгарские журналисты. С советской стороны — главный редактор журнала «Юность» Андрей Дементьев, социолог, доктор философских наук, профессор Игорь Кон, писатель Леонид Мухомович, редактор отдела публицистики журнала «Юность» Михаил Хромаков.

Было решено продолжить дискуссию и создать Международный дискуссионный клуб по проблемам молодежи. Следующее заседание клуба состоится в Москве в мае — июне 1988 года. На заседание будут приглашены представители еще нескольких социалистических стран. Желавшие принять участие могут прислать заявки на имя главного редактора журнала «Юность» Андрея Дементьева или на имя главного редактора газеты «Софийские новости» и журнала «Болгария» Венцела Райчева.

Ответственным секретарем клуба избран специальный корреспондент газеты «Софийские новости» Игорь Альтер.

Материалы дискуссии будут опубликованы в ближайших номерах «Юности».

Ключ без права передачи

«20-я комната» учредила Три Ключа от своей двери, которые будут впредь вручаться за лучшие публикации в наших стенах.

Особым совещанием «20-я комната» решила выдать без права передачи:

ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ — Михаилу Маяцкому и Эдуарду Надточию, аспирантам Академии наук СССР, авторам публикации «Философия в повелительном наклонении» («Юность» № 10, 1987 г.);

СЕРЕБРЯНЫЙ КЛЮЧ — Александру Еременко, поэту, автору монолога «Двенадцать лет в литературе» («Юность» № 3, 1987 г.);

БРОНЗОВЫЙ КЛЮЧ — Ольге Ереминой, учительнице рисования, автору материала «Игры в прятки для детей и взрослых» («Юность» № 3, 1987 г.).

Поздравляем!

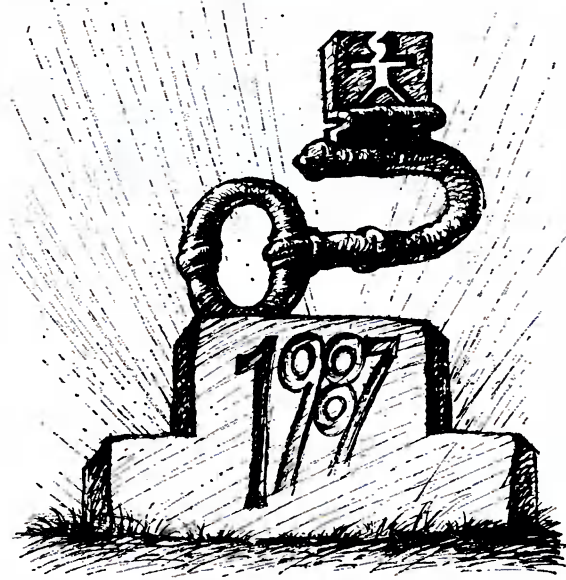


Рисунок М. Златковского



Дмитрий
КОСЫРЕВ



Дебют в
«ЮНОСТИ»

ПРОДАВЕЦ РАДОСТИ

Рассказ

Мне бы какого-нибудь кандидата искусствоведения в платные консультанты. Голова кругом идет, а ошибаться нельзя. Не должно быть никаких неожиданностей. Все закономерно. Вот после второй мировой что происходило? Ясно, люди хотели вернуть то, что было до войны, что было отвоевано. Значит, все те же «Дождь идет», «Кокетка», вальс-бостон, духовой оркестр, хороший джаз. Эстрада в галстук бабочкой, одним словом, Эдит Пиаф, Глен Миллер, Фрэнк Синатра. Ах, эти серенады Глена Миллера: слышишь их и хочется вздохнуть поглубже и сказать: «Пустое все, Игорь». Это то, что звучало на туманной заре моего детства, так сказать, еще до меня.

Ну, хорошо, потом эпоха сломалась, начались «Битлз» и все прочее. Логично. Музыка папы с мамой полетела вверх тормашками. И можно было понять, что это надолго, а главное — тиражи пойдут на сотни миллионов.

Но дальше-то... Опять слом эпохи — диско. Здрасьте вам. Старое надо сбывать, хватать новые шедевры, и быстро. Нельзя вовремя не угадать, заранее.

Рисунок В. Лосева

Фирма не позволяет. Извините. Надо готовиться, идти первое время против течения. Конкуренты не спят.

Помню, удачно я усек, что диско долго не протянет: когда появился мюзикл Уэйна «Война миров» по Уэллсу. Сигнальчик: танцы-манцы кончились, диско начинает становиться чем-то серьезным, значит, конец масс-тиражам. Дальше что? Еще за полгода до того, как итальянцы заполонили рынок, Игорь С. — то есть я — уже ненавязчиво предлагал клиентам лежачие без движения: Бонгусто, Бети-сти, Дзаникки. Говорил: итальянцы могут скоро пойти, возьмите, пригодится. Игорю верили — фирма! — и брали. И не ошибались. Ну, а потом я, а не дядя первым начал штамповать «Рикки и повери», как на заводе. Запись — трояк. Трояк. Трояк. «Там-там-там, та-ра-па-ра-ра...» Но...

(Игорь, хоть на отдыхе можешь ты остыть и отключиться? Все о делах, о делах... Замедлишь, освободи голову.)

...Но что дальше, вот вопрос. Когда пойдет новая волна? Какая волна? Должен знать. Вот только инженерного образования для этого, черт, не хватает. Историком надо быть. Социологом. Языки знать. Или действительно брать в фирму консультанта. Я бы взял — оборот позволяет. И секретаршу бы, и офис в небоскребе. Хе. Хум-хум-хум. Если бы мне раньше кто сказал, что «Мелодия» станет моим конкурентом... Что-то вроде самого короткого анекдота. Все течет, все меняется. Издали страшное количество «Битлз», двух Манфредов Мэнов, кучу итальянцев — в общем, все, что раньше шло, так сказать, по линии Игоря, сейчас может неожиданно оказаться на прилавке и оставить меня в дураках. Нет покоя измученной душе. Приходится постоянно вести разведку в «Мелодии», узнавать, что выходит там через месяц или два... И искать выход. Он должен быть. Вот хотя бы «металлисты»... что вообще сейчас считается металлическим роком? Говорят, что с ним пытаются бороться в школах. В путь-дорогу: значит, будем работать. Чем больше борются, тем больше будем работать. Клиентура, правда, незнакомая, но неужели не освоим?

(Игорь, остановись. Ты уже у синего моря. Вздохи глубже.)

Ну, вот так. Сажу в номере, озираю его — сойдет номерок — и разбираю свои сумки. Тридцать два новых поступления, не считая тех кассет, которые я взял из старых — просто так, послушать. Все тридцать две фирменных надо обработать, то есть прослушать, рассортировать: эти срочно сплавить с концами и без выходного пособия, эти на бобину для радиотрактора, а то и в диске заказать, эти еще и в «хромовый фонд» задублировать (почти триста кассет на хромированной пленке — гордость моя). Еще важно и качество записи — хоть и фирменные кассеты, но и «Полидора» бывает брак. Будем слушать — дело есть дело. Все тридцать две — с начала и до конца. Осатанеешь. Отдых, называется. Черноморское побережье, называется. Но в Москве времени точно не будет. Ничего, как-нибудь, потихоньку.

Отдыхаем все-таки. Был я здесь три года назад, вроде все осталось на своих местах. Реликтовый камыш из заповедника шумит, шуршит длинными листьями, ежевика. На ногах — вьетнамочки, песочек горячий. Спать можно после обеда — ну просто разврат. Зарядочка на пляже до завтрака, в любую погоду. Погода, кстати, идеальная. А корт дрянной был и остался — асфальт. Ничего, поиграем. Новенький мячик из данлоповской банки — шмяк-стук. Девчонка по ту сторону сетки скачет: нравится ей, когда гоняют. Худеть, наверное, хочет. Правильно хочет. Ну, а я... мастер двигается медленно, а то и вообще стоит на месте, а мяч так и отлетает от ракетки: шмяк-стук.

Когда она бегает за мячами, есть время ее рассмотреть. Ничего. Лапы чуть толстоваты, как у щенка. Но есть что-то... Шмотки. Все ведь стараются не отстать друг от друга. Как в форме ходят. А у нее — нет, не похоже. Здесь все настоящее, отсюда — и без претензий, для того, чтобы носить, а не для

того, чтобы гнаться за другими. Диагноз: папа или муж — там работали.

Не вижу лица: мешает козырек от кепочки. Рассмотрим. Что-то в целом интересное.

Хорошо, мамочки: море, тепло, теннис, девочки.

Ах, вам еще хочется играть на сок? Ладно, и вот мы уже пьем проигранный ею сок, а я себе говорю: Игорь, ты отдыхать сюда приехал, женщины тебя погубят.

И еще одно я давно усвоил: Игорь, лучше молчи. Не уверен — молчи. Улыбайся. Пусть она говорит. Что она и делает:

— Вам идет сухой закон, сок и утренняя зарядка.

Мне с балкона видно. А от сока этого мы тут уже на ушах стоим. Мандарин и мандарин. Знакомые приезжают, конца им тут не видно, и с ходу: не угостить ли тебя соком? Стаканом бы в них кинула, но ведь могут не понять.

Пора вставить слово, загадочно улыбаюсь глазами:

— А чем же вас надо угощать?

— Как это чем? Холодным шампанским.

Стоп. Я знаю людей. Вот эта фраза о шампанском у девяносто девяти из ста — девятьсот девяносто девяти из тысячи! — прозвучала бы, как у обычной проститутки из фильма о временах нэпа. Так, как эта сказала, — надо уметь. Диагноз: девчонка из верхней десятки. Чистое золото. Как коньяк «КВ». Как гитарное соло Харрисона: он может сыграть четыре ноты, но вы почувствуете, что это Харрисон.

Лицо: никакой штукатурки, после коротка по нему лишь чуть прошлись платочком. Другая бы горстями сыпала пудру... Складки у рта: рановато для ее лет. Из тех, видимо, которые пишут стихи, но никому не показывают. Такие отгораживаются от всех барьером: своя девчонка, своя, и вдруг пол-шага дальше — и мягко стукнешься лбом во что-то, и ни шагу.

Но штука в том, что я люблю ломать барьеры. Наверное, оттого, что надоело: эти аристократы духа хватают кассету в метро, суют, озираясь, деньги, потом с надрывом пять минут вежливо говорят. Да ладно, уходите, чего говорить... За что презираете? За то, что я, как бобик, кручусь и делаю человечеству добро? Ну давайте, давайте.

Встаю. Говорю девице: «Иду превращать сок в шампанское. До новых встреч». Внутренний голос: Игорь, что ты творишь, ты отдыхать будешь или нет? Поздно. Иду к стойке. Бармен, молодой и красивый, заросший волосами, похож на звезду эстрады, тоскует: сухой закон в домах отдыха — любого бармена заставит затосковать. Бизнес идет мимо него в гремящих стеклом сумках, которые отдыхающие тащат в номера.

Что ж, будем знакомиться со страдальцем.

— Как доходы? — интересуюсь я после обмена приветствиями.

— Ну какой может быть доход? — взывает бармен. — Еще и на соки вчера цены снизили! Повышать надо, а они понижают! Топчешься тут из-за паршивого мандаринового сока и пепси-колы, да? Больше ничего не дают, а? О чем думают, неизвестно...

Разговор течет в том же духе. Косо посматриваю на девицу, оставшуюся за столом. К ней подходят. Ее знают. И у нее совсем другое лицо, когда она говорит с ними. А-га.

А мы с барменом все болтаем. И вот мой ход. Запускаю руку в висющую через плечо сумку. Не глядя вытаскиваю пригоршню кассет (из тех, что я заранее отобрал как отсев). Высыпаю на стойку.

— Попробуй, хочешь? — говорю. — А то ведь на всем побережье, небось, одно и то же.

На лице его расцвет. Он пальцами шевелит кассеты. Потом поднимает голову:

— Переписать даешь, да?

— Зачем? — говорю. — Совсем даю.

Я уже давно понял, что — первое — деньги покупают не все, щедрость и бескорыстие дороже денег; и второе — что нельзя просить, надо сделать так, чтобы предложили.

Вот так я обеспечил себя шампанским в безалкогольном баре. Заметьте, никакого насилия. Я лишь внес уточнение и подсказал детали:

— Ты не рискуй... Ей-богу, я же просто так — подумаешь, кассеты («о чем ты говоришь!» — вопит бармен). Ну, если только так: вот этот графин — он непрозрачный. В холодильнике лежит одна бутылка, в газете. Вроде бы твоя. Больше одной за вечер мне не надо. Не для себя, девушка тут есть, понимаешь... Что налить в графин — не видно, да и вообще, может, я с собой принес. И, конечно, за мои деньги, чтобы не было вопросов, — говорю я напоследок («какие деньги, что ты», — возмущается он). Жму ему руку и отхожу. Точка. За спиной он осторожно вставляет в аппарат мою кассету.

— Превратили сок в шампанское? — интересуется девчонка.

Оказывается, она все еще здесь. Какое лицо: то ли насмешка, то ли ожидание...

— Да, — отвечаю тихим, низким голосом, улыбаясь чуть-чуть. — С завтрашнего вечера пьем шампанское. Тайно.

— Волшебник прилетел. В голубом вертолете, — радостно морщит она нос.

Лица в столовой. Лица, лица, лица. Уходящие вдаль ряды. Вдоль них тетки в белых фартуках с тоской катят двухэтажные тележки. Вот приближается наша; на верхней ее палубе стройными рядами торчат куриные крылья. Одни крылья. Повару тоже жить надо... Пока ползут тележки, мы, отдыхающие, украдкой либо открыто рассматриваем друг друга.

Грузинская молодежь. Цветник. Клипсы, браслеты, яркие ткани. Зубы сверкают, глаза огромные. У этих своя компания.

Московские девчонки... Давно замечал: на отдыхе женская половина — не половина, а две трети. Что с нами, мужиками, творится: не отдыхаем совсем, что ли? Игра в переглядки: поведешь глазами по ряду, натыкаешься на чей-нибудь взгляд — откровенно оценивающий, бросающий вызов. Глаза, глаза... Извините, не старайтесь.

А вообще, если о шампанском, могу себе позволить. За что боролся-то? За что весь год, как бобик, кассеты записывал и диски туда-сюда таскал по подземным переходам и метро?

За что?.. Купюры хрустят по карманам. Сейчас бы найти им работу. Но ведь лень. Песочек, море, все бесплатно. Сiju, тележка пятнадцать минут не едет — почти сторона диска. И не спешу. Отдых.

Смотрю по сторонам. Входят новые отдыхающие — почти у каждого в руке алеет помидор с рынка плюс пучок зелени. Лица с одинаково застывшим выражением скуки и спесивости, ни единой мысли, одеты в одинаковые цветастые рубашки или халатики — как из больницы, животы огромные, походка соответствующая. Эти из тех, кто всегда вслух всем недоволен, кто ездит на все идиотские экскурсии и снимается на фоне чего-нибудь: первый ряд лежит, второй стоит, лица застывшие и одинаковые. На фото сверху надпись: Сухуми, год такой-то. Одна такая парочка за моим столом.

Есть еще коренные обитатели дома отдыха — те, кто путевки не достают, а берут. В общем-то это моя публика, из них набираются мои клиенты. Посматриваю, нет ли знакомых. Правда, еще неизвестно, захотят ли знакомые общаться со мной, помимо станций метро.

Как и я с ними. Мне и так хорошо. Хотя, смешно сказать: хотелось бы с кем-нибудь поговорить от души, не скрываясь, — так ведь нету.

И вдруг у стены натыкаюсь на знакомую физиономию. Какие люди! Лично Юрчик. Как всегда, юн и бодр, одет во все цвета сливок — даже носки той же окраски. Может себе позволить. Мы, между собой, считаем Юрчика смертником: специализируется на валюте. Такие садятся быстро. Он, видно, тоже так думает: не живет парень, а горит, «Жигули» цвета сливок меняет одни за другими, и удивительно, что еще не врезался в какой-нибудь столб. Му-

зыку он у меня записывает для своих гонок — смерть и ужас: супердиско, ревущие басы, сплошной визг синтезаторов. Не музыка, а адреналин. Волосы у него рыжие, живописной волной, нижняя губа чуть отвисшая, выражение лица возвышенное.

За его столиком три подружки, среди них моя партнерша по теннису.

Ну уж нет, Юрчик без нее обойдется. Не у Пронькиных. Пусть жрет тех двух.

Познакомился с журналистом. Тут это легко, от нечего делать. Забавный тип. Главная ценность его в том, что он знает мою теннисистку.

— Алена? Очень умненькая девчонка, но вот как-то места себе не нашла. Сидит у нас в отделе писем. Бумажки...

Бумажки — и это все? Во второразрядной газете? И все? Для такой-то непоседы? С такими глазами, с такой складкой у губ? Ну, теперь кое-что ясно. А пока изучаем журналиста. Может, по ходу дела еще что-то расскажет.

Какой-то он пришибленный. Говорит нехотя, скрипя. Судя по всему, еще не понял, что отдыхает, видимо, еще переживает последнюю командировку куда-то там в Пёсегонск.

Неясно говорит, что тамошнюю мафию газета не поколеблет: все повязаны одной веревочкой. Что ж, бывает. У него еще есть иллюзии, что ли? Всегда удивлялся таким людям: считающим, что жизнь — это не то, что есть, а то, что должно быть. Вот он идет рядом со мной (мы следуем на местный рынок), переживает, бурчит с безнадежностью в голосе:

— Все видел, но такое... Куда ни ткни пальцем — везде нарушения. И ходишь, как по замкнутому кругу. Знали бы вы... Иногда приезжаешь из такой поездки, и руки опускаются.

Видели мы это. Одно и то же: те, кого надо бы поднять на три ступени вверх, летят совсем, те, кто разваливали дело раньше, остаются и орут, что ведут перестройку, одиночки борются против всех...

Это все про, как его, Пёсегонска.

— Знаю, еще не то знаю, — говорю я, озирая рынок. — А не ткнуть ли нам и тут пальцем? Может, и тут нарушения?

Вот что там?

— Киоск звукозаписи, — машет рукой журналист. — Это неинтересно. Мелочь. Хотя давайте посмотрим...

Чудес и случайностей, между прочим, не бывает. Я знал, куда был направлен мой палец. Еще не представлял, зачем мне этот киоск, но почему не вникнуть, как коллеги работают. Тем более если не сам, а через представителя, так сказать.

Характер мой суетливый...

А журналист уже стоит возле киоска, и глаза у него на лбу:

— За кассету — почти восемь рублей? А утвержденный прейскурант у вас есть?

— Это только за запись, а ведь еще стоимость самой кассеты, — тихо подсказываю я.

Надо знать, что такое южный киоск звукозаписи. В самых оживленных точках — на рынках, автобусных стоянках стоят маленькие будки, вроде тех, что для мороженого, они украшены подвешенными под конек крыши динамиками, из темноты окошка виднеется неизменно усатая физиономия, динамики выплевывают обрывки мелодий на весь базар. Кашляют, замолкают и начинают играть что-то еще... Я, между прочим, смотрю на эти будки философски. Карикатура на меня и мою фирму.

Выглядывающий из черной внутренности киоска усатый шлет подальше потного, багроволицего журналиста.

Увидев редакционное удостоверение, медленно остывает. Швыряет на прилавок прейскурант и отворачивается. Журналист, к своему изумлению, узнает, что цена правильная. А как бы он удивился, узнав, что моя обычная цена ниже государственной. Ниже! Не говоря уж о качестве, которое всегда гарантируется. А коллেকция, какой ни у кого нет?

— И какое же качество за такие деньги? — голо- сом исследователя произносит журналист.

— Посмотри. Если плохое, я эту кассету сейчас сам растопчу ногами, — начинает волноваться парень из черного окна. Его оскорбили в лучших чувствах.

Мы слушаем. Я вздыхаю: качество есть. И мне было бы не стыдно. Сейчас, сейчас он доберется до сути. Вот же она, суть. Безграмотные списки, при- клеенные к стеклу с внутренней стороны. «Ролин- стон» — вроде бы «Ролинг стоунз», так. «Чилента- но» — тоже неплохо. «Стаз он 45» — «старз», это еще близко. «Имегранты». Это вообще здорово.

— Минуточку, — озаряет журналиста. — Что у вас за репертуар? Он же по идее должен утверждаться... А тут еще и «имегранты»...

Понял. Ребята гребут огромные деньги (в сезон, конечно), записывая то, что им удастся достать са- мим. Ну и, конечно, все сверх плана — в карман. Если бы они держались списка, то подозреваю, что плохи были бы их дела...

Да и вообще: какое дело мне, например, отды- хающему Игорю, до списков, которые кто-то там со- ставлял и утверждал? Может, у него три класса об- разования. Может, он одну Зыкину слушает. Может, он вообще музыку не любит — у него от нее нерв- ная экзема.

Я понял, что нечто проклюнулось. Безотчетное та- кое чувство — что-то здесь можно поймать, если со- бытия и дальше будут развиваться.

— Но нельзя, чтобы вы получали зарплату от го- сударства, записывая вот такое, — объясняет журна- лист усатому. — Кто у вас вышестоящая организа- ция?

Говоря это, он с близкого расстояния заснял кра- мольные списки, а затем и всю будку. Понеслось...

Они продолжали разговаривать, а я возвращаюсь на рынок, в темные ряды под деревянными козырь- ками, откуда пахнет приправами, чесночными соле- ными огурцами, маленькими желтыми дыньками. Хожу как в картинной галерее — медленно, думаю о своем, хорошо. Набиваю сумку. Покупаю бордовую, как будто лакированную чурчелу и начинаю же- вать. Все идет в нужном направлении.

Этот усатый не может даже написать правильно. Я же названия тщательно копирую на прила- гаемую к кассете бумажку. Ставлю год выпуска, фирму: «Полидор», «Хризалис», «Эми»... Дело чести. Вот только знать бы, что там поют? Я, если хотите, люблю инструменталки. Хороший саксофон, напри- мер. Потому что это разговор на равных. А когда из динамика рыдает хриплый голос, а мне не понять, что происходит, — это раздражает. Что-то хорошее проходит мимо, и так близко.

Чурчелу я догрыз. Солнце лупит по голове — спать хочется. Возвращаемся с журналистом в дом отдыха. Стараюсь вести себя тихо, такси не ловлю, трясемся в автобусе. Вот до чего доходит!

Выкачиваю из него еще сведения об Аленке. Те две оказались не подругами, а секретаршами из ее газеты, просто у них номер — раскладушка на тро- их. Ах, бедная девочка, совсем одна!

— ...а вы говорите, — бурчит журналист. — Край непуганых спекулянтов. Жаль, тема мелкая...

— А что, — осторожно говорю, — интересно. Вот только есть еще другая сторона. Люди пишут кас- сету. Хочется им. Спрос, значит, есть. А этот, с уса- той — продавец радости.

— Хороший заголовок, — хмыкает журналист. — Продавец радости. В кавычках и с вопросительным знаком.

Помню, как мы с Юрчиком прониклись друг к другу нежными чувствами. Дело в том, что я люб- лю клиентов, которые хотят от музыки чего-то боль- шего, чем просто жужжания на заднем плане под разговор. Юрчику я записал кассет шесть, какие — я уже говорил. Он приходил на встречи в метро, великолепный, в распахнутой, отороченной длинным мехом дубленке цвета сливок, пытался не брать сда- чу (я этого очень не люблю), просил «еще что-то на-

катать глухо забойное, но с душой» и скрывался в толпе. Проблема Юрчика в том, что ему трудно выражать свои богатые чувства и мысли: слов не хватает. И вот однажды он появился у меня дома (этой чести удостоиваются лишь клиенты со стажем) и попросил:

— Понимаешь, Гоша, все это (он обвел рукой стеллаж с кассетами и дисками) ништяк, но еще бы одну особую, эдакую. Вот, понимаешь, ночь. Я са- жусь в «Жигуль». Только что от женщины. Любовь и все такое. Хочется чего-то такого, а ехать некуда. Я сажусь, это, в «Жигуль», делаю сто кмэ по глад- кому ночному проспекту и врубаю кассету. Вот. По- нимаешь?

Я не знаю, что такое вдохновение. Но бывает, что накатывает — и хочется смеяться оттого, как все просто, и ты делаешь то самое, что надо. Я выхва- тил из коробки кассету, записанную только что одному деятелю, и, закладывая ее в аппарат, по- вторял:

— Значит, ночью на проспекте, когда некуда ехать, а хотелось бы...

Взрыв из динамиков. И взвихрились скрипки, кла- весин — Вивальди, только очень быстро заритмован- ный, очень странный Вивальди, и вдруг туда ворва- лось яростное, мощное гитарное соло, как будто поток раскаленного металла. Божественный «Сен-Пре».

Надо было видеть лицо Юрчика в этот момент. Он даже был не в состоянии сказать: «Вот же оно!» Он сидел, смотрел на меня, как на пророка, как буд- то вокруг моей головы появилось вдруг сияние... А я — мне казалось, что это я написал, что это моя музыка, ей-богу!

Передал ему кассету:

— Такое можно только дарить.

А Аленку я ему не отдам. Не у Пронькиных.

Опупея — другого слова не подберешь — с будкой звукозаписи развивается интересно и шустро. И пора подумать, что ж с этого можно иметь.

Ну, по-первых, мои коллеги по звукозаписи — уса- тый со взявшимся неизвестно откуда приятелем — устроили ежеутреннюю блокаду дома отдыха. Быстро выислили, где мой усталый друг отдыхает — вот ведь!.. Сначала я не поверил, а потом пришлось. Выхожу из лифта в вестибюль, прохладный и полу- темный. На мне кепочка с огромным козырьком и темные очки — сразу не узнать. Тем более что не столько меня сторожат, сколько журналиста. И еще как сторожат — вдвоем, у второго лицо вообще бан- дитское. Я затаиваюсь в кресле за колонной. Интерес- но ведь.

А вот и журналист. Следует беседа: его пытаются взять за локоток и что-то толковать. А головорез- напарник тем временем дружески беседует с про- жалаждающимися у нас по утрам местным милиционе- ром (хороший ход с их стороны!). Разговоры и угово- ры тянутся довольно долго. Журналист выглядит довольно жалко. Он наконец освобождается и выры- вается на улицу.

Тогда на сцену выступаю я. Тут бы не ошибиться. — Писать будет, — говорю я сразу же после при- ветствий. — Пустяк, конечно, но...

— Что вы за люди! — вздыхает усатый. — Вам пустяк, а нас закрывать-открывать станут, а сезон будет идти... Что вам заметочка — десять рублей, да? Море рядом, фрукты. А вы не можете, чтобы не навредить! Сейчас то, се ему предлагал, поси- деть, поговорить по-человечески. Он у тебя главный, да? Не хочет слушать, ты понимаешь? Ну что за люди? Фото сделал — а?

— Самому интересно, — делаю свой ход. — Но у каждого своя работа. У него своя, у меня своя. Ему виднее.

— Слушай, а ты сам кто? — пробуждается инте- рес у усатого. — Я думал, вы вместе?..

Даже скучно. Как по нотам.

— Я не журналист, — говорю. — Ну, ладно, пойду. Может, сегодня зайду на рынок...

Главное — не форсировать. Пусть он пока поймет

льшь, что я и журналист необязательно во всем согласны.

Делаю шаг из прохладной темноты вестибюля в раскаленный, дрожащий золотой воздух. Оставляю усатого с его уголовным другом дозревать.

Дорога к морю. Босиком, ветерок треплет рубашку. Голоса, смех. Серый песок, шоколад тел всех оттенков. Аленки что-то не видно.

Проходя по пляжу, натыкаюсь на журналиста. Втыкаю гвоздь в рану:

— А этот тип действительно и сюда добрался? Он случайно номер вашей комнаты еще не узнал?

Ему эта мысль не очень нравится. Но не будем думать, что он испугался,— видимо, и не такое случилось. Надо давить на другие кнопки.

— Мафия,— говорит.— Звали на речку, посидеть, шашлык покусать. Ну, это я уже встречал, и не раз. Знать бы, какие доходы у них под угрозой?

— Ну, на речку-то не надо,— замечаю я, и мы оба понимающе смеемся.— Мало ли... А что, может, поездим, покопаем, что и кто за всем этим стоит? Могу помочь...

Журналист переворачивается на другой бок, потом машет рукой. Все идет как надо.

— Этого добра у меня на работе — вагонами... Только и езжу и копаю.

— Да, отпуск у нас у всех один,— киваю я.— Один... Кстати, я сегодня в ту сторону, где рынок, собирался. Может быть, поговорю?

К этому моменту я уже знаю, чего хочу.

Еще несколько осторожных ходов — и право на посредничество получено. Как говорил не то Наполеон, не то кто-то еще, вино налито, осталось его выпить.

Иду дальше по пляжу. Натыкаюсь на Юрчика среди трех девчонок, одна из них — она, Аленка. Надоело ей, видно, сидеть на пляже с этими кикиморами, но бежать некуда и неудобно, о чем она мне и сказала вчера вечером за шампанским в баре. Юрчик зазывает. Трое загадочно смотрят черными стеклами очков, притом Аленка кивает. Нет, пусть Юрчик делает свое дело сам. Я уже знаю: чем чаще он открывает рот, тем быстрее мяч катится в мою сторону. Воспоминание Аленки о шампанском плюс его рассуждения — вот и славно. Пусть наслаждается. Вот секретарши эти — тем одно удовольствие.

Я машу рукой на ходу и двигаюсь дальше по вязкому горячему песку. Еще не время.

Вечером снова шампанское и персики. Моя музыка сотрясает бар. Занятно: она мне мешает, напоминая о Москве, семье и работе. Если бы серенаду Глена Миллера. А так я чуть-чуть не в себе, посему продолжаю загадочно молчать.

Аленка развлекается. Я ее совершенно не скываю.

Прогуливаемся вечером по аллее.

— Сдержанный, суровый тридцатилетний мужчина в прекрасной спортивной форме — м-м, вкусно! — кошачьим голосом говорит она, держа меня под руку и вытанцовывая на бетонных плитах. Повисает на руке и скачет на одной ноге. Абсолютное доверие, как у котенка, которого еще никто не пинал ногой. — И ведь вас тут никто не знает, никто-никто. Человечек-загадка. А этот ваш Юрий... вот он знает... и упоминает ваше имя с почетом и уважением. А сам он кто?

— Специалист по валюте,— говорю я, стараясь не жаржать.

— Ой, какой-нибудь там внешторгбанк, знаю... Нет, непохож. Он так старательно изображает идиота, что, конечно, никто не поверит. Тоже загадочный человек.

Тут я просто фыркаю, как лошак, и тащу ее купаться.

Ноги вязнут в теплом песке. Далекая сигарета краснеет точкой в ночи. Шум прибоя — шум шагов...

Рынок. Кружатся злобные желтые осы вокруг пирамид сочащихся груш и слив. Черная, скрюченная торговка венчиком из виноградных листьев смачивает соленые огурцы рассолом — чтобы сияли. Наби-

ваю сумку. А теперь — к делу. Вдруг из-за будки звукозаписи показывается старик поразительного вида. Маленький, хромой, с огромной фигурной клюкой, в шапке густых седых волос — и с неожиданно молодыми пронзительными черными глазами. Я сразу понял, что старик — это серьезно.

— Провинились мои ребятаки,— скрипучим голосом сказал он.— А вот как из положения теперь выйти? Просто неудобно мне, ведь я все-таки заслуги кое-какие имею...

Он стал мне совать в нос удостоверение ветерана войны, на редкость новенькое и подозрительное.

Я отнесся к нему уважительно и даже не стал спрашивать, кто он этим ребяткам — официальный начальник или просто сосед, якобы никакого отношения к звукозаписи не имеющий. Ну и глаза у «ветерана»: хочется поехать и вернуться.

— Выход есть,— сказал я.— Можно уговорить его не писать. Если даст слово — то это будет слово, вы уж поверьте: слово стоит денег во многих профессиях. Да и пленку отдаст...

Они поверили.

— ...Ну, а вы снимите все эти бумажки со стекол. Ваша реклама — вот,— я ткнул пальцем в динамики под козырьком.— Кстати, что-то у вас в левом канале расконтачилось, и с верхними двумя-тремя тысячами не все в порядке.

— Да, да, точно,— закивал усатый.— Завтра погрузим и повезем мастеру. Слушай, а ты разбираешься в этом деле, да?

— Я, между прочим, инженер-акустик. Занимаюсь в том числе и звукозаписью. В свободное от работы время.

— Одно дело, значит, делаем? — засиял усатый, а старик устал на меня свои умные глаза. Такой, кстати, может все игры раскрыть за минуту.

Дальше последовал чисто технический разговор, в который я старался втиснуть и папашу с клюкой. Он слушал с интересом. Уважаю стариков, которые не стыдятся учиться, если есть чему.

Я также заметил, что, когда старик хочет вставить слово, он только шевелит мизинцем, и усатый умолкает на полуслове. Ну и старикан. Я приготовился к поражению.

Но я победил! Разговор как бы сам собой вышел на другое: к горной речке, форели, шашлыку, домашнему вину. Конечно, я стал отнекиваться.

— О чем говоришь — не надо! Как не надо! Ты такого шашлыка нигде не попробуешь! — почти кричал усатый.

— А я своим ребяткам скажу на всем побережье — ни одной бумажки такой под стеклом не останется, чтобы покончить с тем паскудным делом,— добавил «ветеран», и я снова посмотрел на него: вот это старик...

Но это было не все. Не люблю уходить, чувствуя себя в долгу. Я опять не глядя вытащил заранее заготовленные кассеты и выложил на прилавок:

— Чтобы бизнес шел веселее... Берите, пригодится. Усатый посмотрел на меня. Теперь, знал я, шашлык мне будет, и катание на белых «жигулях» с Аленкой, и многое другое: деньги — это не все!

Вот только как бы старик не напортил. Может...

Листов со списками я с тех пор действительно не видел на всем побережье. Не встречался я больше и со стариком — а жаль. Журналист отдал непроявленную пленку (ее проявили здесь же, на рынке, и остатки после изъятия нужного кадра отдали мне), а усатый выполнил то, что требовалось.

Но оказалось, что без шашлыка можно было и обойтись. Без всех моих сложных комбинаций. Как все произошло, не могу понять. И вот я, чувствуя приятное расслабление, полулежу в шезлонге на своей лоджии, край перил которой обжигает послеобеденное солнце, а Аленка лежит на моей кровати лицом в подушку и спит так, как будто она тут живет уже вторую неделю. Что, Игорь, тебе этого хотелось — получай.

— Знаешь, мне у тебя... спится с цветными снами. Разбуди меня в пять,— бормочет она в подушку. И немедленно засыпает снова. Жарко, простыня

валяется в ее ногах. На плечо, возле двух родинок, садится муха. Я тихо подхожу, сгоняю ее свернутой газетой. Муха перелетает на кусок дыни.

Странное чувство — обидно, что ли? Я-то хотел, видимо, долгой борьбы, уговоров, выламывания рук и, наконец, победы. Паршивая девчонка отняла у меня победу. И мне теперь чего-то не хватает.

Ладно. Сгоняю муху, снова на цыпочках выхожу на лоджию — кафель приятно холодит босые ноги.

Занятно, днем мы вообще не говорим — как будто боимся слов. Между нами столько всего, что и думать не хочется, но, поскольку мы молчим, все хорошо. Вернее, говорим, конечно, но на своем языке. Например:

— Здесь день пахнет сауной, а ночь с дождем — арбузом, — говорит Аленка.

И это так и есть.

Она, коза этакая, иногда все же как будто срывается с цепи и начинает говорить, говорить, говорить. Как будто меня нет, или как будто я — попутчик в купе поезда и со мной уж точно потом не встретишься (что похоже на правду). Можно, собственно, и не слушать. Но я иногда ловлю отрывки, и возникает чувство, как будто срываешься с края пропасти и летишь вниз, в долину, не вполне еще понимая, падаешь или планируешь. Другой человек — другой мир, что и говорить... Можно только потрясти головой, как от наваждения, и... а что «и», собственно?

— ...да нет же, их тут целые стаи. На все вкусы. И с женами, и без. И на все случаи жизни: для похода в горы, сидения в баре, купания, любви быстро-быстро, пока жена не пришла. Ну, вот, например, дня за три до появления вас и вашей теннисной ракетки сидела я в этом баре, сидела, давилась кофе, он из ушей уже выливался, а они все подходят и подходят, подсаживаются и подсаживаются: Алена, Аленка, Аленушка... Неужели от знакомых рож нигде нельзя отдохнуть? И ведь все прекрасные, интересные люди, два писателя, один с орденом. И все о работе, о работе, хотя о чем-то еще, но остальные их смущают. Но не в том дело. Я подняла голову, посмотрела, и меня как током: восемь мужиков сидят вокруг меня кружочком и курят все восемь. И все дураками себя чувствуют. Хотя восемь — это, конечно, неплохо.

— Идем на рекорд? — улыбаюсь я глазами.

— Ага, — говорит она. — Хочу попасть в книгу Гиннеса. Дело в том, что где-то ведь есть предел. Просто некоторые в этом дынном колечке уже начали друг на друга щериться.

— Не надо о деле, — быстро вставляю я, вспоминая о своем. Повинуясь моей поднятой руке, подъезжает местный автовладелец на сверкающих «Жигулях», обвешанных зеркальцами, антеннами, дополнительными фарами, игрушками и прочим. Мы стояли на шоссе после ужина и ловили транспорт, чтобы отправиться в центр поселка, где делать тоже почти нечего, но время все же проходит веселее.

О работе у нее, впрочем, еще два раза прорывалось. Запомнилось:

— Ходят две большие предпенсионные тети с фальшивым высшим образованием, с выпученными от сознания важности своей миссии глазами. И я с ними — трудовой коллектив. Понимаете, если они какую-нибудь карточку на письмо не туда прикрепят или вообще какая-нибудь ошибка случится, они всерьез — понимаете? — допереживают до инфаркта. Не переживут позора. И меня воспитывают в том же духе. Вернее, воспитывали, сейчас бросили. А боятся они оттого, что полуграмотные. Я заглядывала в их хозяйство — страх и ужас. Вот где позор. Писать ответы — и то не могут. Причем где-то они это понимают, но по-другому уже не могут, для них главное — чтобы за день доработаться до дрожащих коленок, а то домой не будет хотеться уходить, чего-то будет не хватать.

...Вот моя подруга Татьяна — мы вместе жили в Каире, отцы наши там работали, — она все думала,

что уж у нее-то работа будет настоящая. И, как дура, решила, что будет искать ее сама. Сказала папе: нукуда не звони, нукуда не устраивай. Папа, между прочим, послал, мог бы.

Три месяца она искала работу и поняла, что никому на свете ее не хочется брать. Но в итоге устроилась. Как и я: сидит с двумя кандидатами в пенсионерши, перебирает такие же письма. Я опять о том же? Скажите вы хоть что-то. О теннисе. О семье, если о себе не хотите. О птичках. Вот, например, что можно делать с птичками, как их применить, что ли, и говорите быстро, не думая. Ну?

— Их жарят и едят, — начал я медленно. — Их стреляют. Их ставят в анкете. Их разводят...

— ...и женят! — подхватывает Алена. И мы хихикаем, как идиоты, и, в общем — отдыхаем.

Жизнь никогда не устает бить тебя мордой об стол. Я думал, что с этой козой у нас хоть одна гарантированная точка соприкосновения: музыка. И тут у меня было вычислено несколько стереотипов: старшее моего возраста любит джаз и эстраду полегче, а также всяких Аркадиев Северных (на которых я не специализируюсь), с моих лет — это рок разной степени серьезности (и наши полупрофессиональные группы типа «Мухомора», на чем я также не специализируюсь).

У этой все не так. Что касается рока, то и я мог бы кое-чему у нее поучиться. То ли у нее, то ли у ее папы весьма необычный вкус. Мои каналы таких вещей не обеспечивают. Но вот еще:

— ...да, кстати, помните, у Вертинского: «но когда он играет концерт Сарасате...» Все как-то до Сарасате руки не доходили, но ведь надо же было этот концерт хоть раз услышать. И вот, представьте себе, подруга Татьяна — от нее можно что угодно ожидать — порылась у себя в куче барахла и вытащила Сарасате, и вот я его услышала. Ну, это нечто: все время на низких струнах, такая страсть...

Вот оно, снова это чувство — полет с обрыва. Меня бьют на моей же территории: Вертинский, Сарасате... Я представил себе, как я в метро передаю кассету с Вертинским и беру два тройка.

А если подумать? Поискать клиента? По крайней мере конкурентов не будет.

Шашлычок был. Ох, какой. И как говорил речи уса́тый продавец радости.

А вечером после этого... Мы лежим на пляже, и это совсем не тот пляж, что днем. От звезд небо как подернуто инеем. В той стороне, где море, чернота, никакого горизонта, только висят в этой черноте два далеких огонька какого-то катера — желтый и красный, две точки. По пляжу бродят тени людей, ветер доносит обрывки слов. Времени не существует.

— Мы в Москве совсем разучились слушать тишину, — говорит она, глядя мою голову. — Мы даже и не знаем, что это такое.

— Тишины нет, — говорю я. — Камыш шуршит. Вот там у берега чуть постукивают камни. В километре с лишним отсюда играет магнитофон — сейчас ветер принесет. Это Эдит Пиаф, между прочим.

— А тишина — это все остальное, — подхватывает она. — Знаешь, ты ведь, наверное, мог бы стать талантливым музыкантом, если все это слышишь. Кто ты?

Я не выдерживаю и срываюсь:

— Я кто? Я бизнесмен. Запись кассет, продажа дисков, доставание билетов на хорошие концерты за тройной номинал и другие услуги. Фирма. А кроме того, по совместительству я инженер, начальник отдела КБ на заводе, очень большой человек. Вот так.

Она молчит. Я чувствую, как у меня под головой ее колени становятся другими — твердеют, что ли. Не могу остановиться:

— А ты, девочка, думала, что я летчик-испытатель. Или экс-чемпион мира. Или разведчик. Я обыкновенный — как это? — спекулянт, между прочим. И шампанское, и шашлычок, и путевка сюда — это

все вот именно потому. Ах, музыка, искусство из искусств. Какие мысли по этому поводу?

И ветер доносит магнитофонные обрывки.

Утро следующего дня. Все на месте, и земля кружится, и море плещется, и песок шуршит. Ах, бедный ребеночек. Вот ведь удар какой. Что ж, будем считать, что мне случайно повезло. Лучше, что ли, было бы нарваться на обычную искательницу сладкой курортной жизни?

И для тенниса нужен новый партнер. А без этого — никак. Мне все же тридцать. Я знаю, что такое страх старости. Это когда утром просыпаешься и чувствуешь, что смертельно устал, а ты еще даже ничего не начал делать.

Вот и корт — наше обычное время.

И она здесь, в белом костюмчике, со своей игрушечной данлоповской ракеткой.

Что ж, раз так, сыграем.

И носится мяч. А она еще и что-то доказать хочет: очень всерьез играет, вот хороший мяч прямо мне под ноги — и Игорь его пропускает, вы только подумайте!

Мягко подаю. Постепенно утяжеляю удары. Мяч уже не скачет — он летит как бы нехотя, но с силой. Она отбивает, не скулит. Изю всех сил отбивает.

Хорошо. А вот теперь раз. И два. И три. И четыре. Девчонка.

Она садится на скамейку, съездившись, обняв ракетку. Поднимает на меня глаза и говорит: «У-у-у».

Я смотрю ей в глаза, она кивает головой. И мы идём ко мне, как всегда.

И вот тут... Она говорит мне, щечка губами ухом: — Глупый... Ну какой же ты спекулянт. Я же вижу, что ты. Что бы я делала, если бы не встретила тебя...

И добавляет:

— Вот только я завтра уезжаю...

Жизнь продолжается.

Ночь. Звуки в ночи. Сажу на лоджии своей одиночки. Справа внизу темнота скрывает большое озеро. Оттуда ветер приносит обрывки заезженной песни, из тех, что я тиражировал этой зимой. Ее поет солист из ресторанного оркестра, как ему кажется, — на итальянском. Слева в темноте шумит море. Фонари, лучи фар на шоссе вдруг чиркают по кронам деревьев. Звуки моторов на повороте.

Прямо перед глазами — клетка огней: это башня соседнего дома отдыха. Двигутся маленькие темные силуэты людей. Литфонд. Пи-са-те-ли. Классики.

Я могу встать и пойти к Юрчику в люкс. У него наверняка народ, хохот, визг. Юрчик живет полным ходом, развлекает, видимо, секретарш — Аленкиных подруг и пьет коньяк, попирая запреты. Он будет, наверное, мне рад. А я не пойду. Отдыхаю. Имею право в конце концов.

Что ей было все-таки надо от меня, вот в чем вопрос. Опять это чувство: проходит, прошло мимо что-то, а я и сообразить не успел. Жаль, честное слово. Но переживем, а?

В полосе света из моего окна метнулся быстрый белый зигзаг летучей мыши. Наверху, этажом выше, среди тишины зазвучали голоса, смех, магнитофон. Кто-то пришел и начал веселиться. Что у них там? Диска, как и предполагается на отдыхе, но чуть грустное диско. Только грусть такая, что ли, малозаметная — чуть-чуть минора для тех, кто хочет его услышать. Спасибо, ребята, за музыку.

В черноте неба — ковш Большой Медведицы. Он как будто стоит на крыше писательского корпуса, как большая телеантенна. Звезды — это неплохо.

Курю, смотрю на звезды. Под рукой молчащий пока магнитофон и наушники. Осталось освоить еще восемнадцать кассет.

Поэзия



Борис
ВИКТОРОВ

Семь пядей

«Во сне я мимо школы проходил...»
О ЧУХОНЦЕВ.

Оправдались прогнозы школьные:
не попасть в город детства дважды,
и верблюд сквозь ушко игольное
не пройдет, одурев от жадности,
райский сад не спасти штакетником —
и на то есть резон у бога.
Но поступит в торговый техникум
С. — туда ему и дорога!
...Я узнал его и невольно
вспомнил кличку его — «Семь пядей!» —
был он лучше других на школьной
незабвенной олимпиаде.
Мы за партой одной сидели —
С. решил раньше всех задачу.
А сегодня в мясном отделе,
пока время я в кассу трачу,
С. вонзает топор с одышкой
кабану промеж глаз: «Готово!» —
и поигрывает «пустышкой» —
гирей полукилограммовой.
Перед очередью капризной
защищается он счастливо
чуть дымящиеся головизной,
как пророк купиной Хорива;
под прилавок нисходит длинный
фартук кожаный маслянистый,
солью выравненный невинный
фартук бывшего медалиста...
Верно. Вечная прогрессивка.
Все отлично, «Семь пядей», кореш
с круглой лысиной — до заливка —
кепкой фирменной не прикроешь...

Посвящение Велимиру Хлебникову

Пространство, Азия, века,
разруха, «Яблочко», ЧК,
все это вычислил, сложил
изобретатель языка,
новатор, гений, новожил!
И простирает крыла над ним
попутчик века — серафим,
и летчик в небо улетал,
и темень темь пережидал,
и рифма задом наперед
переходила Лету вброд...
— Судьба, — исправится: — Юдоль!
Жил впроголодь. Работал в долг.
Бумаги не было, берег,
писал: на сторублевках — вдоль,
и на червонцах — поперек!

ГДЕ РАСТИТЬ ГАГАРИНА ДЛЯ МАРСА?

Политический обозреватель Гостелерадио Александр Тихомиров рассказывает:

— Мне кажется, идея духовного шефства «Юности» над подрастающей рабочей сменой плодотворна. Но я вот о чем думаю: какую перспективу рисует себе юный человек, поступая в ПТУ? Может быть, руководствуется финансовой стороной? Считает, что, будучи рабочим, станет зарабатывать больше, чем его товарищ, собирающийся пойти в инженеры? Или надеется на то, что получит больше свободы, чем в школе? Или же действительно тянется к каким-то ремеслам в соответствии с заложенными в нем природными наклонностями? И пытается таким образом выйти в люди, найти в жизни свое дело? Видимо, причины разные. Но, на мой взгляд, ребята — во всех случаях — не всегда находят то, к чему стремятся. Как бы овладевая профессией и получая среднее образование, в действительности они не получают ни того, ни другого в достаточной мере. Полноценное преподавание общеобразовательных предметов отсутствует, и в то же время оно проходит в ущерб овладению мастерством рабочего.

Существует и другая проблема, мешающая приобретению в ПТУ рабочей профессии на современном уровне: учебная база почти во всех училищах устаревшая. Я был в Московском железнодорожном ПТУ, и мне сказали, что это одно из очень немногих профтехучилищ, обладающих полноценной учебной и материальной базой. Но оно железнодорожное. Там специфика своя. Новые марки тепловозов с открытыми для ребят кабинами, регулярными поездками на практику помощниками машинистов. А если взять, скажем, ПТУ машиностроительного профиля, то техника там давно морально устарела. Мы же сегодня говорим о коренном обновлении машиностроения в стране. Вкладываем огромные деньги в эту отрасль. Думаем о том, как переучивать рабочих-станочников, уже работающих на производстве. А следовало бы, наверное, в первую очередь позаботиться о подготовке в ПТУ рабочих, владеющих в совершенстве современной техникой. Скажем, умеющих работать на станках с программно-числовым управлением, на расточных станках, на многопрофильных агрегатах, на обрабатывающих центрах. Кроме того, если бы учебная база ПТУ была достаточно современной и мощной, то есть на уровне лучших станков, на которые ориентируется сейчас мировое машиностроение, то, может быть, и учиться ребятам было бы там интереснее. Станки эти, конечно, дорогие. Стоят они сотни тысяч, иногда и миллионы рублей. Их торопятся ставить на производство. Чтобы давали отдачу, побыстрее окупались. А может быть, все-таки, думая о будущем, ставить сначала их надо именно в ПТУ? Но этого пока нет, к сожалению.

Все то, о чем я сейчас говорю, имеет непосредствен-

ное отношение к программе вашего шефства над учащимися ПТУ. Ибо бездуховный и безнравственный молодой человек едва ли способен достичь высокого уровня труда. Но, может быть, «Юность» возьмется не только за расширение эстетического, а и научного кругозора ребят? То есть, поможет им поднять свое мировоззрение — и культурное, и научное на такой уровень, чтобы потом к нему «подтягивалась» и вся повседневная учеба. Привлекайте не только студентов творческих вузов, но и молодых ученых. Питомцы Московского авиационного института или Высшего технического училища имени Н. Э. Баумана начинают специализироваться в интересующей их отрасли уже на студенческой скамье. Такие ребята могли бы организовать... Не кружки, нет. Кружки в ПТУ существуют и так. Школы! Как существовала в свое время физическая школа Иоффе в Ленинграде. Наверное, и способный студент-старшекурсник смог бы стать «отцом», скажем, школы физики для учащихся ПТУ. Беда, правда, еще в том, что направляющиеся в училища из общеобразовательных школ ученики зачастую весьма слабо подготовлены к научным занятиям. Мой знакомый, преподаватель профтехучилища, рассказал о таком трагикомичном случае. Как-то попросил он ученика, пришедшего в ПТУ после восьмого класса, написать а². Тот написал букву «а» и нарисовал вокруг нее квадрат. Можно ли питать реальные надежды на то, что за два оставшихся года обучения по общеобразовательной программе в училище он поймет все-таки, что такое а²? А коль скоро этого не произойдет, следовательно, плохо подготовленный ученик превратится в плохо работающего рабочего. Ибо если он не усвоил, как пишется а², то вряд ли будет в состоянии освоить станок с числовым программным управлением. Значит, и здесь уже допускается заведомая липа. Его будут «подтягивать», натягивать ему отметки, чтобы выдать диплом и выпихнуть, на этот раз уже из ПТУ. Точно так же, как в свое время выпихнули из восьмого класса — неучем. Убежден: чтобы стать настоящим станочником, токарем, фрезеровщиком, тоже нужен талант. И такой талант, как мне кажется, заложен во многих. Но, к сожалению, при приеме в ПТУ никто на него не рассчитывает. И соответственно не занимается его выявлением и в дальнейшем. Я сам когда-то работал фрезеровщиком. Но у меня, увы, такого таланта не оказалось. То забывал вовремя выключить станок, то я, надеясь, что «на авось», фрезеровал пазы и портил дорогостоящие изделия... За что меня и справедливо ругали. А тем временем рядом со мной трудился Юра Кузьмин, который был по-настоящему талантливым человеком в своем деле. К нему приходил инженер, начальник цеха, и говорил: — Юра, давай помаракую: как нам вот эту штуку поставить? И как проффрезеровать?

Наш цех был инструментальным, там действительно не было заранее разработанных технологий. Надо было сначала вообразить себе этот технологический процесс, а потом уже браться за него. Не с чертежа брать, а именно вообразить. А Юра Кузьмин был по-настоящему талантливым мастером. Он и работал-то играючи. Вообще я считаю это признаком высшего профессионализма, когда работа как игра. Вот, скажем, знаменитый экипаж был такой — Попов и Рюмин. О них всегда говорили: «Не работают, а играют». Поскольку у них был невообразимо длинный по тем временам полет и командир все-таки главный на корабле, Рюмин, шутя соблюдая субординацию, говорил: — Товарищ командир, прикажите мне сделать то-то.

Попов ему отвечал: — Приказываю.

После этого они начинали работать.

Кто знает, может быть, надо искать сочетание игры с серьезной работой, как это делали талантливые

учителя в младших классах школ и при обучении рабочей профессии в ПТУ? Может быть, всю вашу шефскую работу обратить в игру? В хорошем смысле, конечно. Вот я прочел в «Юности», что сначала на общение с литературой, театром, музыкой приходили три человека, затем пятнадцать, тридцать. Но ведь они тоже пока не стали активными участниками вашего движения. А что если ребята, посмотревшие, скажем, этюды, разыгранные студентами театрального института, поменяются потом с ними местами? Студенты пройдут в зал, а учащиеся ПТУ попробуют разыграть на сцене нечто подобное. Может быть, такая форма активизирует процесс восприятия ребятами творчества, искусства?

Я воспитывался в детском доме и никогда не предполагал, что во мне есть какие-то литературные задачи. Выявила их во мне моя учительница — Ирина Иосифовна Куняевская. В седьмом классе. Она стала мне давать особые темы для сочинений. Не те, по которым писали все, а, к примеру, такие: «Как ты представляешь себе будущее героев «Мертвых душ». Или героев «Ревизора»?

Я садился и начинал описывать их будущее: что произойдет потом с Горюхиным? Что с Добчинским и Бобчинским? Как они вернулись домой? Потом Ирина Иосифовна приходила ко мне во внеучебное время в интернет. Договаривалась с воспитателями и предлагала мне: — Я тебя сейчас закрою в комнате — напиши рассказ.

Запирала на два часа, и я писал...

Если бы ее не было в моей жизни, наверное, никогда я не узнал бы, что к чему-то подобному способен. К сожалению, очень мало таких учителей. Она искала в нас индивидуальности, выявляла способности и помогала становиться личностями...

Но, возвращаясь к вашему шефству, я вот еще о чем хочу сказать.

В мае на Байконуре была запущена наша новая ракета-носитель «Энергия». В течение нескольких месяцев я следил за публикациями в зарубежной печати и убедился в том, что на Западе признают: мы вновь опередили их. Ни у какой другой страны нет еще такой ракеты-носителя — способной выводить в космос массу около ста и более тонн. И констатируют, что Советский Союз наметил конкретный путь к совершению пилотируемой экспедиции на Марс в 2010—2015 годах. Марс по-прежнему представляется человечеству загадочной планетой. Американцы запускали туда свои «Викинги», биологические анализаторы почвы, пытались обнаружить что-то живое. Ничего не выявили. Однако это вовсе не означает, что на Марсе действительно нет никакой жизни.

Так вот, если мы в 2010—2015 годах сможем осуществить такой полет, то кто же совершит его? Повидимому, те, кому сейчас лет по 15—17. Может быть, даже и учащиеся ПТУ. Как я это представляю реально? В Соединенных Штатах существует Ассоциация Юных Астронавтов — организация, объединяющая 300 тысяч юношей и девушек и имеющая филиалы по всей стране. Возникла она по инициативе президента и находится под постоянным контролем его помощников. Но самое главное — ребята занимаются в Ассоциации конкретными делами. В то время как наши «юные космонавты» выступают на утренниках в картонных скафандрах или мастерят в кружках детского творчества макеты луноходов, деятельность их американских сверстников проходит в совместном труде с сотрудниками Национального центра космических исследований Соединенных Штатов, различных научно-исследовательских институтов и лабораторий. Юные астронавты участвуют в подготовке космических экспериментов и даже в создании космической техники. Им даются конкретные задания по разработке каких-то небольших частей проекта, причем работу эту оплачивают. К примеру, Национальный центр космических исследований предоставляет ребятам перечень тем, предлагаемых им для разработки. Объявляется конкурс на лучший проект. Хотя эти пока и сравнительно простые задачи, но без творческого подхода не обойтись и в их разрешении. Скажем, при создании какого-нибудь небольшого прибора для устой-

чивой работы терморегулирования пилотируемых кораблей или, например, при конструировании специальной посуды для использования в космосе. В невесомости невозможно попить из стеклянного сосуда — жидкость оттуда попросту не потечет. Значит, нужны какие-то пластиковые сосуды типа туб, откуда ее можно выжимать. Такие сравнительно несложные задачи способен решать даже школьник. Конечно, не каждый, но для ребят, имеющих склонность к техническому творчеству, к конструированию, к научно-исследовательской работе, особой трудности они не составляют. К тому же в их возрасте очень часто проявляется неожиданный, неординарный взгляд на вещи. Наглядно это продемонстрировал конкурс, объявленный в Соединенных Штатах и в СССР перед совместным космическим полетом «Союз — Аполлон». В нем участвовали советские и американские школьники. Первую премию получила тогда американка, предложившая провести на космической орбите эксперимент с пауком. То есть посмотреть, как паук будет плести паутину в невесомости. Видите, какой оригинальный подход и какой неожиданный взгляд! Взрослому вряд ли могло прийти в голову такое.

Так вот, учитывая интерес молодежи к космосу, может быть, создать нечто подобное и у нас? Космонавт А. А. Леонов поддерживает идею создания такой организации в нашей стране. Недавно я беседовал с ленинградским профессором-токсикологом Ливановым. Он утверждает, что наркомания — прямое следствие неумения молодежи занять себя чем-то значительным. А приобщение ребят к космическим делам, думаю, и есть стоящее, значительное занятие. К тому же увлекательное и перспективное. И вот мне кажется, что идея эта может стать составной частью той большой работы, которую начал журнал «Юность» по духовному шефству над учащимися СПТУ. Ибо, я думаю, именно среди них можно выявить детей одаренных, талантливых и потенциально способных на крупные, свежие, оригинальные и нужные для дальнейшего развития космонавтики научные идеи.

А начинать выявлять их надо не когда-то в будущем, а уже сейчас, сегодня. И я предлагаю редакции сделать первый шаг в этом направлении. Объявить для начала конкурс на лучший рассказ о полете на Марс среди учащихся СПТУ. Как они себе это представляют? Но задачу поставить таким образом, чтобы ребята попытались представить не придуманный, а реальный Марс. Обратившись в том числе и к полетам советских и американских автоматических станций. А на обсуждение конкурсных сочинений пригласить специалистов, способных оценивать не только их литературные достоинства, но и познания авторов о самой планете, об условиях космических полетов, о конструкциях космических аппаратов. Вдруг кто-то предложит совершенно новый способ создания искусственной гравитации?

Такой конкурс приведет подростков, юношей и девушек в библиотеки, разовьет фантазию. Помните, как герой «Театрального романа» Булгакова Максудов окунал себя в сферу театра? Не зная еще, как пишутся пьесы, он вообразил розовую коробку, внутри которой двигались и о чем-то говорили люди. И участник нашего конкурса будет представлять себе поверхность планеты, марсианские зори, марсианские ветры, а затем, чтобы картина была полной, поместит туда и человека. Кого? Думаю, самого себя.

Перед ребятами откроется широкое поле деятельности и высокая цель. Ибо, если человек чего-то очень сильно захочет, в конце концов он того добьется. Жизнь подтверждает это бесконечными примерами. Если сказать себе уже сегодня: я хочу в 2015 году полететь на Марс...

Или: я хочу в 2015 году принять посильное участие в полете на Марс...

То вполне можно построить свою жизнь так, чтобы обозначенная цель была достигнута. Но только в том случае, если ты станешь отличным профессионалом.

«ЛИЧНОСТЬ»

№ 1—88

*Вестник культурного центра
учащихся СПТУ*

ПЕРВЫЙ БЛИН... НЕ КОМОМ

Итак, как и было обещано «Юностью», «Личность» открылась 1 сентября. В обычном, ничем пока не отличающемся СПТУ № 43 города Лыткарино Люберецкого района Подмосковья. Не из худших, но и далеко не образцовое. Как нас там приняли? Посудите сами: на встрече со студентами Литературного института имени А. М. Горького из всего многочисленного преподавательского персонала и руководства училища присутствовало всего три человека. Можно ли было после этого удивляться тому, что и сами ребята встретили питомцев Литинститута безо всякого энтузиазма, хотя и не без любопытства. Но мы, конечно, верим, что контакт с ребятами будет найден и все пойдет на лад.

А как сами шефы? Казалось бы, это благородное дело вызовет живой отклик у тех, кто стоял у его истоков. Ведь с комитетами комсомола творческих вузов была предварительная договоренность о составлении конкретных программ. Но ни одна из них составлена не была. Вузовский комсомол подвел нас. Как будто сговорившись, все комсомольские вожаки, словно одним голосом, заявили:

— Без команды ректора ничего не можем.

Пришлось, как говорится, в пожарном порядке искать единомышленников. Искать подвижников, без которых подобные идеи осуществить всегда было невозможно. Студенты Литинститута В. Кулле, М. Жажоян и Д. Сучков прочли ребятам свои произведения. На второй день редакции пришлось самой «закрывать амбразуру». Ну, а дальше? Мы решили обратиться к тогдашнему ректору ГИТИСа Вадиму Петровичу Демину. И на наше счастье, обнаружили в нем больше молодого энтузиазма, доброжелательности, сочувствия, наконец, нежели в некоторых вожаках студенческого комсомола. Студенты актерского факультета были готовы ехать в СПТУ. Но... ехать оказалось не на чем. Наш партнер по шефству — Госкомитет РСФСР по профтехобразованию не смог обеспечить энтузиастов транспортом. А один из заместителей председателя даже посчитал уместным «посоветовать»:

— Откровенно говоря, могли бы и на городском транспорте отправиться.

Это в Подмосковье-то?! С костюмами, инструментами! Странная, мягко выражаясь, позиция. Никому ведь не придет в голову предлагать такое артистам, дающим платный концерт. Так почему же безвозмездное выступление заслуживает подобного пренебрежения, если не сказать хуже? Не таится ли в этом обидном предложении равнодушие, по сути, Госкомитета республики к идее, которую оно так горячо поддерживало на словах вначале?

Чтобы не срыва́ть шефство, пришлось добираться в Лыткарино на такси.

Будущие актеры рассказали ребятам о ГИТИСе, о себе, об истоках русского театра, о процессах, происходящих в сценическом искусстве сегодня.

На следующий день в отсутствие ректора (избранного «Юностью» Президентом ректорского Совета Содействия шефству) при горячем содействии его секретаря Александры Акимовны мы обрели еще двух замечательных союзников — руководителей факультетов: музыкального театра — Карину Врановну Вартанову и хореографии — Евгения Петровича Валукина. И они заступили на вахту содействия шефству. И помогли нам не допустить срыва — до формирования предполагаемых нами программ по каждому виду искусства — МГУ, институтом имени Гнесиных, ВГИКом и Суриковским институтом.

А пока — следующая встреча. Благодаря вниманию к нам Анатолия Аркадьевича Хварцкия — начальника Главного управления профтехобразования Московской области машина в этот раз хоть и с опозданием, но была. Правда, соответственно позже началось выступление. Многие ребята уже разошлись по домам, да и фортепьяно не оказалось...

Концертмейстер института Татьяна Юрьевна Богданова рассказала, как в ГИТИСе распознают в обыкновенных вчерашних мальчишках и девчонках — выпускниках школ и ПТУ актерские и режиссерские дарования и как затем формируют из них профессиональных мастеров сцены. Ольга Фролова прочитала фрагменты из литературных произведений. А Валерий Планкин спел все-таки. Под аккомпанемент — увы! — расстроеной и почти разбитой гитары, добытой кем-то из ребят.

СПТУ № 43, как, впрочем, и другие, готовит людей, очень нужных стране. Будущих строителей. Кстати, здесь учатся ребята не только из Лыткарина, но и из других городов. Живут они рядом, в общежитии. После окончания училища многие разъедутся по разным адресам. Что же обретут они здесь, помимо технических навыков и профессионализма? Обогалят ли души свои, станут ли личностями? Вот о чем сейчас наша забота и тревога. Сегодня. А завтра?

Как же трудно начать всякое стоящее дело! На помощь к нам явился телевизионный «Прожектор перестройки». Прознав об этом, в училище выехала дюжина черных «Волг». И никогда не выдавшие сразу столько начальства работники СПТУ № 43, получив по прежним меркам «на всякий случай» нагоняи, стали буквально шарахаться от нас и встречать уже с нескрываемой враждебностью. «Жили себе тихо-мирно, и вдруг эти, со своим шефством» — все чаще стало слышаться за нашими спинами.

Но, наконец, к нашим делам подключился Сергей Григорьевич Пригарин — и. о. начальника управления Госкомитета РСФСР. С его появлением перестали загонять ребят к нам, против чего мы изначально категорически возражали. Начался ремонт зала. Появилось пианино... В организационных делах стало легче. Только что-то подозрительно долго не утверждают нашего «и. о.»...

Ну, а как сами ребята? — спросите вы. Очередная поездка, и... явились первые, еще очень робкие, но вполне различимые росточки начинающегося диалога. Не монолога, как прежде, со стороны студентов, а первые отзвуки на их искусство, на их искренность. Из зала зазвучали реплики, стали поступать вопросы. И начался разговор об истории города Лыткарино. Историю, которую они фактически не знают. Но знать, оказывается, хотят.

И уже с большей приподнятостью и интересом ребята знакомились с будущими артистами музыкального театра — Анатолием Паленкой, Андреем Свидровым, Виктором Грибоедовым. Смотрели и слушали, как Вячеслав Теблов и Феликс Царикаев исполняли песни народов России. Зашумели в последних рядах. Задвигались стулья. Ребята стали пересаживаться поближе к импровизированной «библиотечной» сцене. Девочки начали подпевать гитисовцам. А за ними и... весь зал.

Встреча продлилась больше часа.

Модрис АУЗИНЬШ.

«ПРОСИМ РАЗЪЯСНИТЬ ВЫШЕУКАЗАННЫЕ СТИХИ»

Хорошо, когда стихи рождают эхо. «Уважаемый Олег! Очень теплые воспоминания вызвало Ваше стихотворение «Девчонки 50-х», большое спасибо! Вы очень верно подметили восторженную, я бы сказал, «ожидательную» атмосферу того времени. Я сам в прошлом ученик мужской школы (окончил в 53-м г.), и именно слова «бабы», «из бабской школы» были популярны среди нас. А вот «косами длиннющими играючи» — точно в отношении «баб». «А в глаза-то посмотреть-то боязно» — прекрасно, именно так! Да, так. Заглазно — «бабы», а на самом деле — ожидание идеала и встречи с ним на земле. Примеряя Ваше «Московское время» к нашему ленинградскому, скажу, что то же самое было на Суворовском проспекте или у Таврического сада... Еще раз спасибо за хорошее, пробудившее теплые чувства и воспоминания стихотворение. С уважением В. Виноградов».

Можно поздравить Олега Дмитриева с таким откликом неведомого ему читателя. Впрочем, такого ли уж неведомого? Из этого письма мы узнаем о нем гораздо больше, чем знаем порой даже о некоторых знакомых людях. Что В. Виноградов — человек с развитым восприятием литературы, живой, наблюдательный, думающий. И не лишенный чувства юмора. В конце концов именно к такому читателю-другу, читателю-собеседнику и обращается поэт. Возникшее эхо, мгновенный духовный контакт с незнакомыми (что особенно ценно) людьми, может быть, и составляют ту главную награду, которая дает смысл и значение труду художника, без которой ему и жизнь не в жизнь: «Я дни извел, стучась к людским сердцам...» (Е. Баратынский).

И дело тут не в самом факте читательской похвалы, отнюдь! Принято считать, что о вкусах не спорят...

Но не спорят только тогда, когда вкус — мерило лишь своей оценки произведения, когда его не пытаются насильно навязать или — что тоже, увы, случается — приписать другим, так сказать, «обобщить». Вот, например, три письма по поводу публикации в «Юности» стихов одной поэтессы (умышленно не называю в этом и некоторых других случаях имен, чтобы «брань не висла на вороту»): «Простите, пожалуйста, в них нет смысла никакого... К чему нам всем такие стихи, что они дают, на что зовут? Нужно думать всем вам, прежде чем публиковать такую ересь». «Пишут вам ваши постоянные читатели. Насколько мы понимаем, ваш журнал предназначен для молодежи. Однако мы не понимаем, для кого предназначены стихи... На наш взгляд, это стихи, лишённые рифмы, какого-либо смысла. Не знаем, может, они представляют какое-либо новое течение в поэзии, но мы считаем, что это течение следовало бы назвать «как не надо писать». «В них, этих стихах, как говорится, «ни кожи, ни рожи». Рифма отсутствует начисто, размер не соблюден. Но главное, в них нет никакого смысла... Ну кому нужны такие кроссворды, ребусы? Зачем же их тащить на страницы всесоюзного журнала? Прошу написать мне по этому поводу. И, пожалуйста, не пишите, что, дескать, автор мало понимает в стихах, поэтому так категоричен. Нет, автор как раз довольно легко может отличить семена от плевел...»

Ну не так уж и легко! В двух последних откликах выражено возмущение и тем обстоятельством, что в опубликованных стихах нет ни размера, ни ритма. Действительно, нет. Что тем не менее не лишает их права быть стихами. Ведь это верлибр, а верлибр тем и характерен, что освобожден от рифмы и от четкого ритма. Что же касается непонимания смысла, то тут уж, наверное, ничем помочь нельзя: переводить образный язык поэзии на быденную речь — все равно что мучительно пытаться объяснить человеку, лишенному юмора, в чем соль шутки.

Тем не менее просьбы о таком «переводе» нет-нет да и встречаются среди читательской почты. Например, в письме тов. Красниковой из г. Красногорска: «Просим редакцию разъяснить вышеуказанные стихи А. Вознесенского...» Что огорчает в этих письмах? Прежде всего, конечно, поверхностное знакомство с поэзией. Но еще больше — это обобщенное «МЫ». Желание говорить не только от своего имени, но и от имени других людей, как бы читательских масс.

«К чему нам всем такие стихи?!» Человек не просто категоричен в оценках — его категоричность агрессивна, она нередко переходит в развязность и грубость.

Журнал опубликовал небольшое стихотворение известного поэта, написанное, кстати, тоже верлибром. Приведем его целиком:

Строки вяжут, как плоты,—
Одну к другой,
Как бревна вяжут,
И течение влечет меня
Медленно, но неуклонно.
На плоту, пахнущем лесом,
Плавню, медлительно, долго,
Томительно, словно вечно.

На него откликнулась студентка четвертого курса Киевского политехнического института Е. Унгерян. Сразу же взят убийственно-язвительный тон: «Я не физиономист, но мне кажется, что поэт слишком самоуверен, если рискует подчеркнуть свое дарование подобным образом... Увлекаюсь поэзией давно. Но таких (извините, если сильно сказано) маразмов и штампов давно уже не встречаю... Справедливое возмущение придает мне храбрости. Зачем заполнять драгоценные страницы подобной стихотворной белибердой».

К этому стихотворению, наверное, можно отнести по-разному: кому-то оно понравится, с чьим-то настроением совпадет, кого-то не тронет. Как и всякое другое. Но бранные слова «маразм» и «белиберда» свидетельствуют лишь о дурном воспитании девушки, которая с такой легкостью в сугубо литературном споре пользуется «трамвайным» жаргоном. Что же касается «штампов», которые единственно и могли бы стать аргументом в споре, то их в этом маленьком стихотворении попросту нет. Трудно, конечно, ручаться, что из многих тысяч людей, писавших и пишущих, печатавших и печатающих сегодня стихи, кто-то когда-нибудь не употребил метафоры плотов, «связанных из строк». Для ответа на этот простой вопрос нужна, наверное, не человеческая, а компьютерная память. Но можно сказать с уверенностью, что литературным штампом этот образ не является: ведь штамп, что называется, у всех на службу (скажем, «босоное детство»).

Что же остается? Да ничего, кроме раздражения, в данном случае немотивированного.

Впрочем, порой «мотив» просматривается довольно отчетливо: «В вашем журнале № 1 за 1987 год опубликован стих К. Ваншенкина «Пиджак». Убежден, что содержание стиха не соответствует воспитанию молодежи в отношении уважения к старшему, тем более орденосному поколению. Кроме орденов, есть и другие знаки (не значки, как в стихах) трудовой, боевой, спортивной, воинской и другой доблести и славы, которые могут носиться вместе с орденом («Ударник коммунистического труда», знаки за окончание учебного заведения, за классность, «Ветеран ВС», «Ветеран труда» и т. д. и т. п.). Не встретил ни одного орденосца, который вместе с орденом (пусть даже с одним) носил бы на пиджаке значки, а не заслуженные знаки. Охаивать, и довольно ядовито, в стихах старших и седых, тем более орденосцев, в журнале для молодежи, на наш взгляд, недопустимо. Подобного содержания стихи не должны иметь места в партийной печати вообще, а для юношества в частности. За резкостью суждения прошу извинить. С уважением А. Новоселов, член КПСС с 1942 г. Пенсионер».

Письмо выдержано в таком тоне, который как бы предписывает оправдываться в ответ, приносить извинения за «ядовитое охаивание» в стихах старших и седых. Между тем извиняться не за что, потому что уважаемый читатель и ветеран А. Новоселов из г. Ленинграда просто-напросто немотивированно и болезненно отреагировал на горький юмор стихотворения другого уважаемого ветерана, участника Великой Отечественной войны и, кстати, орденосца. Чувство сожаления, легкой досады, как известно, далеко от «охаивания». Поэтому и негодование А. Новоселова, как нам кажется, вызвано неправомерной оценкой выраженного в стихотворении чувства. Судите сами:

Удовольствие в значках,
А всего по той причине,
Что пиджак его в значках.
В разноцветной их пучине.

А ведь дожил до седин,
И такой концерт затеял!..
Орден истинный один
В пестроте сплошной затерян.

Нужно ли добавлять к этому еще и то обстоятельство, что поэт Константин Ваншенкин, посвятив так много проникновенных лирических стихов своему поколению ветеранов, что заподозрить его в неуважении к ним попросту невозможно. Да ведь и не только о конкретном случае идет речь — о черте человеческого характера. И не такой уж безобидной, если вдуматься. Ну, а коли оставить в покое стихи, то надо признать, что есть среди людей старшего поколения любители украшать пиджаки вот именно значками (о знаках в стихотворении речи нет!), которые, имитируя настоящие награды, создают некую пышность, как бы увеличивают количество заслуг. Это наивное тщеславие у одних зрителей вызывает улыбку, а у других

чувство досады. Обижайся не обижайся, но реакция такова...

Впрочем, на это стихотворение пришли и другие отклики: «Дорогой и многоуважаемый Константин Яковлевич! Тороплюсь написать, чтобы отдельные «значкисты» не успели испортить Вам настроение... Могут посчитать, что Вы вмешиваетесь в их личные дела — кому и что надевать на себя. А ведь они компрометируют всех нас, фронтовиков. Эти самые значки, теснящиеся на пиджаках, заставляют окружающих полагать, что носители по своему уровню недалеко ушли от пацанов — собирателей значков. Бог не дал мне поэтического таланта, а то бы я сам написал такие стихи еще давно. С уважением, ваш единомышленник С. Парсамов. г. Саратов».

Читательские обиды на поэтов проистекают порой из-за недоразумения. Приходится признать, что кое-кто читает стихи, как некое заявление, документ или даже как критическое выступление. Есть люди, которые поэтическую речь — и особенно такие ее приемы, как ирония, гротеск, парадокс, — воспринимают буквально. В завершение этих заметок почти полностью приведу письмо, последовавшее за одной публикацией.

«В одном из номеров журнала «Юность», в разделе «Поэзия», напечатаны стихи Владимира Салимона. Стихотворение «Набойщики матрасов» потрясло наш коллектив швейной фабрики Мособлисполкома и, вероятно, всех жителей Егорьевска. Мы не поняли смысла стихотворения. Город Егорьевск — промышленный город с многоэтажными домами, подавляющее большинство жителей проживает в благоустроенных квартирах со всеми коммунальными удобствами. Как могут набойщики матрасов засыпать в страшных муках и почему — вообще непонятно. Да, у нас, как и везде, еще не все работы механизированы, велика доля и ручного труда, однако недостатки вскрыты XXVII съездом КПСС, и эта работа ведется как по механизации, так и по замене ручного труда. Почему сняты ватные матрасы? Жизнь каждого трудового коллектива заключена не только в работе, но и в общественных делах каждого, проведении досуга. У нас 8-часовой рабочий день, остальное — время отдыха, и во сне можно видеть не только матрасы. И совершенно непонятно, почему «всякая дрянь» идет в матрасы. Это в наше-то время, когда такое строгое отношение к качеству!

Мы хотели бы встретиться с поэтом. Возможно, мы не поняли его. Скорее всего он писал не о нашей работе, но нам, патриотам города Егорьевска, очень обидно и, главное, непонятно. Если поэт хотел выразить ужасный труд, то это не у нас. Где же у нас охрана труда и техника безопасности...»

Письмо подписано от имени коллектива директором фабрики Л. Перековой и председателем профкома Н. Комоловой.

Оно очень напоминает официальный ответ на критическую заметку. Но ведь В. Салимон преследовал совсем иную цель. Он совершенно не имел в виду конкретную критику недостатков на Егорьевской швейной фабрике. Однако стихи его были поняты именно так и никак иначе. Между автором и читателем возник некий «разрыв», взаимное непонимание. Как его преодолеть? Поэту отказаться от приема гротеска или читателю научиться его восприятию? А может быть, Владимиру Салимону действительно стоит принять приглашение коллектива фабрики, поехать в Егорьевск и «разъяснить вышеуказанные стихи»? Трудно сказать. Но что-то надо делать. Чтобы сбылась мечта В. В. Маяковского и «понимание стихов» стало бы у нас действительно «выше доменной нормы».

Николай НОВИКОВ



Геннадий ШВЕЦ

КАК Я СТАЛ «ЖЕЛЕЗНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ»

С детства я привык определять суть незнакомых слов на слух — сейчас это для меня, конечно, не более чем игра. Но если следовать этой игре, то в слове «триатлон» угадывается нечто хищное, готовое тебя поглотить. Какое-то приближение к истине здесь есть: триатлон может высосать из тебя все соки, вытянуть все жилы. Ибо триатлон — это соревнования, включающие плавание на 4 километра (если точнее — на 3,8 км), велогонку на 180 км и классический беговой марафон 42 км 195 м. И секундомер включается в ту секунду, когда ты прыгаешь в воду, а останавливается на финише марафона.

Кому взбрело такое в голову? Ведь еще недавно и марафон, всего лишь марафон, считался смертельно опасным спортивным номером. У триатлона есть своя легенда: на каком-то экзотическом берегу заспорили три чемпиона — пловец, велосипедист и бегун-стайер: кто из них самый выносливый, самый волевой и т. д.? И придумали триатлон — троеборье для «железных людей». А в 1978 году на Гавайских островах состоялся уже крупный турнир, а вскоре и чемпионат мира, который теперь проводится ежегодно. Вот данные чемпионата 1985 года: 1200 участников из 31 страны, победил американец, 29-летний Скот Тинли, время — 8 часов 54 минуты 20 секунд. А чемпионаты Европы по триатлону разыгрываются четыре раза в год — факт уникальный, подтверждающий неутомимость «железных людей». Триатлон переживает бум, хотя и не столь безудержный, как еще совсем недавно аэробика. Во Франции уже больше восьми тысяч «железных людей», чемпионаты Японии собирают по две тысячи троеборцев, среди которых есть даже члены парламента. Образовалась уже Международная спортивная федерация триатлона. Есть у триатлона и модели в одну вторую, в треть, в одну десятую его «натуральной величины»: в Чехословакии, например, популярна такая его разновидность — 1500 метров плавания + велогонка 40 км + бег на 10 км. А 34-летний болгарин Васко Стоянов устроил себе такое испытание: заплыв на 15 километров, велогонка 250 км и бег на 60 км! Результат — 19 часов 16 минут 30 секунд...

Подобную информацию собираю лет пять, складываю вырезки в «накопитель». И что-то меня все эти годы мучило, раздражало, я как бы ощущал усталость. Ну знаете, это похоже на то, когда задерживаешь случайный взгляд на стенах собственной квартиры и со вздохом думаешь, что рано или поздно предстоит делать ремонт. Да, предстоит...

Пробежал я несколько раз марафон, а однажды даже преодолел (протащился) 100 километров, о чем уже писал в «Юности» (№ 7, 1983 г.). А триатлон продолжал изучать теоретически, пока прошедшим летом на соревнованиях памяти братьев Знаменских в Москве не встретил судью всесоюзной категории из Одессы Федора Федоровича Алиева. Он сказал: «У нас седьмого августа триатлон, впервые... Приедете?» В августе я как раз собирался в отпуск и понял, что триатлона не избежать.

Что такое отпуск в Одессе, если у тебя в этом городе много друзей? Неспешные прогулки по дачным переулкам, не обремененные глубокими мыслями пляжные беседы, вечерние встречи, состоящие из милых неофициальных торжеств по случаю дня рождения или просто хорошего настроения. И признаться, мне нравится такое времяпрепровождение. Нравится заповедный, непостижимым образом сокрытый от постороннего взгляда пляж «на плитах»...

И вот по собственной воле я лишил себя этих несказанных благ, ибо готовлюсь к схватке с ископаемым чудовищем — триатлоном. Надо плавать и плавать, бегать и бегать, крутить и крутить педали... Один день отпуска пролетел, другой, третий. Не встречаюсь с друзьями, — чтобы не нарушать спортивный режим. Но тянет, тянет «на плиты», вот уже, говорят,

Фото Л. Ржепишевского

и Жванецкий приехал и тоже там. Что ж, лето пропустить? Ведь отпуск у меня всего один...

Подвергаю себя самоизгнанию — уезжаю на Каролино-Бугаз. Это дачное место в шестидесяти километрах за городом. Там летняя толчея замешена не так густо, там есть домик на краю спортивного лагеря, море в трех шагах и — никаких иных соблазнов.

Прекрасен рассветный бег по полосе прибоя. Впереди в утренней дымке розовеет за изгибами берега белый столбик Санжейского маяка. До него километров десять, но дымка делает его почти миражным. И весь мой бег приобретает оттенок нереальности. И впрямь: бегу час, полтора, два, а усталости не чувствую.

Но, удлинив дистанцию и добежав до того места, где впадает в море речка Барабой, почувствовал... ужасающие запахи. Батыево нашествие «диких» автолюбителей делало свое дело. Тысячи машин, тысячи самодельных туалетов (ямка и стыдливая ширмочка из обрывка какой-нибудь ткани), миллионы консервных банок, бутылок, синтетических пакетов, фольгированных оберток — этот девятый вал надвигается на беззащитное наше море. Как видите, даже невинный бег ныне зависит от экологии. И я радовался, когда по утрам ветер был с моря — запахи разложения уносились прочь и, если не всматриваться в откосы, сплошь заваленные отходами, то бег продолжал доставлять удовольствие. Бег ради очищения... В чисто физиологическом смысле тоже. Один поборник оздоровительного бега сказал мне, что теперь бег еще более необходим человеку, потому что помогает быстрее вывести из организма всякую дрянь. Например, вы надеетесь получить какие-то витамины из фруктов и овощей, а получаете в основном гербициды и пестициды. Чтобы окончательно не отравиться, нужно бегать и потеть, побыстрее вытряхивая из себя побочные дары агропрома. Так что хочешь не хочешь, а бегать в наше время надо обязательно.

За неделю я приблизил беговые нагрузки к марафонской норме. И постепенно до меня доходила истина: триатлон — это не соревнование, а образ жизни. Пробежки отнимали два-три часа, а требовалось еще ездить на велосипеде и плавать. Каролино-Бугаз — отличное место для дальних заплывов, поскольку морской залив здесь мелок: в полукилометре от берега вода может быть по колено, хотя есть и глубины. Отплывешь подальше, а потом по рисунку волн, по белым их гребешкам определяешь, где отмель, и берешь курс туда, минут десять постоишь на песке и опять в плавание. Скажу честно, плавать не очень люблю. Но вода была теплая, градусов двадцать пять, и постепенно стал ощущать в воде радость. К тому же плавал я в сопровождении четырнадцатилетнего сына. Он занимается водным поло в спортшколе олимпийского резерва. Когда-то я учил его плавать. Теперь он учил плавать меня. Легко уходил вперед, метров на сто, и поджидал меня, блаженно раскинувшись на волне, — мне уже никогда не научиться такому. Я плыл медленно, но с чувством собственного достоинства, того требовала семейная педагогика. То, что я готовлюсь к триатлону, на сына мало действовало: еще неизвестно было, отважусь ли и одолею ли всю трассу. И я решил совершить поступок. У нас с сыном есть на море одно свое место, где можно попрыгать в воду с каменных массивов. Сын прыгал примерно с пятиметровой высоты вниз головой. Я поднялся на следующую ступень — примерно метров на десять — и, не дожидаясь подбадривающей реплики сына, ринулся вниз головой, что и обеспечило мне дополнительные баллы к отцовскому авторитету. Не бог весть какая доблесть, но все-таки действует лучше вредных родительских назиданий. Когда я пишу эти строки, то чувствую секунды полторы полета с нагретого солнцем камня — чуть замирает сердце... Знаю, что тот летний прыжок в воду с высоты восьми метров (буду все-таки точен, ибо потом я произвел измерение) пополнил меня какими-то джоулями.

Триатлон приближался. Вернее, я к нему приближался. Плавал уже по сорок минут, по часу. Но вдруг в какой-то день море стало похоже на борщ. Некая красноватая жижица, в которой что только не плава-

ет. Капуста, во всяком, случае, различалась ясно. Правда, кто-то объяснил, что эта «капуста» неорганического происхождения, обрезки каких-то тканей, что ли. Легче от этой информации не стало. Через несколько дней узнал, что близ Одессы произошла экологическая авария: в море выплеснулось «море» неочищенных канализационных вод, а буквально через три дня после этого очень похожая авария стряслась под Тирасполем на Днестре, а эта река, как известно, впадает в Черное море...

Я переключился на велосипед. Не могу не вспомнить, как несколько лет назад я купил за сто рублей изделие, которое имело два колеса, руль, раму, звонок и т. д. Но ехать это изделие отказывалось, несмотря на то, что я прилагал значительные усилия. Одна из причин была очевидна: колеса никак не выстраивались в одну линию... Одесский приятель предложил мне для тренировок свой велосипед — обыкновенный дорожный, тяжеловатый «Салют». Я поспешил его оседлать, и вернулись ощущения детства. Зачем же я столько лет не садился на велосипед? Надо было довести то треклятое изделие до ума... За неделю до старта решил сделать контрольный заезд, проверить свои скорости на отрезке десять километров. Прикидывал: уложусь в двадцать минут — для первого раза это будет хорошо. Но за двадцать минут проехал лишь 6 километров...

Завтра старт. Друзья говорят: «Подумай. Хорошо-о подумай!» Я думаю. Ну что ж, если и не буду участвовать в соревнованиях, то польза все равно есть — в отпуске вел очень здоровый образ жизни, тренировался, как в юные спортивные годы...

Раннее августовское утро. Я стою на берегу гребного канала в строю из тридцати человек и созерцаю плакат: «Приветствуем железных людей!» От воды поднимается парок — интересно, о чем это свидетельствует? Теплая вода или холодная? Впрочем, в протоколе есть точные данные: 22 градуса. Вчера вечером было 19, и Евгений Ступников, один из организаторов триатлона, имеет таблицу: при температуре 15 градусов человек может находиться в воде четыре часа, при 17 градусах — пять часов. И если сроки будут превышены, наступает переохлаждение организма и — «тапочки»... Так сказал Женя, имея в виду отнюдь не спортивные тапочки. На всякий случай вспоминаю, что тридцатилетняя американка Линн Кокс переплыла недавно Берингов пролив, два часа находилась в ледяной воде — 7 градусов, — и хоть бы что, жила, здорова. Правда, при росте 172 см она весит 100 кг, а у меня на 182 см — 75 кг. И думаю, что вскоре станет значительно меньше...

— Поздравляю вас с первым стартом в классическом триатлоне. — Главный судья Федор Федорович Алиев, офицер запаса, говорит бодро, маскируя некоторое смятение армейской выучкой. — Больных нет? — Больных нет, есть сумасшедшие.

Нехитрая шутка имеет предосторию. Ответственный спортивный врач наотрез отказался одобрить соревнования по триатлону и провести медосмотр участников, назвав Алиева и всех его сподвижников сумасшедшими. То же самое слышал Алиев, когда год назад задумал провести в Одессе непрерывный 24-часовой забег. Итак, Алиев и все мы — сумасшедшие, а спортивный главврач нормален. И значит, куда нормальнее было бы вместо триатлона устроить в день физкультурника очередное шествие по стадиону под разноцветными стягами и с рапортом о новом пополнении неисчислимой армии значкистов ГТО. Медосмотр многие мои новые сотоварищи прошли хитростью, объясняя врачам, что триатлон — это то же самое, что биатлон, только проводится не зимой, а летом. И те в конце концов ставили печать на заявку. Вот еще что интересно. Все эти массовые спортивные-физкультурные соревнования, в том числе триатлон, проводятся в Одессе не спортивно-физкультурной организацией, а городским турклубом при поддержке газеты «Вечерняя Одесса». Ни одного спортсменки ни здесь, ни прежде на 100-километровых пробегах я не видел. Наверное, опасаются. Несколько лет назад московский клуб любителей бега «Меридиан» взялся за организацию суточного пробега, и меня попросили по-

лучить разрешение у одного ответственного товарища. Он долго расспрашивал, что да как, возможно ли это вообще — бежать сутки без отдыха. Я обстоятельно рассказывал ответственному товарищу, ведающему физкультурой и спортом, как и где проводятся подобные пробеги. Он слушал внимательно, а потом «не рекомендовал». Хорошо, что организаторы триатлона не стали ждать номенклатурных «рекомендаций».

Старт!.. Моментально осознаю, как холодно ранним утром вода. Да, мало я все-таки плавал. В море вода была слишком грязная, поэтому соревнования и перенесли сюда, на гребную базу, на Сухой лиман. Но и в лимане вода не отличается особой чистотой. Она густа на вид и, как мне кажется, тормозит мой незатейливый брасс. Стараюсь хоть чуть нарастить темп, перехожу на кроль и вскоре стремительно сближаюсь с кем-то. Но в следующее мгновение понимаю, что участник, которого я «догнал», плывет мне навстречу. Он уже прошел поворотный знак, и ему совсем немного осталось до финиша. А когда я повстречался с Вадимом Копой, кандидатом в мастера спорта по плаванию, инструктором райкома партии, он, чуть сбавив скорость, дал мне совет: «Голову держи ниже, ногами не зарывайся...» Но я не в силах внять этому совету и продолжаю плыть «по-пластунски». Надо мной стремительно проносится стрекоза...

«Два часа, три минуты, восемнадцать секунд», — чувственно объявляет судья, а я, еще пошатываясь, бреду по колено в воде, ищу взглядом велосипед. На велосипед хочу сесть побыстрее, чтобы согреться, зуб на зуб не попадает.

Теперь предстоит проехать девять 20-километровых кругов. Не хочется думать, что еще расстояние — почти два круга по Московской кольцевой... Велосипед отличный, не гоночный, но легкий и отлаженный. Его соорудил для меня Жени Ступников. Раму взял от одной модели, седло — от другой. Жени знает в этом толк, лет пятнадцать занимается велотуризмом. Есть хорошая идея: составить команды велозаводов, чтобы в каждую непременно вошел директор и начальник ОТК, и выпустить эти команды на 180-километровую трассу. И поставить всем условие: велосипеды брать не с выставочных стендов, а со своих конвейеров...

Пытаюсь разогнаться на двухкилометровом спуске, чтобы сэкономить силы, но неровности дороги, многочисленные выбоины гасят скорость, приходится даже притормаживать. Чуть дальше — хороший участок шоссе, километров 7—8, но дует сильный встречный ветер. А там, где ветер должен был дуть в спину, помогать, подталкивать, там трасса прикрыта от ветра бугром и лесополосой, так что никакого облегчения. Вот если бы мы ехали по тому же кругу, но в противоположном направлении... Чертов триатлон, никаких послаблений не делает.

Первый круг позади, 20 километров ровно за час. Значит, на всю дистанцию, если не отдыхать, потрачу девять часов. Но как не задержаться на берегу, где расположился бивуак — судьи, полевая кухня, болельщики? После второго круга, уступив соблазну, узнал новости. У Вадима Копы сломался руль, и он уже не лидер. Молодой офицер Костя Коваленко на-

чал беговой марафон задолго до срока — развалилась втулка и пришлось десять километров катить велосипед. А «на коне» сейчас единственная среди нас девушка — Наташа Карельская, инструктор Дома пионеров, мастер спорта по велотуризму.

На четвертом круге велогонки и меня подвел велосипед: спустила задняя шина, а я отъехал от базы всего лишь километра три. Возвращаться? Плохая примета. Время от времени подкачивая колесо, короткими бросками продвигаюсь вперед — чувствую каждый камешек на дороге. Один час сорок семь минут потратил на четвертый круг. Отдаю велосипед в руки Жени Ступникова и Лени Ржепишевского, а сам падаю на траву. Ем яблоки, в них — железо.

— Пожалуйста! Как огурчик! — слышу над собой голос Жени Ступникова. Эх, Женья, не мог ты подольше менять колесо...

Последний круг. Еду, опершись локтями на руль, полужелеза. Это опасно — руль вырывается на кочках, но еду уже как могу.

180-километровую гонку я заканчиваю в тот самый момент, когда Евгений Слюсарев, 35-летний грузчик из Херсона, мастер спорта по марафону, завершает весь триатлон, время его 12 часов 34 минуты 55 секунд.

А мне лишь остается пробежать 42 километра 195 метров. Начинаю бег уже вечером, в половине девятого. Пока никто не сошел с дистанции. Стартовый взнос с каждого участника — 18 рублей. Видимо, все хотят получить за свои деньги удовольствие сполна. Шутки шутками, но что движет этими людьми? Вадим Копя сказал мне: «Триатлон — это самовоспитание, а оно необходимо, особенно в наше время». А может ли триатлон быть массовым? Десать лет назад в одесской стокилометровке участвовали человек тридцать, теперь — около двух тысяч!..

И в каком состоянии я бежал марафон? Как говорят большие спортсмены, знающие ад нагрузок: «Состояние — почти умер». То и дело вспоминаю «тапочки»... Несколько раз мой путь пересекал, обгонял меня мощный «КамАЗ», с двумя прицепами, вздымая пыль до небес. В кабине четыре хлопца, я даже запомнил их лица. Они отдыхали по-своему. Подбадривали меня: «Подожва спустила, надо подкачать!» И опять уносились вперед — четыре балбеса...

Глубокая ночь. Падаю на траву. Главный судья протягивает мне диплом. Читаю: «17 часов, 29 минут, 20 секунд, 14-е место».

Теперь отдыхать, оставшиеся дни отпуска буду валяться на пляже, на «плитах». Утром вношу коррективы: буду понемногу ездить на велосипеде, поменьше плавать и продолжать бегать «по-пластунски».

Прихожу на «плиты», встречаю знакомых. Некоторые знают, что я поучаствовал в триатлоне — прочитали в «Вечерней Одессе». Они веселы и хотят, чтобы триатлон в моем рассказе выглядел смешно, тем более, что вчера здесь был Жванецкий... Стараюсь соответствовать ситуации, а когда внимание к моей персоне спадает, иду на мол, прыгаю в воду и уплываю далеко от берега.

От редакции

В одиннадцатом номере нашего журнала была опубликована беседа с генеральным директором завода микроавтобусов «РАФ» В. Боссертом «Хочу быть директором» (литзапись внештатного корреспондента А. Борисовой).

При подготовке материала в печать А. Борисова вписала в него оценки деятельности ВЛКСМ, не принадлежащие автору. В. Боссерт своевременно внес в материал поправки, однако по небрежности и безответственности литсотрудника отдела публицистики С. Адамова права автора не была полностью учтена, в публикации остался абзац, вычеркнутый им (об этом

писал В. Боссерт в своем письме в «Комсомольскую правду» от 29 ноября 1987 года и в телеграмме, присланной в нашу редакцию).

Этот факт был обсужден на открытом партийном собрании редакции и на заседании редколлегии. Решено в дальнейшем отказываться от сотрудничества с внештатным корреспондентом А. Борисовой. Было также признано, что литсотрудник С. Адамов заслуживает увольнения, но, учитывая, что он молодой журналист и недавно работает в редакции, ему объявлен строгий выговор. Заведующий отделом М. Хромаков серьезно предупрежден.

Руководство и редколлегия журнала, принимая на себя ответственность за случившееся, приносят свои извинения В. Боссерту и читателям журнала.

Сергей
АБРАМОВ

НЕ- ФОР- МАШ- КИ



Фантасмагория

Умнов легко повернул руль, плавно вписался в поворот — и сразу ветер ворвался в салон, чуть смазал по физиономии, но тут же высвистел обратно — на волю: где ему, слабому до умеренного, с быстрым Умновым тягаться!

Хорошо иду, разнеженно подумал Умнов. Мир прекрасен, времени у меня навалом, целый отпуск, скорость — за сотню, движок фурчит как надо, есть в жизни счастье.

Подумал он так опрометчиво и немедленно был наказан.

Из придорожных кустов споро выпрыгнул на шоссе бравый партизан-гаишник, таившийся до поры в глухом секрете, взмахнул полосатой палкой, прерывая безмятежное счастье Умнова, которое, кстати, он сам и сглазил. Умнов злобно вмазал по тормозам, вырулил на обочину, слегка про себя матерясь, достал из кармана техпаспорт, права, журналистское могучее удостоверение — это на крайний случай, и вышел из машины.

Партизан тут как тут.

— Инспектор ГАИ Др-др-др, — невнятно представился он. — Позвольте документики. — Но козырнул, но обаятельно улыбнулся, но сверкнул золотым красивым резцом, серебряным капитанским погоном, латунными начищенными пуговицами.

Одно слово — металлист.

— А собственно, в чем дело? — не без высокомерия, но и без хамства спросил Умнов.

— А, собственно, ни в чем. Простая проверка с целью выяснения точного статистического баланса, — опять козырнул, явно довольный научной фразой.

— Выясните, — успокоился Умнов, поняв, что его суперскоростные маневры остались незамеченными.

Протянул права и техталон партизану, а удостоверение заначил. И впрямь: незачем им зря размахивать, не для того выдано.

Партизан-капитан по имени Др-др-др документы внимательнейшим образом изучил, вернул владельцу, спросил ласково:

— Далеко ли путь держите, Андрей Николаевич?

— На юг, — туманно объяснил Умнов. — На знойный юг, товарищ капитан. Туда, где улетаёт и тает печаль, туда, где расцветает миндаля.

— Неблизко, — вроде бы расстроился капитан. — Ночевать где будете?

— Где бог пошлет.

— Дело-то к вечеру, — мелко и будто бы даже подобострастно засмеялся капитан, — пора бы и о боге вспомнить.

Рисунок
С. Тюнина

Журнальный вариант

— Вспомню, вспомню. Вот проеду еще часок и вспомню.

Честно говоря, Умнов недоумевал: с чего это представитель серьезной власти таким мелким бесом рассыпается? Какого ляда он советы бесплатные раздает и в ненужные подробности вникает? Не нравилось это Умнову. Потому спросил сухо и официально:

— Могу ехать?

— В любую минуту, — уверил разлюбезный капитан. — Только один вопросик, самый последний: вы кем у нас по профессии будете?

— Журналистом я у вас буду, — сказал Умнов. — А также был и есть. Теперь все?

— Все. Счастливо вам. — И помахал Умнову своим черно-белым скипетром.

Но вот странность: садясь в машину, Умнов увидел в панорамном зеркале заднего обзора, как лыстый капитан доставал карманную тайную рацию и что-то в нее быстро наговаривал, что-то интимно нашептывал, то и дело поглядывая из-под козырька фуражки на умновский «жигуль».

По трассе передает, сучара, озлился Умнов. Чтоб, значит, пасли меня, конспираторы рублевые. А вот фиг вам!

И резко газанул с места, не пожалел сцепления — только гравием из-под колес выстрелил.

А за поворотом, за длинным и скучным тягуном, за невысоким дорожным перевалом вдруг открылся Умнову славный городок, прилепившийся к трассе, нежный такой городок — с церковными игрушечными куполами, со спичечными коробками новостроек, с мокрой зеленью садов и парков, с какой-то положенной ему промышленностью в виде черных труб и серых дымов, открылся он опешившему Умнову в недалеком далеке, километрах эдак в пяти, ясный, как на ладошке, закатным солнцем подсвеченный, будто нарисованный на теплом лаке палехскими веселыми мастерами.

Что за наваждение, банально подумал Умнов, приотмаживая на подозрительно пустом шоссе и доставая из дверного кармана надежный «Атлас автомобильных дорог СССР». Отыскал нужную страницу, нашел на плане проезжее место. В пору и лоб перекрестить, нечистого отогнать: не было на плане никакого подходящего городка. Было большое село Колесное — его Умнов полчаса назад миновал. Было село поменьше с обидным названием Папертники — до него еще километров двенадцать пилить. А между ними пустота, простор, русское поле, а если и есть что-то жилое, так столь малое, ничтожное, что «Атлас» им пренебрег... Новый город, не успели внести его в картографические анналы? Да нет, вздор, города не грибы, растут куда медленнее, да и «Атлас» — свежий, только-только изданный, Умнов его как раз перед отпуском приобрел.

Так что же это такое, позвольте спросить?

Мистика, легко решил Умнов, поскольку городок — вот он, милейший, а «все врут календари» — о том еще классик писал.

Пять километров — пустое дело для «жигуля», Умнов их за три минуты одолел.

Городок назывался Краснокитежск, о чем Умнов прочитал на красивой бетонной стеле, установленной на городской границе заботливыми отцами славного Краснокитежска. А возле нее прямо на шоссе, а также на обочинах, на прибитой пылью траве, на том самом русском поле, означенном в «Атласе» и усеянном не то клевером, не то гречихой, не то просто полезной муравой, шумела, колыхалась, волновалась пестрая толпа. Строем стояли чистенькие пионеры в белых рубашках и глаженных галстуках, вооруженные толстыми букетами ромашек и лютиков. Замер в строгом каре духовой оркестр — все в черных смокингах, груди зажаты крахмальными пластронами, на воротнички присели легкие бабочки, солнце гуляло в зеркальных боках геликонов, валторн, тромбо-

нов и флюгель-горнов, медное солнце в медных боках. Радостные жители Краснокитежска, празднично одетые, ситцевые, льняные, джинсовые, нейлоново-радужные, хлопотно-пастельные, приветственно махали — вот бред-то, господа спаси! — Умнову и кричали что-то лирично-эпическое, неразличимое, впрочем, за шумом мотора. А впереди всех отдельной могучей кучкой попирали землю начальственного вида люди — в строгих костюмах серых тонов, при галстуках, а кое-кто и в шляпах, несмотря на июльскую дневную жару.

Волей-неволей Умнов — в который уж раз за последние минуты! — затормозил, заглушил двигатель, неуверенно вылез из машины. И в ту же секунду оркестр грянул могучий туш, скоро и плавно перетекший в грустный вальс «Амурские волны», толпа горожан нестройно грянула «Ура!», а начальные люди исторгли из своих рядов тоненькую диву в сарафане и кокошнике, этакое эстрадно-самодеятельное порождение все того же русского поля, прелестную, впрочем, диву с расшитым петухами полотенцем в протянутых ручонках, на коем возлежал пухлый каравай и солонка сверху. Дива улыбалась, плыла к Умнову, тыкала в него караваем. Умнов машинально вытер мигом вспотевшие ладони о джинсы, столь же машинально шагнул вперед, потеряв всякую способность что-либо понимать, что-либо здраво оценивать и делать толковые выводы из предложенных обстоятельств. Его хватило лишь на искательно-кривую улыбочку и виноватое:

— Это мне?

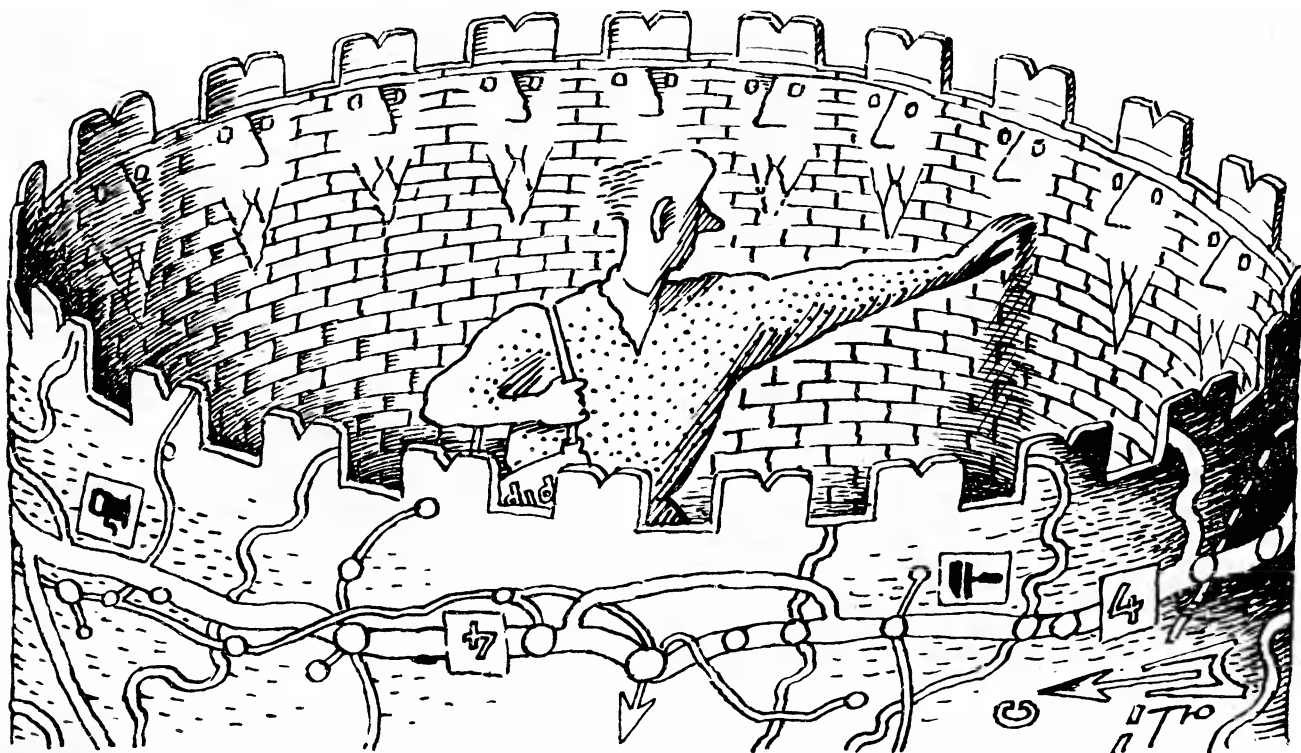
Вам, кивнула дива, вам, кому ж еще, ведь нет никого рядом, и Умнов, вспомнив многократно виденный по телевизору ритуал, отломил от каравая кусочек, макнул в соль и сунул в рот. Было невкусно — чересчур солоно и прогоркло, — но Умнов честно жевал, оркестр наяривал уже любимые страной «Подмосковные вечера», толпа ликовала и веселилась, а один из серых начальников достал из кармана сложенные вчетверо листки, развернул их, достойно откашлялся и повел речь.

— Мы рады приветствовать вас, дорогой товарищ Умнов, — складно нес он, — в нашем небольшом, но гостеприимном и славном трудовыми традициями древнем Краснокитежске. Вы въезжаете в город, труженики которого работают сегодня уже в счет последнего года пятилетки. Немного статистики к вашему сведению. В нашем городе каждую минуту выпускается семь целых и три десятых метра пожарного рукава, одна целая и семь десятых детских двойных колясок, сто пятьдесят шесть краснокитежских знаменитых чернильных приборов, семь радиоприемников второго класса, два и шесть десятых облегченного велосипеда, двести тридцать четыре подгузника и так далее, список этот можно продолжать долго. Что же касается сельского хозяйства...

Но Умнов уже не слушал. Он напрочь отключился от суровой действительности и думал не менее суровую думу. Что происходит, гражданин? Проще всего предположить, что он спит и видит странный сон из современной жизни. Но Умнов был жестоким реалистом и никогда не верил в разного рода сверхъестественные явления типа парапсихологии, телекинеза или снов наяву. Куда доступнее классическая идея: его приняли за другого. Так сказать, к нам едет ревизор. Но и тут осечка: серый начальник ясно назвал его, Умнова, фамилию, да еще с приложением «дорогой товарищ». Это-то понятно: высланный в ближний дозор партизанский капитан по радиации сообщил данные об Умнове. Но зачем? Зачем?! И вообще откуда взялся на пути этот город, который гордится двумя сотнями подгузников в минуту? Нет его на карте, нет! Призрак! Фантом! Бред!..

— ...и поэтому жители Краснокитежска будут особенно рады видеть вас, Андрей Николаевич, гостем нашего города, — донесся до Умнова зазывный финал речи серого начальника.

И все зааплодировали, пионеры сломали строй и понесли Умнову скромные дары полей, откуда ни возмись подрулил на желтом мотоцикле капитан Др-др-др, подмигнул Умнову как старому знакомому:



мол, не тушуйся, москвич, задавай вопросы, коли что неясно.

Неясным было все, и Умнов решился на вопрос.

— Позвольте,— сказал он,— я вообще-то польщен и тронут, но одновременно недоумеваю: за что мне такая честь?

— Как за что? — деланно удивился серый начальник, и остальные серые легонько усмехнулись, понимающе переглянувшись: мол, скромн, конечно, скромн гость, но и недалек, несообразителен, хотя и журналист столичный. — Как за что, дорогой товарищ Умнов? Как подсчитали специалисты из городского вычислительного центра, вы десятиллионный посетитель Краснокитежска, так сказать, юбилейный гость нашего города. А это для нас событие. Это для нас радость. И мы просим вас разделить ее вместе с нами.

Во-от оно что, понял наконец недалекий Умнов причину парадной встречи. Вот ведь завернули отцы-основатели, вот ведь показуху устроили на ровном месте, делать им больше нечего! Лучше бы выпускали свои подгузники и двойные коляски, вместо того чтобы терять время собственное и проезжих отпускников... Кстати, почему двойные? В смысле на двоих? Интересная мысль...

— Горд честью. — Умнов полностью пришел в себя, обрел потерянное чувство юмора и, как ему показалось, овладел ситуацией. — Невероятно благодарен, впервые участвую в столь необычной церемонии, но вынужден отказаться от гостеприимства: спешу, спешу. Я через ваш город проездом.

Серые начальники по-прежнему улыбались и понимающе кивали головами. У настороженного Умнова даже мелькнула мысль, что он пациент некоего сумасшедшего дома, перед ним синклит врачей, которые на дух не принимают его доводы: чего взять с психа ненормального. Но, как и врачи-психиатры с психом, серые начальники были терпеливы и вежливы с десятиллионным варягом.

— Мы все понимаем, дорогой Андрей Николаевич, но ведь дело к ночи. Вам надо передохнуть, поужинать, а где это сделать лучше всего, как не в Краснокитежске? Вас ждут номер-люкс в гостинице «Китеж», товарищеский ужин и небольшой концерт худо-

жественной самодеятельности. За него вот наша Лариса ответственна, наш комсомол, смена отцов. — И серый начальник, единственно говорящий за всех серых, отеческим жестом опустил длань на сарафанное плечо дивы с караваем.

Дива скромно потупилась, но блеснули из-под ресниц глаза, но пообещали они усталому Умнову грядущие краснокитежские тайны, пусть самодеятельные, но ведь художественные, художественные, и дрогнул стойкий Умнов, сломался и сдался. Да и то верно: ночевать все равно где-то надо.

— Ладно, — сказал Умнов, — уговорили. Весьма благодарен и счастлив от неожиданного везения. Это ж надо же — десятиллионный!.. Куда ехать-то?

— А за нами, — сообщил серый начальник. — А следом.

И тут же невесть откуда сквозь расступившуюся толпу выехали на шоссе три черные «Волги», три сверкающие лаком и никелем современные кареты, куда скоренько скрылись все серые плюс «наш комсомол» по имени Лариса.

— Пожалуйте вам, — сказал капитан ГАИ, открыв настежь дверцу «жигуля» и приглашая Умнова занять положенное ему место водителя.

Умнов сел в машину, капитан мягко хлопнул дверью и отдал честь. Черные «Волги» бесшумно тронулись одна за другой, и телефонные антенны на их зеркальных крышах торчали стройно и гордо, как мачты флагманских кораблей. Такая, значитца, парадоксальная ситуация: флагмана — три, а единица каравана — умновская — всего одна. Замыкающим та-рахтел капитанский «Урал».

Не спеша проскочили одноэтажную окраину Краснокитежска, где пышным цветом цвела индивидуальная трудовая деятельность. Прямо у дороги, перед калитками и воротами, на табуретках, на стульях, на лавках были разложены спелые плоды садов и огородов, всякие дудочки-сопелочки, кошки-копилки, крашенные в несколько цветов корзинки из тонких прутьев, а также букеты царственных гладиолусов и пряно пахнущей турецкой гвоздики.

Выехали на бойкую улицу, миновали универмаг, гастроном, кооперативное кафе «Дружба», свернули

в какой-то глухой переулочек и неожиданно очутились на большой площади, где находилось мощное административное здание с красным флагом на крыше, пара пятиэтажных близнецов неведомого назначения, облезлая пожарная каланча — памятник архитектуры, еще один памятник — храм о пяти куполах, кресты на которых отсутствовали, их оптом заменила мощная телевизионная антенна. В центре площади гранитный Ленин указывал рукой на свежий транспарант, на коем аршинными буквами значилось: «Наша цель — перестройка».

Мелькает народ, ехидно и весело подумал Умнов. Небось вчера еще висело: «Наша цель — коммунизм», а сегодня попроще, поконкретнее... Но, кстати, почему перестройка цель, а не средство?..

На этот бессмысленный вопрос Умнов не успел ответить, поскольку кортеж остановился около привычно-типового здания гостиницы, тоже пятиэтажного, серого, с опасно-тяжелым козырьком над парадным входом. За годы своих журналистских странствий Умнов жила в доброй сотне таких гостиниц, мог с закрытыми глазами начертить план любой из них и даже — по большей части — представить себе вид из окна номера: то ли на грязноватый двор, уставленный мусорными баками — отходным хозяйством гостиничной харчевни, то ли на площадь парадов и демонстраций, где гранитный вожь революции традиционно-бодро указывал очередную цель, в спорах утверждаемую областными или районными властями.

А между тем серые отцы города уже стояли на ступенях гостиницы и ждали десятиллионного Умнова. Умнов прихватил с заднего сиденья дорожную сумку с идеологически вредной надписью «Адидас» и вылез из «жигуля».

— Какие будут указания?

— Какие ж указания в период перестройки? — мелко засмеялся все тот же серый начальник — изговорливый. — Полная самостоятельность масс, инициатива снизу и лишь ненавязчивое руководство сверху? Идет?

— Умыться бы с дороги, — неуверенно произнес Умнов, сраженный столь таранным призывом к инициативе.

— Думаю, голосовать не станем, — вроде бы пошутил серый начальник. — Лариса Ивановна, проводи гостя в номер. А хозяйка гостиницы дорогу покажут... Только просьба к вам, товарищ Умнов: поспешите, будьте ласковы. Мы вас в трапезной подождем.

Комсомолка Лариса подхватила Умнова под руку, повела к дверям, которые широко распахнули перед ними радужные хозяйка гостиницы, представленные, по-видимому, директором и его замом — весьма похожими друг на дружку молодцами сорока с лишним лет: оба невысокие, оба лысоватые, оба в одинаковых, хорошо сшитых кремовых костюмах, кремовых же плетеных бартках, а на пиджачных лацканах у них красовались тяжелые бляхи с надписью латинскими буквами: «Hotel «Kite»».

В холле строем стояли остальные хозяйка: администраторы, горничные, коридорные — все в кремовом, все с бляхами. Лариса нежно прижимала локоть Умнова к плотному сарафановому боку; кремовый директор вприпрыжку чистил впереди, вел гостя к лифту и на ходу сообщал полезные сведения о гостинице: время постройки, количество номеров, холлов, залов и коридоров, переходящих выпелов и грамот за победы в городских коммунальных соревнованиях. Умнов солидно кивал, вроде бы мотал на ус, а сам походя размышлял о причинах показной симпатии к нему со стороны городского комсомола: то ли Ларисе поручили, то ли просто сработали тайные гормоны, ничьих указаний, как известно, не терпящие.

Но мировую эту проблему с ходу было не решить, а тут они уже к отведенному Умнову «люксу» подошли, директор ключиком пошуровал, дверь распахнул — любуйтесь, драгоценный Андрей Николаевич.

Полубоваться было чем.

Большую гостиную дотесна заполнил финский мебельный гарнитур — плюшевые могучие кресла, той же могучести диван у журнального столика, обеденный стол и шесть стульев, прихотливо гнутых «под чиппендейл», на полу — ковер три на четыре, а все это дорогостоящее барство освещала югославская бронзовая люстра, которую гордый директор немедленно включил. Впрочем, одна деталька все же подпортила импортное великолепие обстановки: на стене, как раз над темно-зеленым диваном, висела типографски отштампованная копия — нет, не с «Мишек», время «Мишек» давно истекло! — с работы отечественного реалиста А. Шилова «Портрет балерины Семенки в роли Жизели».

Хозяйка молча и настороженно смотрели на гостя: ждали реакции.

Ждете, подумал Умнов, ну и получите ее, мне не жалко.

— Мило, — сказал он, — очень мило. Такой, знаете ли, тонкий вкус, и вместе с тем не без скромной роскоши... Это, знаете ли, дорогого стоит...

— Точно, — подтвердил зам с бляхой, — в пять с полтиной один гарнитурчик влетел. Да еще люстра четыреста...

Лариса не сдержалась, хмыкнула в кулачок. Директор с бляхой, стараясь понезаметнее, дернул зама за полу пиджака.

— Что деньги, — спас положение Умнов, — так, бу-мажки... Сегодня есть, завтра нет... А этот номер — лицо вашего отеля, оно должно быть прекрасным, ибо... Он многозначительно умолк, поскольку не придумал, что должно последовать за витиеватым «ибо», лень было придумывать, изощряться в пустословии, хотелось принять душ, выпить чаю и завалиться в египетскую койку «Людовик», зазывно беллеющую в соседней спальне. — Однако, позвольте мне... э-э...

— Нет проблем, — быстро сказал понятливый директор, — располагайтесь поудобнее, горячая вода в номерах имеется, несмотря на летний период. И потом вниз, в вестибюль: мы вас там подождем и проводим в трапезную.

— В трапезную? — переспросил Умнов. — Ишь ты!.. А это, значит, опочивальня?.. Славно, славно... Тогда почему ваш «Китеж» — отель, а не постоянный двор, к примеру?

— У нас иностранцы бывают, — с некоторой обидой пояснил директор.

— Ах да, конечно, какой уважающий себя иностранец поедет в постоянный двор! — Умнов был само раскаяние. — Не сообразил, не додумал, виноват... Но как же тогда кресты на храме, где они, где? Они же, pardon, и гордому иностранцу понятны, даже в чем-то близки...

— Храм — это не наше, — быстро откестился директор, и зам ему в такт закивал. — Храм — это политпросвет, хотя, конечно, ирония вашу улавливает... — И, не желая, видно, касаться политпросветовской скользкой темы, ухватил за талию Ларису и зама, повел их к дверям. — Ждем вас, товарищ Умнов, ждем с нетерпением.

Оставшись один, Умнов уселся в кресло-саркофаг, уставился на балерину Семенку, скорбно изучающую бутафорского вида ромашку, и попытался серьезно оценить все, что произошло с ним за минувший час.

Во-первых, никакого Краснокитежска на карте не было и нет. Более того, собираясь в дальнюю дорогу, Умнов подробно расспрашивал о ней тех, кто проезжал здесь в прошлые годы, — обычный и естественный интерес автомобилиста: где есть заправочные колонки, станции автосервиса, в каких городах или городках легче устроиться на ночлег, где лучше кормят и где стоит задержаться на часок, осмотреть парутройку местных достопримечательностей. И никто — подчеркнем: н и к т о! — не упоминал в разговорах Краснокитежск...

Ну, допустим, разумное объяснение здесь обнаружится, быть иначе не может: город-то есть, вот он — за окном. Но перейдем к «во-вторых».

Во-вторых, что может означать воистину гоголевская ситуация, развернувшаяся на проезжей трассе и продолжающаяся в отеле «Китеж»? Что это? Художественная самостоятельность местных начальников?.. За свою жизнь Умнов повидал, познакомился, побеседовал со множеством секретарей райкомов, горкомов, председателей всякого ранга исполкомов. Были среди них люди толковые, знающие, деловые, не любящие и не умеющие тратить на чепуху свое и чужое время. Были и фанфароны, откровенные карьеристы, но и те не без хитрого ума: если и пускали пену, то с толком, с оглядкой на верха — как бы не врезали оттуда за показушную инициативу, как бы о настоящем деле ненароком не напомнили. Но были и энергичные дураки, невесть как попавшие в руководящие кресла. Вот эти-то могли запустить нечто вроде торжественного акта по празднованию десятилетия одного... Нет!.. Отлично зная когорту начальственных дураков, Умнов столь же отлично знал и их главную черту: действовать по готовым образцам. А какие тут есть образцы? Ну, миллионный житель. Ну, стотысячная молотилка. Десятимиллионный новосел. Праздник первого зерна и последнего снопа. Общерайонный смотр юных сигнальщиков и горнистов или городской фестиваль политической частушки... Но десятиллионный посетитель города — это, знаете ли, через все границы... Кстати, как они подсчитали? Партизаны из ГАИ сидели в засаде с калькуляторами в руках?.. Сколько сидели? Месяц? Год? Сто лет?.. Дорога идет на юг, к самому синему в мире, к всесоюзным здравницам, житницам и кузницам. В летний сезон по ней поток машин должен мчаться, миллион — за сутки! Десять миллионов — за десять дней! Умнов припомнил, что все приятели советовали ему выехать пораньше, засветло, чтобы не застрять в бесконечных колоннах автобусов, грузовиков, «Волг» и «Жигулей», а он проспал, тронулся в путь черт-те когда поздно, в десять или в пол-одиннадцатого, и впрямь поначалу мучился от невозможности прижать газ, вырваться за сотню в час, пустить ветерок в кабину: где там, поток попутный, поток навстречу, теснотища... А километров за семь или за десять до Краснокитежска как от мира отрезало... Нет, точно: как в поворот вошел, выскочил на горюшку — ни одной машины! Куда они подевались, а?..

Так не бывает, так просто не должно быть!..

Умнов выбрался из кресла и зашагал по комнате, лавируя между составными частями пятитысячного гарнитура. Балерина Семеняка сочувственно смотрела на него со стены.

Надо мотать отсюда, нервно думал Умнов. Прямо сейчас, через черный ход — есть же здесь какой-нибудь черный ход! — выбраться из гостиницы, тайком в «жигуль» и ходу, ходу. Черт с ней, с египетской спальней! В жигулевском салоне пожестче и потеснее, зато никакой чертовщины, все реально, все объяснимо...

Умнов остановился у окна. Оно выходило на площадь, и внизу хорошо просматривались родной автомобильчик, три черные «Волги» и бесфамильный капитан, бдительно кружащий по площади с патрульной скоростью.

Да-а, расстроился Умнов, хрен сбежишь под таким коллаком. Только пешком. Ботиночки на палочку — и к морю. И то верно: свобода. Но стоит ли она родного «жигуленка»?..

На журнальном столике нежно звякнул телефон, исполненный в стиле «ретро» умельцами из Прибалтики.

— Слушаю, — снял трубку Умнов.

— Мы вас ждем, Андрей Николаевич, — женским голосом пропела трубка. — И горячее стынет.

— Еще десять минут, — сухо сказал Умнов и не вежливо повесил трубку первым.

Да и к чему сейчас величие? Если честно, он пленник. Отель «Китеж», конечно, не Бутырка, не замок Ив, но сбежать отсюда тоже проблематично. А если не бежать? Если пойти в трапезную, съесть

стынувшее горячее, выслушать десяток безалкогольных тостов — на водку эти серые не решатся, не то время, за водку с них портки снимут — и завалиться в «Людовик» часиков на шесть-семь? А утром в путь. И не исключено — тот же капитан и проводит, жезлом на прощание помашет... Чего, в сущности, бояться? Нечего бояться. Ты сам с усам, солидный мальчик, деньги при тебе, положение обязывает — да ты и за ужин лично расплатишься: никаких подношений, никаких банкетов, мы, знаете ли, в нашей газете ведем беспощадную борьбу с товарищескими ужинами за казенный счет...

И верно, чего я теряю, подумал Умнов. Кроме птерки за ужин и десятки за номер — ничего. А раз так, то и ладушки.

Он сбросил куртку, рубашку, джинсы, раскидал все по дорогостоящему ковру три на четыре и рванул в ванную, под теплый душ, у которого, как известно, кроме гигиенических, есть и нравственное свойство: он начисто смывает пустые сомнения.

Мытый, бритый, подчепуренный, в свежей рубашонке с зеленым крокодилом на кармашке — знаком знаменитой фирмы, — Умнов спустился в холл, где был немедленно встречен кремовым директором. — Уж и заждались вас, Андрей Николаевич, — бросился тот к гостю. — Идемте скорей.

Они поднялись по мраморным ступеням, ведущим к ресторану, но в него не пошли, а открыли дверцу рядом, попали в явно служебный коридор с безмянными кабинетами по обе стороны, а в торце его оказалась еще дверь, но уже украшенная табличкой, сработанной неким чеканщиком. «Трапезная» значилось на табличке. Директор дверь распахнул, ручкой в воздухе пополоскал.

— Прошу!

Умнов вошел и очутился в большом, ресторанного типа зале, довольно удивительного, нестандартного вида. То есть многое было как раз стандартным: маленькая эстрада для оркестра, уставленная пустыми попюпитрами и украшенная солидной ударной установкой, выстроенные буквой «П» столы, в середине пятачок для плясок, стены расписаны художниками, темы былинные, вон Добрыня Никитич с Алешей Поповичем по степи скачут, а навстречу им богатырь Илья с копьём наперевес мчится — никак поссорились друзья, никак художник сражаться друг с другом заставил их? — а вон Соловей-разбойник в два пальца дует, слюни на полстены летят, Владимир Красное Солнышко и супруга его Апраксия все забрызганные стоят, аж ладонями прикрылись от отвращения. Ну и так далее... А нестандартной, напроць отменяющей нехитрый трапезный уют, была длинная, во всю стену, стойка с выставленными на ней закусками на тарелках, компотами в стаканах; вдоль стойки тянулись столовские алюминиевые рельсы, в одном конце их высилась гряда пустых подносов, в другом — окраивала выход кассирша за касновым аппаратом. Словом, столовая, да и только, чего зря описывать. Вон и малявинско-рубеновские красавицы из общепита изготавились за стойкой первое да второе сортировать по тарелкам...

За пустым пока столом по периметру буквы «П» сидели давешние серые начальники, еще кое-какой районный люд, впервые явившийся Умнову, Лариса с подружками, мощные грудастые дамы с тяжелыми сложными прическами — все в люрексе, все блестят, как югославские люстры. Увидели Умнова, замолчали. Главный серый — Умнов до сих пор не выяснил, кто же он, — встал, пошел навстречу гостю.

— Милости просим в нашу трапезную, товарищ Умнов. Чувствуйте себя как дома.

— Это в столовой-то как дома? — хамски съязвил, не сдержался Умнов и сам себя ругнул за длинный язык: ведь гость все-таки, хоть и насильно званный. — Это не столовая, — не обиделся серый, — это наш банкетный зал.

— Тыщу раз бывал на банкетах, — признался Умнов, — но в первый раз вижу такой зал. Банкет самообслуживания, что ли?

— В некотором роде, — засмеялся серый. — Наша, так сказать, доморощенная модификация старой традиции в духе перестройки. Не обессудьте, гость дорогой. Банкеты теперь отменены, и правильно, по-партийному это, так мы здесь самообслуживание ввели: каждый сам на поднос продукт ставит, каждый за себя платит — не казенные средства, не прежние времена, а кушаем все вместе, за общим банкетным столом.

— А тосты?

— Как же без тостов. Они теперь хоро-о-ошо под компот из сухофруктов идут — это зимой, а сейчас клубничка в соку, вишенка там, компотики свежие, наваристые, дух захватывает, рекомендую душевно. — Говоря это, он подвел Умнова к рельсам, любезно поставил на них пару пластмассовых пестрых подносов, а уж следом целая очередь выстроилась, за столом только дамы и остались — в ожидании банкетных харчей.

Вконец ошарашенный Умнов, да и проголодавшийся, кстати, начал споро нагружать свой поднос: три стакана с компотом поставил — вишневым, клубничным и черешневым, — салатки из помидоров и огурцов. А тут и икорка объявилась — и черная, и красная, и балычок свеженький тоже, порционный, и семужка розовая, нежная, и грибочки соленые, и миножка копченая, незнамо как в Краснокитежск заплывшая, а еще редисочка пузатая, лучок зеленый — и все это под компот, под компот, под компот!

А серый змей сзади нашептывал:

— Соляночку рекомендую, отменная соляночка...

И ставить-то некуда, поднос — до отказа, а рядом волшебю второй объявился, на него и встала глубокая гжельская тарелка с соляной, а из-за прилавка стопудовая краснокитежанка улыбнулась призывно:

— Что предпочтете, Андрей Николаевич: бифштекс по-деревенски с жареным лучком или осетринку на вертеле? А может, цыпленка-табака вам подать, моло-оденького, ма-асенького?..

— Бифштекс, — сказал Умнов, сглотив слюну. — Нет, осетринку... Нет, все-таки бифштекс.

— Так можно и то, и то, — шепнул сзади начальник, — средства небось позволяют...

— Средства позволяют, а желудок-то один... Давайте бифштекс.

И получил дымящийся сочнееший кусок мяса, присыпанный золотым лучком, а рядом картошка-фри, прямо из масла выловленная, и огурчик малосольный, и былочки кинзы, укропа, петрушки — ах, мечта!

— Сладкое потом. — Серый начальник подпихнул своим подносом умновские, и они мгновенно очутились перед кассой.

Кассирша в крахмальном кружевном чепчике, на-румяненная и веселая, пальцами по аппарату побежала, рычажок нажала, касса порычала и щелкнула.

— С вас шесть сорок восемь, прошу, пожалуйста. А с вас, Василь Денисыч, шесть пятьдесят пять, у вас компотик лишний.

Умнов достал из кармана десятку, протянул кассирше и в секунду получил сдачу, до последней копейки отсчитанную.

Серый слегка подтолкнул Умнова, чуть замершего на распутье.

— Вон туда несите, товарищ Умнов, в самый центр. Там и присядем, там и вас все увидят, и вы всех.

Умнов сгрузил на стол один поднос, сходил за вторым, расставил тарелки и стаканы на столе. Серый начальник, внезапно обретший вполне славное имя Василий Денисович, предложил:

— Давайте ваш подносик, я отнесу, а приборы-то мы забыли, вилки-ложки, нехорошо. Давайте-давайте. — И прямо выхватил у Умнова его подносы, скрылся и тут же объявился со столовыми стальными приборами, высыпал их на скатерть из горсти. — У нас тут по-простому, разбирайте, Андрей Николаевич.

И вот уже все уселось, и разложили-расставили харчишки свои прихотливые, и вилками зазвенели, и приутихли, кто-то крикнул:

— Василь Денисыч, тост, тост!

Василь Денисыч степенно встал, поднял стакан с

клубничным компотом, посмотрел на него умильно, на прозрачность его полюбовался, на цвет перламутровый и начал без всякой бумажки:

— Мы сегодня рады собраться в родной трапезной, чтобы приветствовать дорогого гостя. К нам теперь заезжают не так часто, как хотелось бы, но уж коли заезжают, то несомненно покидают гостеприимный Краснокитежск. Любезный Андрей Николаевич еще и не видал ничего в городе, кроме вот этого культурного, так сказать, очага. — Он обвел рукой помещение, сам легонько хохотнул — шутка же! — и собравшиеся его поддержали, но коротко, чтоб не прерывать надолго хороший тост. — И вы сами знаете и представьте, как много интересного он увидит, узнает и поймет. А может, и взгляды кое-какие на жизнь свою нынешнюю переменит, потому что Краснокитежск не простой город: дух его во все поры проникает, в любое сознание навечно входит, он неистребим, неуничтожим, как неистребимо и неуничтожимо все то, что нами нажито и накоплено за минувшие прекрасные годы. Одно слово: мы — это Краснокитежск. И наоборот.

Все зааплодировали бурно и радостно, а кто-то крикнул:

— И никакие перемены нам не страшны!

— Верно подметил, Макар Савельич, — согласился Василь Денисыч, — не страшны. Это наше дело, кровное. Легко на них пошли и легко перестроимся, потому что за нами опыт, за нами правда. Так выпьем же компоту за нашего гостя и пожелаем ему, чтобы дух Краснокитежска проник в его организм и стал его духом. Здоровья вам, значит, и уверенности в правоте нашего общего дела.

Умнов ничего из сказанного не понял. То ли речь серого начальника была настолько аллегорична, что понять ее могли только посвященные, каковыми, похоже, все за столом являлись. Либо речь эта традиционно ничего не значила: слова и слова, лишь бы выпить поскорей. Хотя бы и компоту.

И выпили. Компот — клубничным он был — оказался вкусным: холодненьким, духовитым, в меру сладким.

— А теперь закусить, закусить, — задумчиво, будто чистого ректификату хватанул, произнес Василь Денисыч, зацепил малосольный огурец, хрупнул и захрустел, расплылся в улыбке. — Ах, лепота... Нет, что ни говорите, а дары земли — дело великое.

И в сей же момент в зал влетел, впорхнул, вкатился на скользких подметках кремовый директор с хохломской табуреткой в руках, за ним поспежали две его сотрудницы, которые несли нечто прозрачно-пластмассовое, сильно напоминающее колесо для розыгрыша лотерей. А оно им и оказалось. Директор водрузил его посередине зала на табуретку и возвестил:

— Долгожданный сюрприз: игра в фанты.

И закрутил колесо — то завертелось, замелькали в нем туго свернутые бумажки. Кремовые помощницы директора синхронно пританцовывали в такт вращению колеса, директор хлопал в ладоши — тоже в такт, а неизвестно откуда возникший на эстраде фантом-ударник тут же выдал стремительно-виртуозный брейк на трех барабанах.

Колесо остановилось, директор сунул в него руку, достал фант, развернул и сообщил:

— Номер тридцать два!

За столом зашептались, зашушукались, загудели. Ловким движением Лариса запустила руку во внутренний карман умновской куртки — тот даже среагировать не успел! — и вытащила картонный прямоугольник, на котором крупно, типографским способом, было написано число «18».

— Не повезло, — вздохнула Лариса. — Не ваш номер. И не мой, — показала свою карточку с цифрой «5».

Умнов мамой был готов поклясться, что никакой карточки у него в кармане не было. Иллюзионистка, страшно подумал он о Ларисе, не выразиться вслух не успел. Где-то в изюмке буквы «П» вскочила дама, приятная во всех отношениях, лет эдак пятидесяти с гаком в голубом костюме-двойке, с розой в петлице, с пионом в выбеленных перекисью, высоко взбитых

волосах, с миногой на вилке в правой руке и со стаканом черешневого — в левой, взмахнула в энтузиазме вилок! — минога легко слетела с зубьев, взяла курс через стол и приземлилась точно на тарелке мордастого типа в джинсовой куртке. Тип возликовал, крикнул: «Виват!» — и схрупал залетную миногу, даже не поморщившись.

Что происходит, мелькнула банальная мысль у несчастного Умнова. Что творится здесь, какая, к дьяволу, фантазия родила эту ужасную бредятину?.. Но не было ему ни от кого внятного ответа. Напротив, цветолобивая дама еще более запутала ситуацию, воскликнув жеманно:

— Хочу фолк-рок! — И показала директору картонку с объявленным номером.

И все захолопали, застучали ножами по тарелкам, ложками по стаканам, вилками по столу, закричали:

— Верно!.. Здорово!.. Прогрессивно!.. В духе!.. Национальной!.. Политики!.. В области!.. Культуры!..

Директор свистнул в два пальца, как Соловей-разбойник со стены трапезной, не замеченные до сих пор Умновым двери позади эстрады разъехались в разные стороны, и из них вышли три добрых молодца с синтезатором, бас-гитарой и ритм-гитарой и две красивые девицы — без музыкальных принадлежностей, стало быть, певицы. А ударник, как известно, на эстраде уже наличествовал, шуровал палочками по барабанной коже, кисточками по тарелкам, металлической указкой по блестящему трензельку — создавал фон.

— Па-а-апросим! — гаркнул директор и зааплодировал.

И все зааплодировали. И Умнову ничего не оставалось делать, как сдвинуть пару раз ладоши, хотя доброго и вечного он от этих фолк-рокеров в псевдонациональных костюмах не ждал.

Ритм-гитара взяла нужный тон, властно повела за собой бас-гитару; синтезатор, нутужно воя, определил основную мелодию; ударник подстукал тут и там, подбил бабки своими колотушками, а красные девицы цапнули микрофоны и лихо вмазали по ушам:

— Не забудь... — жали они на низах, — материнское поле... поле памяти... поле любви... Нам Россия... дала свою долю... Ты своею ее назови...

И ни на миг не задержавшись, в эту суперпатриотическую текстуру серьезным припевом влез весь состав рокеров:

— Память, память, память... в-вау, бзымм, бзымм... Память, память, память... в-вау, бзымм, бзымм...

А ударник привстал и начал вышибать русский дух из иностранных барабанов, и иностранным тарелкам здорово досталось, а синтезатор всемирно известной фирмы «Ямаха» мощно точил народную слезу крупного калибра в металлическом ритме рока, и все это было так скверно, что у Умнова и впрямь побежала неожиданная слеза: то ли от перебора децибелов, то ли крепости соуса, поданного к бифштексу, то ли от обиды за хорошую рок-музыку и за честное слово «память», на котором вяло топтались трапезные музыканты.

А народу между тем происходящее сильно нравилось. Кто-то властью подпевал, кто-то в такт подхлопывал, кто-то ритм на столе ладошкой отбивал, а Василь Денисыч, сложив руки на груди, отечески кивал и улыбался.

Поймав взгляд Умнова, он наклонился к нему и прокричал на ухо:

— Рок-музыка — любовь молодежи! Нельзя у молодежи отнимать любовь, как бы кому этого ни хотелось.

— Это не рок-музыка! — прокричал в ответ Умнов. — Это какофония.

— Не судите строго, — надрылся Василь Денисыч. — Вы там в Москве привыкли ко всяким «Машинам времени» или «Арсеналам», а у нас в глубинке вкусы попроще. Зато содержание — поглубже.

— Это про память-то поглубже?

— «Память» — слово хорошее, его не грех и напомнить кое-кому, кто страдает выпадением памяти...

Разговор скатывался на грань ссоры, и Умнов не прочь был ее развить, он даже успел спросить:

— Кого вы имеете в виду?..

Но Василь Денисыч не ответил, поскольку песня закончилась, зал всколыхнулся аплодисментами, рокеры наскоро раскланялись и скромно исчезли за раздвижными дверьми.

А Василь Денисыч снова встал, торжественно поднял стакан с компотом и начал новый тост:

— Хочу выпить этот компот за нашу молодежь. Признаюсь: поругиваем мы ее, все недовольны: то нам не так, это нам не эдак. То у них, видишь ли, волосы длинные, то брюки в цветных заплатах, то песни непонятные, то музыка вредная. А молодежь не ругать — ее понять надо. А поняв — помочь ей понять нас и пойти дальше вместе. Ведь идти-то нам вперед порознь никак нельзя, а, братцы мои?.. То-то и оно... Вот и выпьем за то, чтобы она, молодежь то есть, нас, стариков, понимала, а уж мы-то ее поймем, раскусим, у нас на это силенок хватит.

Все, натурально, хлопнули по стакану, овощами или рыбкой закусили, а Умнов ехидно спросил соседа:

— Понимание — силой, так выходит?

— Передегиваете, товарищ журналист, на слове ловите. Есть у вашей братии манера такая: слова из контекста выдирает. Я ж о духовном, о вечном, а вы сразу про драку, про телесные наказания... Нехорошо, Андрей Николаевич, неэтично. Чтой-то в вас еж какой-то сидит — оцетинились, настрожены... Зачем? Мы к вам по-дружески, по-любовному, как истари принято... Ну-ка, расслабьтесь, выпейте с комсомолом на брудершafft компотику... Лариса, ату его!

Раскрасневшаяся Лариса стакан взяла — а Умнов свой после тоста за молодежь так из горсти и не выпускал, — заплела свою руку за умновскую.

— На «ты», Андрей Николаевич!

На «ты» так на «ты». Когда это Умнов отказывался с женщиной на «ты» перейти, пусть даже по приказу свыше? Да и чего сопротивляться? И приказы свыше в радость бывают, нечасто, правда, но тут как раз такой случай и выпал.

Дернули клубничного, Умнов ухватил Ларису за плечи, притянул к себе, норовя в губы, в губы, а она увернулась, подставила крутую щеку:

— Не все сразу, Андрюшенька.

И сама его в щеку чмокнула, да так звучно, что соседи обернулись, засмеялись, загалдели:

— Совет да любви!

— Радость вам на жизненном пути!

— Миру да счастья!

А кто-то невпопад:

— Миру мир!

И опять все засмеялись шутилой оговорке, даже Умнов слегка улыбнулся.

Странная штука: он всерьез чувствовал себя малость подшофе, будто и не компот пил, будто в компоте том распроклятом притаились скрытые лихие градусы, вовсю сейчас разгулявшиеся в крепком вообще-то умновском организме. Но не градусы то были никакие, а тот неподдающийся научным измерениям общий тонус застолья, когда даже бифштекс с солянкой пьянят, когда разгульное настроение перетекает из клиента в клиента, из персоны в персону, и вот уже за «сухим» столом все — навеселе, но — чуть-чуть, самую малость, в той легкой мере, которая только и требуется для общей радости.

— Василь Денисыч, — Умнов вдруг, сам себе изумляясь, обхватил соседа за богатырскую спину, хлопнул по плечу, — ты, брат, похоже, мужик неплохой.

— Это точно, — легко улыбнулся Василь Денисыч. — И я рад, что ты, Андрей Николаевич, это понимать начал. Значит, мы на верном пути. И, как в песне поется, «никто пути пройденного у нас не отберет».

— В каком смысле? — не понял Умнов.

— Во всех, — туманно пояснил Василь Денисыч. — И в личном не отберет, и в общественном, в масштабе державы — хрен кому, пусть только покусается...

Странный он человек, думал о соседе Умнов, разнеженно думал, но остроты мысли не потерял, даже наоборот: обострилась мысль, внезапную четкость обрела. Странный и страшноватый. Работает под Ива-

нушку, под мужичка-лапотничка: весь он, видите ли, посконный, весь избяной, родовая память, мать-Расеюшка, народ-батюшка. А все тексты его зашифрованы донельзя, без пол-литра компота не разберешься. На первый взгляд ахинею несет, а коли копнешь глубже, задумаешься: ой, есть там что-то недоговоренное, намеком прошедшее, а намека-то, похоже, угрожающий, опасный. Сейчас бы самое время копнуть его, начальничка пресерого, вытащить скрытое на свет божий, вывернуть его наизнанку, да не время, момент не тот — веселись, публика!

Только и спросил походя:

— Василь Денисыч, а вы кто?

— Человек, Андрей Николаевич!

— Я не о том. Должность у вас какая?

— Должность?.. Простая должность. Отец города я. Краснокитежска. И все мы здесь — Отцы его.

— Я серьезно.

— И я не шучу. Чем вам моя должность не нравится? Не мной придумана, не я первый, не я последний...

А заводила-директор уже вновь барабан крутил. Вытащил номер:

— Пятый!

— Мой! Мой! — закричала Лариса. — Песню петь станем.

— Какую песню? — склонился к ней Умнов.

— Какую хочешь, Андрюшенька.

И уже давешние рокеры опять на эстраде возникли да плюс к их электронике из тех же дверей концертный рояль выплыл, а еще и баянист вышел, и скрипач не задержался, и два русоголовых балалаечника уселись прямо на пол, скрестив по-турецки ноги в кирзовых праках.

— Ой, мороз, мороз... — чуть слышно затынула Лариса, — не морозь меня... — Голос ее крепчал, ширился, захватывал тесный зал. — Не морозь меня, моего коня...

Умнов закрыл глаза. В голове что-то закружилось, замелькало, засверкало, песня почти стихла, голос Ларисы доносился, будто сквозь толстый слой воды. Что со мной, что, лениво, нехотя думал Умнов, компоту, что ли, перепил? Ой, тяжело как... И, не открывая глаз, откинулся на стуле, попытался расслабиться: аутотренинг — великая вещь!.. Раз, два, три... двенадцать... двадцать один... Я спокоен, спокоен, я чувствую себя легко, хорошо, вольно, я лечу над землей, я ощущаю теплые потоки воздуха, они обвевают мое обнаженное тело, я слышу прекрасные звуки...

И словно сверху, с югославской четырехсотрублевой люстры, сквозь сомкнутые веки увидел родное застолье. Все внизу пели, пели разгульно и вольно, до конца, до беспамятства отдавшись любимому делу.

— Ой, мороз, мороз... — тянула Лариса.

— Нам всем даны стальные руки-крылья, — выдавал хорошо поставленным баритоном Василь Денисыч, Отец Краснокитежска, истово выдавал, — а вместо сердца — не скажу чего...

— О Сталине мудром, родном и любимом, — пели складным дуэтом два пожилых тенора в серых костюмах — тоже, видать, из Отцов, встречавших Умнова у границы Краснокитежска, — прекрасную песню слагает народ...

Три томные девицы в сарафанах и кокошниках — из Ларисиной команды — самозабвенно голосили:

— Влюбленных много — он один, влюбленных много — он один, влюбленных много — он один у переправы...

Мощная дама, требовавшая давеча фолк-рока, пела сквозь непрошено набежавшие слезы, рожденные, должно быть, сладкой ностальгией по ушедшей юности:

— Ландыши, ландыши, светлого мая привет, ландыши, ландыши — белый букет...

А сосед — ее ровесник, — обняв могучий стан женщины и склонив ей на плечо седую гривастую голову, подпевал — именно п о д п е в а л:

— Знаю: даже писем не придет — память больше не нужна... По ночному городу идет ти-ши-на...

И еще звучали в зале знакомые и незнакомые Ум-

нову песни, романсы, арии и дуэты! А скрипач на эстраде играл любимый полонез Огинского. А пианист играл любимый чардаш Монти. А баянист играл музыку к любимому романсу про калитку и накидку. А балалаечники играли любимые частушечные мотивы. А фолк-рокеры играли сложную, но тоже любимую вариацию на тему оперы «Стена» заморской группы «Пинк фloyd». И все звучало не вразнобой, не в лес по дрова, а на диво слаженно, стройно, унисонно...

И чувствовалось внизу такое жутковатое стадное единство, такая мертвая сплоченность против всех, кто не поет вместе с ними, что безголосый с детства Умнов быстро спускался с люстры, открыл глаза, поднялся со стула, стараясь не шуметь, не скрипнуть половицей, пошел на цыпочках вдоль стены, дошел — незамеченный! — до тайной дверцы с чеканкой, открыл ее, дверцу, и припустился по служебному коридору, метеором пронесся через пустой холл, из которого исчезли даже дежурные портье, вмиг взлетел на свой второй этаж, на ходу вынимая из кармана ключ от номера, от волнения едва попал им в замочную скважину, распахнул дверь, шмыгнул в прихожую, дверь хлопнула, ключ с внутренней стороны дважды повернул и только тогда расслабленно прислонился к холодной стене, голову к ней прижал, зажалурился и задышал — часто-часто, как будто провёл глубоко под водой черт знает сколько пустого и тяжелого времени.

А может, и провёл — и впрямь лишь черт сие знает.

Не зажигая света, сбросил кроссовки, в носках прошел в спальню, быстро, по-солдатски, разделся, поставил ручной будильник на шесть утра и нырнул под холодящую простыню, накрылся с головой, зарылся в глубокие пуховые подушки: ничего не видеть, не слышать, не помнить. Самое главное: не п о м н и т ь. Черт с ней, с памятью — пусть отключается назло большому Отцу города Василь Денисычу!

И то ли устал Умнов невероятно, то ли вправду опьянел от сытного ужина, то ли сказалось нервное напряжение последних сумасшедших часов, но заснул он мгновенно — как выпал из действительности. И ничего во сне не видел.

(Продолжение следует).

Андрей КУЧАЕВ

РАСТАЯВШИЕ СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО



Мы приехали в высокогорный поселок к вечеру и долго не могли найти гостиницу. Наконец нам удалось наткнуться в темноте на человека, который мог объяснить на четырех местных наречиях и которого мне удалось понять (дальнее мои предки родились в горах): гостиница находилась в противоположной стороне поселка, так сказал словоохотливый горец. Через час я дотащил профессора С. и его молодую невесту до гостиницы, где администратор, безошибочно оценив расстановку сил в нашей компании, предложил мне и Марине двойной номер, а профессору С. одинарный.

— Все дело в том, — обратился я к администратору, — что эта девушка является невестой профессора, — тут я указал на своего закутанного спутника с бородкой и малиновым носом, — а раз так, именно мне нужен одинарный номер.

— Друг мой, — обратился ко мне профессор, — не находите ли вы, что мои отношения с невестой могут не укладываться в рамки общепринятой морали?

После этих слов догадливый администратор с улыбкой сочувствия и сожаления вручил про-

фессору С. ключ от двойного номера.

— Вы нас опять не поняли, — вмешалась Марина. — Нам нужно три одноместных номера.

Администратор швырнул нам три ключа и отвернулся, давась зевотой.

— Я никогда еще не спал один в комнате, — возмущился профессор С. — Я и не решусь на такое безрассудство с моим давлением и сердцем.

Администратор зарычал.

— Дело в том, — миролюбиво вступил снова я, — что мы с профессором тридцать лет прожили в одной комнате и нам трудно изменить этой привычке.

Администратор взял все ключи в горсть и высыпал их перед нами. Только тут я разобрал, что его предки да и он сам, вероятно, также родились в горах.

— Спасибо, — сказал я на одном из здешних наречий, и мы отправились спать. Я и профессор С. в одну дверь, невеста профессора, Марина, в другую. Напротив.

Прежде чем заснуть, мы, по старинному обыкновению, долго обсуждали одну из довольно заострившихся в последнее время морально - социально - этических

проблем. Профессор С. занимался именно в этой области знания и говорить ни о чем, кроме социально-этико-нравственных проблем, никогда не мог. Надо сказать, что я действительно прожил с ним в одной комнате тридцать лет, и в течение двадцати пяти из них именно этико-нравственно-социальные мотивы были ему по сердцу. Двадцать пять лет назад профессору С. было пять лет. Кстати, добавлю, что с возрастом профессор мало изменился, я имею в виду характер и склонности, а не ученые труды, степени, звания и его облик. Я, сколько помнится, всю жизнь был старше профессора С. ровно на двадцать лет, и беседы с ним всегда небезынтересны для меня.

Начало сегодняшней ночи мы посвятили обсуждению правового статуса невесты в нашем обществе.

— Нет ничего удивительного в том, — говорил профессор, — что положение невесты в наше время двойственно, а оттого и нестабильно, не гарантирует ей того, что гарантировано жене или просто девушке. С одной стороны, она свободный и полноправный член общества, а с другой — на ней лежат некоторые моральные обязательства.

— То есть ей надо поскорей высказывать замуж? — остроумно поинтересовался я.

— Ты вульгарен, — возразил профессор. — Поспешность лишь усугубила бы ее и без того непрочное положение.

— В таком случае ей нужно либо оставаться просто девушкой, либо сразу становиться чьей-нибудь женой, минуя промежуточную стадию, — догадался я.

— Ты легкомыслен, — оборвал он меня. — Тогда у нее не окажется возможности присмотреться к избранному объекту.

— Тогда, черт побери, не знаю, как они там должны выкручиваться, — рассердился я. — Ведь дети как будто еще не перестали рождаться?

— То-то и оно, — сказал С. — У меня есть оригинальное решение этого вопроса. Он сделал эффектную паузу. — Не надо связывать факта появления ребенка на свет с фактическим пребыванием женщины в положении неженатой девушки, то есть невесты.

— В таком случае при дворах бракосочетания надо организовать детские комнаты, — высказал предположение я.

— Вот об этом я еще не думал, — сказал профессор и пожелал мне спокойной ночи.

Наутро выяснилось, что С. простудился во время вчерашних ночных скитаний, и ему придется провести день в номере с пледом на коленях. Мы с Мариной отправились кататься на лыжах. Я всегда был заядлым спортсменом, а Марина оказалась прекрасной спутницей для лыжных прогулок в горах. Я рассказал ей о нашем вчерашнем разговоре с профессором С. Она, кстати, работает с ним в одном институте и тоже занимается нравственно - социально - морально - этическими проблемами, но с эстетическим уклоном. Выслушав меня, она посерьезнела и задумалась.

— Если будет преобразован институт брака,— заключила она,— то изменится и статус невесты.

— Нельзя ли поточнее,— осторожно попросил я.

— Очень просто,— ответила она,— нужно фиксировать только расторжение брачных уз, минуя, так сказать, официальный обряд их фиксации.

— Гм,— сказал я и всю прогулку мучительно размышлял, потребуются ли в этом случае детские комнаты при дворцах бракосочетания. Лишь когда мы уселись за столиком в кафе и заказали клубничное мороженое, я понял, что отпадет необходимость в самих дворцах, и мне сразу стало легко.

— Просто требуется большее количество детских комнат милиции,— заключил я по своей идиотской привычке заключать.

Вечером профессор С. почувствовал себя лучше лишь настолько, чтобы спуститься выпить вниз гоголь-моголь с капель рома. Мы с Мариной танцевали в кафе в компании лыжников в толстых свитерах, потом

пили пунш с огнем и гуляли по синим горам среди елок.

— Вы помните «Снега Килиманджаро»? — спросила меня Марина.

— Нет,— соврал я на всякий случай.

— Жаль,— огорчилась она.

Я понял, что лишил ее возможности развить одну из этико-эстетико-нравственных проблем и порадовался, что умею врать на всякий случай.

Прежде чем пожелать мне спокойной ночи, Марина сказала:

— Послушайте, а почему бы не считать нам с вами, что я прошла стадию невесты?

Мы стояли у двери ее номера.

— Боюсь, тогда нам придется сразу искать такой загс, где разводят неженатых,— ответил я.

Мне показалось, что мой ответ огорчил ее. Я всю ночь промучился, правильно ли поступил. И все же пришел к выводу, что поступил в соответствии со своими взглядами на нравственно-социально - морально - этические проблемы, даже если учесть эстетический уклон.

Все дело в том, что тридцатилетний профессор С., бывший вундеркинд, а теперь лауреат всяких премий и жених Марины приходится мне сыном, а у меня, хотя я и не специалист, есть свои воззрения на этико-нравственные и т. д. проблемы.

Марина уехала на следующее утро, не попрощавшись. Мой сын, кажется, не заметил этого, просидев все оставшееся время в номере за статьей. Я же все это время наслаждался лыжами и утешал себя клубничным мороженым, когда меня одолевали мысли: правильно ли я поступил, лишив мир еще одного профессора С.



ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ

Пролетел, увы, еще один календарный год, и мы вновь подводим итоги постоянно действующего конкурса «Зеленого портфеля».

Как всегда в подобных случаях, редакция обязательно прислушивается к устным и присматривается к письменным отзывам читателей. И места на пьедестале почета распределяются в зависимости от количества одобрительных откликов. Чем больше откликов, тем выше место. Короче говоря, в результате изучения общественного мнения премий «Лавровая шляпа»-87 удостоены:

Михаил ЖВАНЕЦКИЙ — за произведения, опубликованные в №№ 3 и 9.

Виктор КОКЛЮШКИН — за цикл коротких рассказов (№11).

Татьяна МАРШИНИНА — за подборку иронических стихотворений (№ 11).

«Зеленый портфель» от всей души поздравляет лауреатов, желает им новых творческих успехов, а также счастья в личной и семейной жизни.

В номере:

Проза

Андрей БОГОСЛОВСКИЙ. До порогов. Рассказ (14).

Эдуард РУСАКОВ. Пуля, лети. Рассказ (18).

Анастасия ЦВЕТАЕВА. Маловероятные были (30).

Екатерина ВАРНАВА. А может, все это приснилось? Записки об Индии (37).

Дмитрий КОСАРЕВ. Продавец радости. Рассказ (72).

Сергей АБРАМОВ. Неформашки. Фантазмагория (87).

Поэзия

Испытательный стенд

Ольга ИЛЬИЦКАЯ (9), Владимир ТУЧКОВ (9), Дмитрий ПРИГОВ (9), Ирина ЗНАМЕНСКАЯ (10), Ефим БЕРШИН (11), Татьяна НЕШУМОВА (11), Мухаммад СОЛИХ (12), Игорь ИРТЕНЬЕВ (12), Александр САМАРЦЕВ (13).

Икрам АТАМУРАДОВ (53), Марк ЛИСНЯГИЙ (62), Владимир ЛЕОНОВИЧ (62), Борис ВИКТОРОВ (78).

Наследие

Олег МИХАЙЛОВ. «Плакал о России...» (21).

Иван БУНИН. Странствия (23). Железная шерсть (29).

Лидия ГИНЗБУРГ. Николай Олейников. (54).

Николай ОЛЕЙНИКОВ. Стихи и поэма (58).

Публицистика

Юрий РЫТОВ. Настало время перемен (2).

20-я комната. Заседание двенадцатое (65).

Культура и искусство

Что было у него в глазах?.. Начинаем рубрику «История и ты» (4).

Олег КОКИН. Америка Эндрю Уайета (64).

«Юность» — СПТУ

Где растить Гагарина для Марса? (79).

«Личность» № 1 (81).

Почта «Юности»

Николай НОВИКОВ. «Просим разъяснить вышеуказанные стихи» (82).

Спорт

Геннадий ШВЕЦ. Как я стал «железным человеком» (84).

Зеленый портфель

Андрей КУЧАЕВ. Растаявшие снега Килиманджаро (95).

Оформление обложки

Г. Мурышкина.

Главный художник О. Кокин.

Художник Ю. Цивильский.

Технический редактор О. Трепенюк.

Адрес редакции: 101524, ГСП, Москва, К-6, улица Горького, д. 32/1.

Телефоны:

Главная редакция — 251-31-22.

Отделы: прозы — 251-59-44,

поэзии — 251-44-35,

критики — 251-96-76,

публицистики — 251-02-30,

науки и техники — 251-27-57,

рукописей — 251-74-60,

писем — 251-14-21,

культуры — 251-48-65,

оформления — 251-73-83,

сатиры и юмора — 251-05-06.

Сдано в набор 09.11.87.

Подп. к печ. 07.12.87. А. 02680.

Формат 84х60¹/₈. Offsetная печать.

Усл. печ. л. 11,68. Уч.-изд. л. 17,75.

Усл. кр.-отт. 16,74. Тираж 3 100 000 экз.

Заказ № 1599.

Ордена Ленина и ордена

Октябрьской Революции

типография имени В. И. Ленина

издательства ЦК КПСС «Правда»

125865, Москва А-137, ГСП,

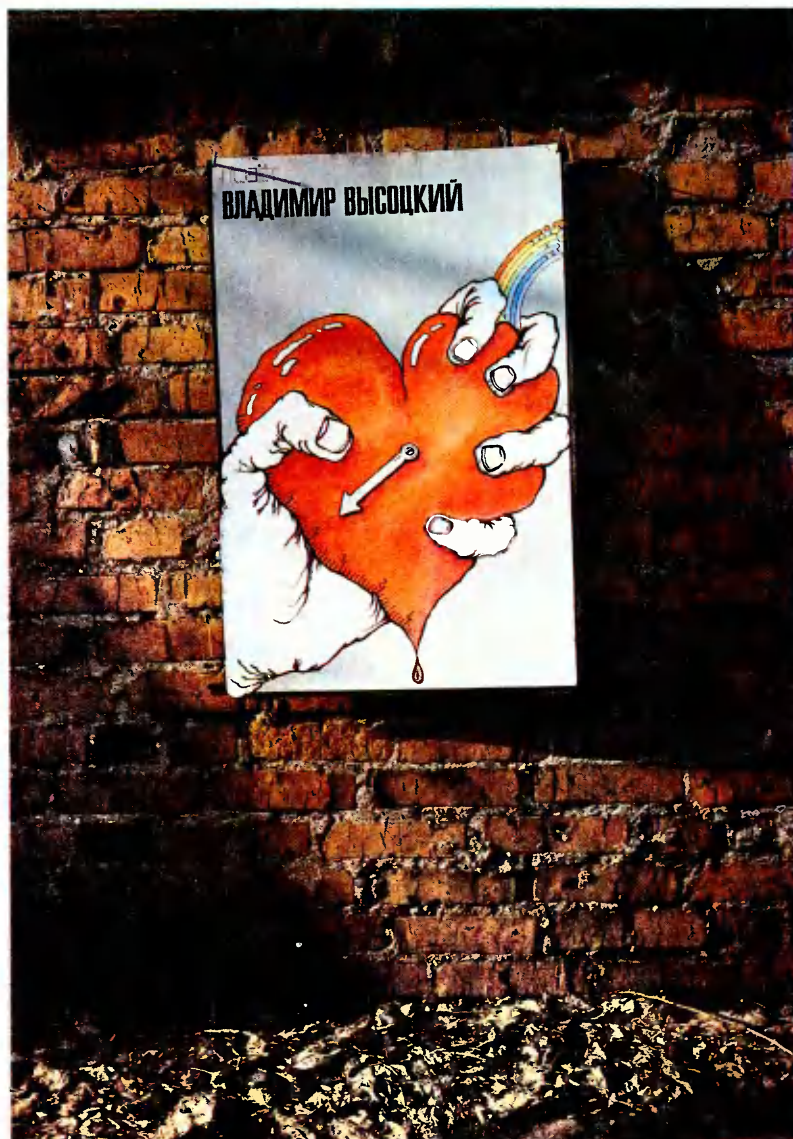
ул. «Правды», 24.

© Издательство ЦК КПСС «Правда»,

«Юность», 1987 г.



«Мне судьба — до последней черты,
до креста, спорить, до хрипоты,
а за ней — немота...»



Ушел спорщик, который жил наперекор.
Пел — вопреки.
Если судить по Государственной премии —
ОН опережал время
этот лет на семь и более.
Впрочем, это просто время притормозило
в те годы свой ход,
а ЕГО часы оставались непогрешимы.
В память о 50-летию Владимира Высоцкого
«Юность» вручает своим читателям
четыре плаката Михаила Златковского
из серии «Поэт — поэт Владимир Высоцкий»
(1975—1980 гг.).
Эти плакаты при жизни Высоцкого висели
на стенах его квартиры,
а после кончины
демонстрировались на выставках,
посвященных памяти поэта,
в Дубне, в Москве на Малой Грузинской,
на Таганке...



8

